INSPIRIA

шорт-лист
Букеровской
премии 2020

брендон тейлор

настоящая жизнь



содержит сцены нецензурную брань 18+

«Блестящее в своей точности и тонкости исследование одиночества».
Сергей Вересков,
писатель, книжный обозреватель

INSPIRIA

Настоящая жизнь
Брендон Тейлор

Аннотация
Брендон Тейлор. Настоящая жизнь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Аннотация

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни?

За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания.

Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года.

В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада. Он один из

немногих студентов-афроамериканцев и постоянно сталкивается с тем, что, несмотря на отделанный дружелюбием фасад общества, нередко внутри людей бурлят неприязнь и непонимание. Всего за два летних дня, казалось бы, упорядоченная жизнь Уолласа перевернется с ног на голову, обнажив его неуверенность, страхи, сомнения, стремления и желания.

"Роман Брендона Тейлора легко упрекнуть в конъюктурности, ведь его главный герой – молодой темнокожий гей, переживший насилие в детстве, а теперь, студентом, испытывающий давление со стороны привилегированных представителей университетской среды. Но, пожалуйста, не торопитесь закатывать глаза, сочиняя колкости о «повестке». «Настоящая жизнь» – это блестящее в своей точности и тонкости исследование человеческого одиночества. Могут ли люди понять друг друга? Могут ли унять чужую боль? Могут ли вообще разобраться в своих чувствах? Брендон Тейлор ведет разговор именно на эти универсальные темы, и разговор этот мучительный, сбивчивый, но важный – как для автора, так и для читателей". – Сергей

Верескoв

Брендон Тейлор
Настоящая жизнь

Посвящается ТК

Морской воде познание подобно:
Оно горчит, журчит, блестит
и плещет.
Мир в нас плюется им, сердито
стиснув зубы,
И, к каменной груди своей при-
жав,
Нас им же вскармливает
неустанно.

Элизабет Бишоп. «В рыбацких хижинах»

1

Одним прохладным августовским вечером — через несколько недель после смерти отца — Уоллас решил, что, пожалуй, все же сходит на пристань встретиться с друзьями. Озеро бугрилось белыми барашками. Народу на берегу было полно — все хотели насладиться последними летними деньками, пока погода окончательно не испортилась. Многоярусная набережная усеяна была белыми, которые широко разевали рты, хохотали друг другу в лицо и так отлично проводили время, что, казалось, сам воздух густел от их веселья. Впрочем, чайки парили у них над головами как ни в чем не бывало.

Уоллас стоял на верхней площадке и всматривался во всю эту кучу-малу, пытаясь отыскать глазами «своих» белых. В голове крутилась мысль, что еще не поздно развернуться, уйти и провести вечер, как обычно. Он уже пару лет не ходил с друзьями на озеро, и оттого ему было слегка неловко. Вроде как нужно было чем-то объяснить такой длинный перерыв, а у него никакого оправдания не было. Может, все дело

было в том, какая здесь вечно царила толчея и скученность. Вот даже и чайки поначалу просто кружили над пристанью, присматривались, а затем, заметив добычу, камнем кидались вниз к твоему столику или ногам, словно тоже жаждали общения. Опасность подстерегала за каждым углом. А может, всему виной был стоявший над пристанью невыносимый гвалт, в который сливались перекрикивавшие друг друга голоса, дурацкая музыка, детский визг, собачий лай, треск радиоприемников расположившихся у воды ребят из студенческого братства, завывания магнитол проносившихся по улице машин — гомон сотен несогласных друг с другом жизней.

Шум этот будто бы требовал от Уолласа чего-то странного, не вполне ему понятного.

Ближе всего к воде располагались деревянные столы темно-красного цвета, и за одним из них Уоллас заметил четверых своих друзей. Нет, пожалуй, точнее будет сказать, заметил Миллера — самый высоченный из всей компании, он всегда первым бросался в глаза. Следом он увидел Коула и Ингве — эти двое были *просто* высокими. И, наконец, разглядел Винсента, едва дотягивавшего до отметки «средний рост». Вся эта троица — Миллер, Ингве и Коул — смахивала

на передвигавшихся на задних ногах изящных светлошкурых оленей, они словно принадлежали к отдельному биологическому виду, и прими их кто второпях за родственников, его вполне можно было бы понять и простить. Как и сам Уоллас, и вся их компания, они приехали в этот город на Среднем Западе, чтобы окончить тут аспирантуру по специальности биохимия. Группа у них набралась самая маленькая за последние годы, и впервые за три десятилетия на курсе оказался чернокожий студент. В минуты уныния Уолласу начинало казаться, что эти факты связаны между собой. Что поступить ему удалось лишь потому, что многие претенденты в тот год отозвали свои заявления.

Он как раз решил все же развернуться и уйти — не был уверен, что сможет вынести общество людей, к которому еще недавно так стремился, — но тут Коул вдруг поднял глаза и заметил его. И тут же вскинул руки вверх, словно бы пытаясь сделаться еще длиннее, чтобы Уоллас уж точно его не пропустил, хотя тот и так смотрел прямо на него. Пути назад не было. И Уоллас помахал друзьям.

Была пятница.

Уоллас спустился по прогнившим ступеням,

вдохнул стоящий над озером густой запах тины. Двинулся вдоль подпорной стены, мимо стоявших на приколе лодок, мимо темных прибрежных камней, мимо уходившего далеко в воду пирса, тоже усеянного веселыми смеющимися людьми. Он шел и смотрел на широко раскинувшуюся зеленоватую гладь озера, на скользящие по ней лодки, на надутые ветром гордые белые паруса, на нависшее надо всем этим небо.

Так красиво.

Так живописно.

Еще один чудный вечер уходящего лета.

* * *

Час назад Уоллас был в лаборатории. Все лето он потратил на выращивание нематод, занятие одновременно и нелегкое, и невероятно скучное. Нематодами назывались крошечные свободноживущие обитающие в почве черви, во взрослом состоянии достигавшие всего лишь миллиметра в длину. В ходе эксперимента Уолласу предстояло вывести четыре штамма нематод, а затем скрестить их между собой. Проект включал индукцию генетического повреждения, которое следовало исправить так, чтобы получить желаемую модификацию — ослабить структуру белка,

изъять или добавить некий сегмент — и добиться появления признака, который передавался бы из поколения в поколение, как веснушки, щель между зубами или леворукость. Следующий этап требовал простых, но кропотливых расчетов: необходимо было скрестить полученную модификацию с модификацией из другого штамма, чтобы закрепить признак — сбой в работе нервной системы, благодаря которому выведенные черви не извивались, а перекатывались, или мутацию эпидермиса, из-за которой нематоды рождались толстенькими, как шоколадные батончики. При этом всегда существовала опасность вывести мужские особи, которые обычно оказывались либо нежизнеспособными, либо не заинтересованными в спаривании. Далее следовало изучить генетический материал полученной особи, и именно в этот момент всегда выяснялось, что так долго и тщательно выводимая модификация где-то затерялась. После чего приходилось несколько дней, а то и недель лихорадочно высматривать среди скопища червей нужного, уже практически потеряв надежду, умирать от облегчения, все же выискав среди них ту самую нематоду, и снова начинать долгий процесс селекции, закрепления нужных хромосом и отсекания ненужных, пока

не удастся создать желаемый штамм.

Все погожие летние деньки Уоллас просидел в лаборатории, снова и снова безуспешно пытаясь вывести тот самый нужный ему штамм. И час назад достал из лабораторного инкубатора свои контейнеры с чашками Петри. Он поместил их туда три дня назад, и все это время терпеливо ждал, когда старое поколение червей сменится новым. Этот штамм он выводил несколько месяцев. Тщательно отбирал новорожденных нематод, идеальных, едва различимых глазом созданий, кропотливо разделял их, пока, наконец, не вывел вожделенную тройную мутацию. Но сегодня, достав из инкубатора чашки, он неожиданно обнаружил, что сине-зеленая поверхность агар-агара, обыкновенно ровная, мягкая и упругая, как человеческая кожа, ровной больше не была.

«Пластинки кто-то трогал», — подумал он.

Нет, не трогал, неверное слово.

Их кто-то загрязнил.

Пыль и плесень — картина, представшая перед ним, напоминала жуткие извержения вулкана, в результате которых целые цивилизации оказывались погребены под слоями пепла и сажи. Агаровые пластины покрывали крошечные зеленые споры, под которыми пряталась влаж-

ная бактериальная пленка. Сам же агар будто бы поскребли жесткой щеткой. Уоллас осмотрел все контейнеры и почти в каждом нашел следы постигшего его ужаса. Загрязнение распространилось так сильно, что временами из-под крышек что-то капало ему на руки, казалось, контейнеры сочились гноем, как открытые раны. Вообще-то ему не первый раз доводилось такое видеть. В первый год в аспирантуре, пока он еще не научился действовать аккуратно и соблюдать чистоту, его чашки частенько покрывались плесенью. Но с тех пор он стал осторожным и внимательным. Он изменился. Набрался опыта, и теперь его штаммам ничто не должно было угрожать.

Нет, непохоже было, чтобы такую катастрофу вызвала обычная неаккуратность. Тут явно проглядывал злой умысел. Месть какого-то вредного мелкого божка. Уоллас стоял посреди лаборатории, качал головой и негромко смеялся.

Произошедшее и правда казалось ему забавным, хотя он и не смог бы объяснить почему. Просто анекдот, порожденный нелепым стечением обстоятельств. Впервые за все четыре года аспирантуры ему вдруг стало казаться, что у него вот-вот получится. Что он вплотную подобрался к

идее, ощупал ее границы, определил глубину составлявших ее проблем. Постепенно она обретала форму у него в мозгу, с ней он засыпал в пять утра и просыпался в девять, и именно она помогала ему пережить бесконечные дневные часы, когда в глазах стоял песок, а голова гудела от недосыпа. Идея блестящей пылинкой, золотой искоркой мерцала в солнечных лучах, лившихся в высокие окна лаборатории, даря надежду, что однажды и для Уолласа настанет миг кристальной ясности.

И что теперь от нее осталось? Горстка полудохлых нематод? Только три дня назад он проверял, как у них дела, и все они были прекрасны, чисты и совершенны. Только три дня назад он поместил их в инкубатор, чтобы они спокойно росли там, в темноте и прохладе. Может, если бы он заглянул туда накануне?.. Нет, все равно было бы уже слишком поздно.

Это лето было полно надежд. Уолласу казалось, он наконец-то к чему-то движется.

Во входящих сообщениях, как и во все предыдущие пятницы, обнаружилось: *«Приходи на пристань, мы займем столик»*.

И Уоллас подумал, что из всех решений, на которые он в данный момент способен, это, пожалуй, будет самым верным. Оставаться в лаборатории

не имело смысла. С загрязненными чашами и умирающими нематодами уже ничего нельзя было поделать. Разве что начать эксперимент сначала… Но у него просто не было сил доставать с полки новую коробку, брать из нее свежие чашки Петри, словно карты из колоды. Не было сил включать микроскоп и, действуя осторожно и методично, пытаться спасти штамм. Если его в принципе еще можно было спасти… У него даже на то, чтобы это выяснить, не было сил.

У него просто не было сил.

Потому он и пошел на озеро.

* * *

Над столиком повисло напряженное молчание. Уолласу начинало казаться, что, объявившись так неожиданно, он чему-то помешал, нарушил привычный распорядок. Они с Миллером сидели друг напротив друга, у самой подпорной стенки. Из бетона над плечом Миллера торчал клубок каких-то тонких корешков, в которых кишели темные мошки. Бордовая краска на столешнице облупилась, и стол смахивал на линяющую собаку. Ингве отковыривал в проплешинах серые щепочки и кидался ими в Миллера, но тот то ли не замечал этого, то ли не желал обращать внима-

ния. Вид у него всегда был слегка раздраженный: глаза прищурены, взгляд отстраненный, на губах ехидная ухмылка. Уолласу это отчего-то казалось и отталкивающим, и умилительным одновременно. Однако сегодня Миллер, сидевший, подперев кулаком подбородок, выглядел просто усталым и скучающим. Днем они с Ингве ходили под парусом, и поверх их футболок до сих пор были накинуты рыжие спасательные жилеты. Застежки на жилете Миллера болтались так, словно чувствовали себя здесь до крайности неловко. А влажные вихры на голове торчали в разные стороны. Ингве, парень с лицом треугольной формы и слегка заостренными зубами, был куда крепче и мускулистее Миллера. Ходил он, слегка наклонившись вперед, и казалось, в любую секунду мог споткнуться. Уоллас видел, как напрягались у него под кожей мышцы, когда он отщипывал от столешницы очередную щепку и, скрутив ее в пальцах, щелчком отправлял в сторону Миллера. Одна приземлилась на жилет, другая угодила в волосы, но Миллер и бровью не повел. Заметив, что Уоллас смотрит на него, Ингве подмигнул ему, словно его проделки были какой-то только им двоим понятной шуткой.

Сидевшие рядом с Уолласом Коул и Винсент

придвинулись друг к другу так близко, будто оказались на тонущем корабле и молили о спасении. Коул гладил Винсенту костяшки пальцев. Винсент сдвинул на лоб темные очки, и лицо его теперь напоминало мордочку какого-то мелкого зверька. Уоллас не видел его уже несколько недель, наверное, с того барбекю, которое они с Коулом устраивали на четвертое июля. Он вдруг с досадой понял, что с тех пор прошло больше месяца. Винсент работал в сфере финансов, наблюдал за жизнедеятельностью баснословных капиталов, как климатологи наблюдают за перемещением ледников. Здесь, на Среднем Западе, состояния наживались на коровах, кукурузе или биотехнологиях. Земля, испокон веку обеспечивавшая Америку зерном, молоком и птицей, породила индустрию, производившую разнообразные агрегаты и механизмы и дававшую богатый урожай органов, сывороток и тканей, выращенных из генного материала. Это был новый тип земледелия, равно как и работу Уолласа можно было назвать новым типом животноводства. Однако в целом, не считая незначительных отличий, это было то же самое, чем люди занимались от начала времен.

— Есть хочу, — заявил Миллер, проводя по сто-

лу руками. В движении он чуть не задел локоть Уолласа, и тот вздрогнул от неожиданности.

— Я же при тебе пиво заказывал, — отозвался Ингве. — Мог бы тогда сказать. А то твердил, что не хочешь.

– *Тогда* не хотел. К тому же мне не мороженое нужно. А настоящая еда. Тем более раз мы целый день на солнце проторчали и пить собираемся.

— Настоящая еда, — Ингве покачал головой. — Нет, вы только послушайте. И чего же ты хочешь, спаржи? Или, может, бобов каких-нибудь? Настоящая еда — это что вообще такое?

— Ты меня понял.

Винсент и Коул прыснули и театрально закашлялись, завозились, и стол накренился в их сторону. Выдержит ли он? Устоит ли? Уоллас надавил на свой край столешницы, деревянные планки скользнули по тонким темным гвоздям.

— Правда? — пропел Ингве. Миллер, закатив глаза, раздраженно рыкнул. От всех этих вроде как добродушных насмешек на Уолласа накатила грусть. Та, в существовании которой так легко не признаваться самому себе до тех пор, пока однажды она тебя не подкараулит.

— Я просто хочу есть, вот и все. Не обязательно меня доставать, — твердо, хоть и с усмешкой,

произнес Миллер.

Настоящая еда. А ведь у Уолласа дома она была. И жил он недалеко. Можно было бы подобрать Миллера, как бездомного зверя, привести к себе и накормить. *«Эй, у меня со вчерашнего ужина отбивные остались, будешь?»* Он мог бы разогреть отбивные, карамелизировать лук, нарезать тот хрустящий хлеб, что продают в пекарне на углу, сдобрить его маслом и поджарить на сковородке. Уолласу так ясно это представилось: как остатки вчерашнего ужина превращаются в его руках в нечто горячее и душевное. В такие минуты все кажется возможным. Но тут тени, падавшие на стол, как-то переместились, и момент был упущен.

— Я могу сходить к фуд-корту. Куплю что-нибудь. Если хочешь, — предложил Уоллас.

— Нет. Все нормально. Не нужно ничего.

— Точно? — переспросил он.

Миллер скептически вскинул брови, и Уоллас поморщился, как от пощечины.

Они никогда не были настолько близкими друзьями, чтобы оказывать друг другу услуги. Хотя и пересекались довольно часто — то у ледогенератора, то в кухне, куда приходили, чтобы разогреть в ничейной посуде свой жалкий

обед, то в холодильной камере, где хранились реагенты, то в жутких отделанных фиолетовой плиткой факультетских туалетах. Жизнь постоянно сталкивала их, словно недолюбливающих друг друга родственников на семейных посиделках. Встречаясь, они, подобно врагам, слишком ленивым, чтобы в ярости наброситься друг на друга, частенько обменивались безобидными шпильками. Например, в прошлом декабре, во время факультетской вечеринки, Уоллас едко высказался относительно наряда Миллера, заявив, что тот одет, как обитатель самого большого на Среднем Западе трейлерного парка. Все смеялись, и сам Миллер тоже. Но после он постоянно припоминал Уолласу этот выпад: *«О, Уоллас явился, что-то скажет нам сегодня наша икона стиля?»* Сопровождались эти замечания нехорошим блеском в глазах и холодной кривой усмешкой.

В апреле Миллер ему отплатил. В тот день Уоллас пришел на семинар с опозданием и маялся на задворках аудитории. Тут же был и Миллер. Оба в тот день были ассистентами преподавателя на одном и том же занятии, но Миллер ушел сразу, как оно закончилось, а Уоллас задержался ответить на вопросы студентов. Теперь же они стояли рядом, привалившись к обшитой деревянными

панелями стене, и разглядывали сменявшиеся на экране слайды. Семинар вел приглашенный ученый, звезда в области протеомики. Сидячих мест в аудитории не осталось, и Уолласу отчего-то было приятно, что Миллеру стула тоже не хватило. Но тут Миллер вдруг наклонился к нему, обдав ухо теплым влажным дыханием, и прошептал: *«Разве таким, как ты, не полагаются места в первом ряду?»* От его близости Уолласа пробрал озноб, но дрожь вскоре сменилась иным ощущением. Вся правая сторона его тела вспыхнула и онемела, словно ошпаренная. И Миллер, взглянув на него, должно быть, все понял — они точно были не настолько близки, чтобы допускать в разговоре расистские шуточки. После окончания семинара, когда они толкались в очереди за кофе и черствым печеньем, Миллер попытался извиниться, но Уоллас не стал его слушать. И следующие несколько недель старался держаться от него подальше. С тех самых пор между ними повисла та холодная отстраненность, что возникает между людьми, которые вроде как неплохо ладили, но из-за дурацкого недопонимания отдалились друг от друга. Уолласу было жаль, что все так сложилось, вообще-то им с Миллером было о чем поговорить: оба первыми в своих

семьях поступили в колледж; оба были слегка напуганы размером этого среднезападного города, в который занесла их судьба; оба, в отличие от остальных их друзей, не привыкли к подобной беззаботной жизни. Однако изменить ничего уже было нельзя.

То, как Миллер насторожился и изумленно притих, услышав его предложение, сказало Уолласу все, что ему нужно было знать.

— Что ж, тогда ладно, — пробормотал он. Миллер уронил голову на стол и демонстративно жалобно застонал.

Коул, который был добрее остальных и к тому же не стеснялся проявлять великодушие, потрепал его по волосам.

— Пошли! — позвал он. Миллер заворчал, но все же выпростал из-под стола свои бесконечные ноги и поднялся. Коул поцеловал Винсента в щеку, затем в плечо, и Уоллас снова содрогнулся от зависти.

Стол, видневшийся у Ингве за спиной, заняли игроки университетской сборной по футболу. Одетые в дешевые нейлоновые шорты и белые футболки с номерами, они горячо обсуждали что-то — кажется, женский теннис. Все парни были подтянутыми, загорелыми, на одежде их

темнели пятна от земли и травы. Игрок с радужной повязкой на голове сердито тыкал в другого пальцем и орал ему что-то не то на испанском, не то на португальском. Уоллас прислушался, пытаясь вникнуть в суть спора. Но разобрать эту лавину согласных и дифтонгов не помогали даже семь лет изучения французского.

Ингве смотрел в телефон, и свет от экрана, теперь, в сгустившихся сумерках, казавшийся более ярким, выхватывал из тени его лицо. По небу постепенно расползалась чернота, словно пролитая на скатерть темная жидкость. Поверхность озера приобрела зловещий металлический отблеск. Наступал тот следующий сразу за закатом час летнего вечера, когда все вокруг постепенно остывает и успокаивается. Взметнувшийся ветер принес густой запах гниющих водорослей, в котором теперь чувствовался солоноватый привкус.

— Что-то тебя летом было почти не видно, — обернулся к Уолласу Винсент. — Где это ты пропадал?

— Да дома, по большей части. Я, правда, как-то не думал, что пропадаю.

— А у нас на днях Роман и Клаус были, Коул не рассказывал?

— Я ребят всю неделю не видел. Весь в запаре.

— Ну, ничего особенного не было. Так, просто ужин. Ты не много пропустил.

Если ничего особенного не было, — подумал Уоллас, — зачем он решил об этом сообщить? Ведь на барбекю к ним он приходил, верно? Теперь, правда, ему вспомнилось, что Винсент и в тот раз ему пенял: они, мол, совсем не видятся, Уоллас никуда с ними не ходит и сам их никогда не зовет. *«Порой начинает казаться, что тебя вообще не существует»*, — со смехом заявил Винсент. На лбу у него вздулась толстая вена, и Уоллас в приступе холодной жестокости смотрел на нее и воображал, что будет, если она лопнет. С Коулом, Ингве, Миллером и Эммой они едва ли не каждый день пересекались на биологическом факультете. Кивали, махали и еще десятком других способов давали понять, что заметили друг друга. Он и правда нечасто куда-то с ними выбирался, в их любимые бары точно никогда не заглядывал. И в тот раз, когда они, кое-как утрамбовавшись в две машины, ездили собирать яблоки, его с ними не было. И в поход на Дьявольское озеро он с ними не ходил. Потому что не чувствовал, что его хотят там видеть. Во время встреч с друзьями Уоллас постоянно отирался в сторонке и разговаривал лишь с тем, кто, сжалившись, бросал ему кость в

виде темы для беседы. Винсент же выворачивал все так, будто он сам был виноват в том, что редко с ними видится.

Уоллас растянул губы в самой дружелюбной улыбке.

— Вы, наверно, классно повеселились.

— Эмма с Томом тоже приходили. Мы перекусили у бассейна, а потом сводили собак в парк, на собачью площадку. Глазастик *так* вымахала, — у Винсента на лбу снова вздулась жила. Уоллас представил, как нажимает на нее большим пальцем и давит, давит. Вместо ответа он неопределенно хмыкнул, что должно было означать: *«О, ну надо же»*.

— А кстати, где Эмма и Том? Я думал, они скоро подтянутся, — встрял Ингве.

— Они купают Глазастика.

— Можно подумать, помыть собаку такое уж долгое дело, — раздраженно буркнул Ингве.

— Ну, знаешь, всяко бывает, — рассмеялся Винсент и выжидательно глянул на Уолласа. Уоллас не то чтобы считал себя интеллектуалом, но определенно полагал, что он выше шуток про собачье дерьмо, а потому просто откашлялся. Винсент забарабанил пальцами по столу. — Нет, Уоллас, правда, так чем же ты все это время был

занят? Или, может, ты у нас слишком важная птица, чтобы тусоваться с друзьями?

Замечание было откровенно глупое. Даже Ингве округлил глаза. Уоллас хмыкнул и напустил на себя задумчивый вид, ожидая, пока уляжется раздражение от этого оскорбительного выпада. Винсент терпеливо ждал ответа. В темных стеклах его очков отражались сгрудившиеся у соседнего столика футболисты. Их белые футболки словно светились в темноте, белые прямоугольники наслаивались друг на друга на черном фоне, напоминая какую-то картину послевоенного периода.

— Во-первых, я работал, — наконец нашелся Уоллас. — Собственно, и во-вторых, и в-третьих, тоже.

— Мученики нам по вкусу, — отозвался Винсент. — Полагаю, именно об этом мы сегодня и будем говорить. О Пресвятой Лаборатории.

— Ну, мы же не все время о ней говорим, — возразил Ингве, и Уоллас, несмотря на то что это был камешек и в его огород, не смог удержаться от смеха. Винсент был прав: они *действительно* постоянно говорили о жизни лаборатории. С чего бы ни началась беседа, в итоге все неизменно сводилось к: *«Не поверите, что на днях со мной*

было. Провожу я хроматографию и не успеваю еще закончить последнюю промывку, как происходит элюция»; или: *«Представляете, у нас кто-то не разложил по местам посуду, и догадайтесь, кому в результате пришлось проторчать четыре часа возле стерилизатора? Не понимаю, неужели так трудно вернуть пипетку туда, откуда ты ее взял? Ходят всякие, берут, что вздумается, а на место никогда не кладут».* Уоллас мог понять, отчего Винсент так бесится. Он переехал сюда, к Коулу, когда все они учились на втором курсе аспирантуры, и догадался устроить приветственную вечеринку именно в ту неделю, когда им должны были выставить отметки за экзамены. В итоге вместо того, чтобы накачиваться дешевым пивом и петь дифирамбы мебели, все сидели по углам и шепотом обсуждали вопрос номер 610, в котором таился подвох, и вопрос номер 508 об изменении стандартной свободной энергии в различных осмотических условиях. Чтобы ответить на него, Уолласу пришлось пять листов исписать вычислениями, которыми он не занимался с университетских времен. Елку Винсент наряжал в одиночку, потому что гости его весь вечер только ныли и психовали. Уоллас искренне ему сочувствовал. Однако о лаборатории они

говорили чисто машинально, это был рефлекс — пока обсуждаешь науку, о других проблемах вроде как можно не думать. Аспирантура словно уничтожила тех людей, которыми они были до того, как сюда приехали.

По крайней мере, для Уолласа смысл разговоров о лаборатории заключался именно в этом. Однако этим летом у него вдруг появилось чувство, которое никогда не посещало его раньше: чувство, что он хочет большего. Он не был здесь счастлив, и впервые в жизни ему не казалось, что его несчастье — нечто неизбежное. Порой его накрывало желанием поддаться порыву и вынырнуть из привычной жизни аспиранта в огромный непредсказуемый мир. Но он этого не делал из страха, что в будущем может пожалеть о своем решении.

— Я и сам работаю, но я ведь не болтаю о своей работе постоянно. Потому что знаю, что вам скучно будет это слушать, — заявил Винсент.

— Это потому, что у тебя просто *должность*, а у нас… В общем, для нас это нечто иное, — возразил Ингве.

— А я считаю, вы все время говорите о работе, потому что больше вам гордиться нечем, — парировал Винсент. Уоллас присвистнул. Футболисты

за соседним столиком загомонили громче. Время от времени с их стороны доносились отрывистые выкрики — не поймешь, радостные или сердитые. Теперь все они склонились над телефоном, на экране которого транслировался какой-то матч. Периодически между телами образовывался просвет, и тогда Уолласу на секунду становилось видно светящийся в темноте экран, который тут же снова заслоняла чья-нибудь спина.

— В жизни есть вещи более важные, чем учебные программы и научные проекты, — продолжал Винсент. У озера опять зашумели, раздались веселые выкрики. Уоллас перевел взгляд на лежащие на воде темные тени от прибрежных камней. На подходящих к берегу яхтах играла какая-то музыка, но до них она доносилась лишь в виде отрывочных звуков и шороха, как бывает, когда настраиваешь радиоприемник.

— А я вот в этом не уверен, Винсент, — сказал Уоллас. И Ингве хмыкнул в знак согласия. У Уолласа, однако, были большие сомнения относительно того, что их с Ингве мнения по этому вопросу полностью совпадали. Да и как такое могло быть? Отец Ингве был хирургом, мать преподавала историю в гуманитарном колледже. Ингве всю жизнь прожил в мире учебных

программ и научных проектов. Для Уолласа же утверждение, что ничего важнее учебных программ и научных проектов в жизни нет, означало, что, потеряв все это, он попросту не выживет. Уолласу вдруг подумалось, что, пожалуй, он был с Винсентом слишком резок. Он повернулся к тому, чтобы извиниться, но тут вдалеке показались Коул и Миллер. Обыкновенно бледная, кожа на внутренней поверхности бедер Миллера ярко алела. Тут она была куда нежнее и чувствительнее, чем на всех остальных частях тела. Похоже, эти шорты были Миллеру коротки. Застежки его спасательного жилета позвякивали на ходу. Коул шагал быстро, энергично и слегка вразвалочку, словно жизнерадостный щенок. В руках они с Миллером держали пакеты с попкорном и большой пластиковый контейнер. В нем оказались начос в тягучем сырном соусе, щедро сдобренном халапеньо. Миллер, отдуваясь, подсел к столу. Еще они купили тако, и Ингве, заерзав в предвкушении, тут же потянулся к одной из лепешек.

— О да, — забормотал он. — Да-да-да. Вот это вы молодцы, ребята.

— Я думал, ты не голодный, — сказал Миллер.

— Когда это я такое говорил?

Коул вручил Винсенту маленький стаканчик

ванильного мороженого. Они снова поцеловались. Уоллас отвернулся, сцена показалась ему слишком интимной.

— Будешь? — спросил Уолласа Коул, кивая на начос, попкорн и все остальное. Угощая его едой точно так же, как сам Уоллас чуть раньше мечтал угостить Миллера. Уоллас медленно покачал головой и, вспыхнув, отвернулся.

— Нет, спасибо.

— Как хочешь, — бросил Миллер. И Уоллас почувствовал, что он смотрит на него. От этого взгляда его бросило в жар. Он всегда чувствовал, когда кто-то наблюдал за ним, словно хищный зверь.

— Завтра все в силе? — спросил Коул, разворачивая белую бумажную салфетку.

— Да, — ответил Уоллас.

Тонкая бумага, пропитавшись жиром от тако, тут же сделалась прозрачной. Теперь сквозь нее проглядывали деревянные рейки столешницы. Коул нахмурился. Расстелил сверху еще одну салфетку, затем накрыл их третьей. Аромат еды заглушил идущую от озера сладковато-гнилостную вонь. Запах умирающих растений.

— Что в силе? — спросил Винсент.

— Теннис, — ответили они хором. Винсент

хмыкнул.

— Можно было и не спрашивать.

Коул поцеловал его в нос. Миллер с треском открыл контейнер с начос. Уоллас под столом так крепко стиснул руки, что хрустнули пальцы.

— Я, может, слегка опоздаю, — сказал Коул.

— Ничего. Мне все равно еще нужно будет немного поработать.

Немного — это мягко сказано. Уолласу от одной мысли становилось дурно. Столько сил потрачено впустую. И столько же еще придется потратить, чтобы все исправить, притом очень возможно, что и это будет впустую. До сих пор ему неплохо удавалось не думать о проекте, задвинуть проблему в долгий ящик. Но тут на него накатила тошнота. Уоллас зажмурился. Мир медленно и плавно кружился вокруг него. Глупый мальчишка, сказал он себе, глупый, глупый мальчишка. Это же надо было поверить, что у него хоть раз в жизни может что-то получиться. Он ненавидел себя за эту наивность.

— А я как раз поэтому и опоздаю, — рассмеялся Коул. Уоллас открыл глаза. Во рту стоял металлический привкус — не крови или меди, скорее, какой-то серебряный.

— Разве ты завтра работаешь? — спросил

Винсент. — У нас вообще-то планы были, а ты собрался работать?

— Я недолго.

— Завтра же суббота.

— А сегодня пятница. А вчера был четверг. Это всего лишь день недели. А то — работа.

— Я по выходным не работаю.

— Ну и что теперь? Медаль тебе выдать? — из голоса Коула брызнула злоба.

— Нет, медаль мне не нужна. Но хотелось бы хоть раз за лето провести выходные со своим парнем. Уж прости меня за это!

— Ну сейчас-то мы вместе, разве нет? Я тут. И ты тут. Мы все тут. Тут мы.

— Ну охуеть ты наблюдательный.

— Так, может, попробуем словить кайф от последних летних денечков?

— А, так ты заметил, что лето *заканчивается*? Потрясающе.

— Начинается новый учебный год, — осторожно вставил Ингве. — Ты ведь в курсе, что это значит.

— Новый год — новые данные, — хором сказали Коул и Ингве, воодушевленно блестя глазами. Уоллас хихикнул. На секунду он забыл о себе, вдохновленный их оптимизмом, верой в то, что

все возможно. Новый год — новые данные. Сам он в это не верил. Это было просто присловье. Способ самоуспокоения. Уоллас постучал костяшками пальцев по столу.

— Постучим по дереву.

— Господи, — фыркнул Винсент.

— Эй, брось, — Коул попытался обнять его за плечи, но Винсент отпихнул его. Шваркнул на стол стаканчик с мороженым, и то, плеснув через край, расползлось по столешнице. Белая, теплая, как слюна, капля приземлилась Уолласу на запястье.

— Интересно, что бы вы делали, если бы у вас не было возможности учиться? Если бы вам пришлось вкалывать, как всем остальным? — не унимался Винсент. Он обвел взглядом собравшихся за столом. Миллер вскинул брови. Ингве слегка покраснел. Уоллас отщипнул уголок от салфетки Коула и вытер запястье.

— Вкалывать? Прости, но ты *в финансах* работаешь. Не прибедняйся, — отозвался Коул.

— Я и не прибедняюсь. Я просто спрашиваю, что бы вы делали, если бы вам пришлось самим о себе заботиться? Принимать решения? Строить гребаные планы на будущее? Да вы бы просто пропали.

— Хочешь сказать, я не строю планов? А как же мои проекты? Мои эксперименты? Может, у меня нет планов на наше с тобой общее будущее? Брось, Винсент, мы даже *мебель* купили.

— Это *я* купил мебель. Пока я сюда не переехал, ты жил на кампусе вот с этими двумя, — рявкнул Винсент, кивнув на Ингве и Миллера, стоически выдержавших его взгляд. — Вместо тумбочек у вас были накрытые фанерками ведра. Господи Иисусе. Ты в мебели ни хрена не разбираешься. Как и в том, как найти настоящую работу, заплатить налоги, получить медицинскую страховку. У нас даже настоящего отпуска ни разу не было. Пять дней в Индиане — ну офигеть просто. Предел мечтаний.

— А прошлым летом мы были у твоих родителей в Миссисипи, разве нет?

— Да, Коул, но твоя родня *не выносит* геев. Вот в чем разница.

Уоллас рассмеялся и тут же захлопнул рот. Ему снова стало неловко от того, что такая интимная сцена разыгрывается у него на глазах. И все же он не мог заставить себя отвернуться. Поначалу Винсент и Коул, улыбаясь, беззлобно подначивали друг друга, теперь же оба явно распалились. Они отодвинулись друг от друга. Скамейка под

ними зашаталась, стол накренился, и еда поползла к краю. Миллер успел подхватить контейнер с начос, пока тот не шлепнулся на землю.

— Миссисипи, — улыбнувшись, пояснил Коул Уолласу. — Ты-то представляешь себе, что это значит.

— Я из Алабамы, — уточнил тот, но Коул лишь прикрыл глаза.

— Ты понял, что я имею в виду. Невелика разница.

— Положим, я *сам* из Индианы и все равно считаю, что это ужасно, — вклинился Миллер. — Винсент в чем-то прав.

— Да ты, считай, из Чикаго, — возразил Коул. — Дело не… Просто Винсент ненавидит мою семью.

— Не ненавижу я их. Чудная семейка. Сплошь расисты и гомофобы.

— Расистка из них только моя тетка, — пояснил Коул Уолласу.

— Ага, а его мать сказала, что у них в церковной общине возникло *противостояние*. Давай, Коул, объясни ребятам, кому же они противостоят.

— В их церковь стала ходить чернокожая семья. Или только раз попыталась прийти. Не знаю… — буркнул Коул, закрыв лицо руками. Шея его стала темно-бордового цвета.

— Так что не говори мне, что они…

— Там, где я рос, черные в одну церковь с белыми не ходили, — вставил Миллер. — По крайней мере, так было, пока я сам не прекратил туда ходить. Что сказать, Индиана.

— Мои родные, конечно, в церковь вообще не ходят, — подхватил Ингве. — И темнокожих у нас в городе нет. Но бабушка с дедушкой их любят. Говорят, шведы — это скандинавские черные.

Уоллас подавился собственной слюной. Ингве поежился и снова принялся жевать тако.

— Короче, я просто хотел сказать, что в жизни есть нечто более важное, чем ваши пипетки и пробирки, — сердито заключил Винсент. — Вы только прикидываетесь взрослыми. А сами знай играете в свои игрушечки.

Коул хотел было что-то ему ответить, но тут Уоллас, неожиданно для самого себя, заговорил:

— Но ведь это и правда глупо, разве нет? В нашем возрасте все еще учиться. Я порой спрашиваю себя: *что я тут делаю?* Впрочем, наверное, это не такая уж глупость. Раз столько людей этим занимается. И все же я иногда задумываюсь, а что было бы, если бы я бросил аспирантуру? Занялся чем-то другим? Зажил, как сказал Винсент, настоящей жизнью? — Уоллас рассмеялся и перевел

взгляд на футболистов за соседним столиком. Те притихли, сели более кучно и так внимательно следили за происходящим на экране, что забыли и о пиве, и о разговорах. Не сводя с них глаз, Уоллас больно вдавил ноготь большого пальца в колено. — Просто иногда мне начинается казаться, что я все тут ненавижу. Абсолютно все.

Слова вылетели изо рта, словно пар, поднявшийся от чего-то тлевшего внутри. Закончив говорить, Уоллас взглянул на друзей, не ожидая, что кто-то из них его услышал. Обычно ведь так и бывало. Он начинал разглагольствовать, а люди отвлекались и теряли нить его рассуждений. Но на этот раз оказалось, что все смотрят на него, пораженные его словами.

— О, — ошеломленно протянул Уоллас. Миллер все так же хрустел начос, зато Коул и Ингве смотрели на него, встревоженно нахмурившись. Оба они подались вперед, тени их легли на столешницу. И так они, казалось, стали к нему ближе.

— Ты ведь и правда можешь бросить, — сказал Винсент, обдав шею Уолласа теплым дыханием. — Если ты здесь несчастлив, ты всегда можешь уйти. Тебе же не обязательно оставаться в аспирантуре.

— Так-так, минуточку, притормози-ка. Не надо

ему этого внушать, — вмешался Коул. — Если уйдешь, отыграть все назад будет уже невозможно.

— Настоящая жизнь и заключается в том, чтобы делать вещи, которые нельзя отыграть назад, малыш.

— Ты хоть сам себя слышишь? Когда это ты успел заделаться коучем личностного роста? Вещаешь, как продавец из магазина на диване.

— А ты такой пафосный, — прошипел Винсент. — Порой это достигает пугающих масштабов.

Коул перегнулся через Винсента и заглянул Уолласу в лицо.

— Если бросишь аспирантуру, лучше не станет. Это просто будет означать, что ты ушел из университета, вот и все.

— Не тебе решать, что для кого слишком трудно, — горячо возразил Винсент. Уоллас положил руку ему на спину. Рубашка Винсента промокла от пота. А тело вибрировало, как натянутая струна.

— Эй, все в порядке, — попробовал угомонить его Уоллас, но Винсент, похоже, его не слышал.

— Не дави на него, — внушал он Коулу. — Да что у вас тут за секта?

— А мне вот интересно, где Лукас, — провоз-

гласил Ингве так громко, что обернулись даже футболисты. — Ты случайно не знаешь, Коул?

— Он, наверное, с Нэйтом, — ответил Коул, все так же не сводя глаз с Винсента. Ингве вздрогнул. Их с Лукасом тянуло друг к другу еще с первого курса. Но Ингве был натуралом, и, в конце концов, Лукас, устав ждать у моря погоды, нашел себе парня, студента ветеринарной академии. Выбор довольно странный, однако Уоллас считал, что поступил он правильно. Иногда, напившись на какой-нибудь вечеринке, Ингве изрекал вещи вроде: *«Спать с ветеринаром — просто зоофилия какая-то. Его специальность ведь и наукой-то настоящей не назовешь».* Лукас лишь пожимал плечами и ничего не отвечал. К тому же у Ингве все равно была девушка. Уолласу было жаль обоих. Вовсе не обязательно им было так страдать. Мороженое в стаканчиках превратилось в белое месиво. И мошки, забыв о лозах на стене, полетели сквозь тьму к новой еде. Уоллас отогнал их рукой.

— Прекрасно. Охренеть просто. Жду с нетерпением.

— Тебя никто сюда не тянул. Мог бы дома остаться.

— Тут и мои друзья тоже.

— А, вот, значит, как. Теперь они и твои друзья.

— Что ты только что сказал?

Уоллас глянул на Ингве. Тот определенно был в ужасе. Затем перевел взгляд на Миллера, державшегося так невозмутимо, словно вообще сидел за другим столом. Уоллас кивнул на Коула и Винсента, но Миллер лишь пожал плечами. Что, в общем, было не удивительно. На самом деле Уоллас и сам понимал, что не стоит принимать их перепалку слишком близко к сердцу, но ему все равно было не по себе. Казалось, это он виноват в их ссоре. Ингве толкнул Миллера локтем, но так и не смог его растормошить. Винсент часто, с присвистом, дышал. В борта стоявших на приколе у берега лодок бился прибой.

— Никто ничего не бросает. Никто никуда не уходит. Мы офигенно проводим время, — сказал Уоллас.

— Ага, точно, — бросил Винсент, но Коул через силу улыбнулся.

— Не будь таким плаксой, — наклонился к нему Винсент.

— А кто тут плачет? — отозвался Коул, вытирая глаза ладонью.

— Бедный, бедный малыш, — Ингве погладил

Коула по волосам. — Ты как, справишься?

— Отстань, — буркнул Коул. Жалобным тоненьким голоском. И рассмеялся. И все же он действительно плакал. А все за столом старательно делали вид, будто глаза его влажно блестят вовсе не от слез. «Бедняга Коул, — думал Уоллас, — как легко его довести». Коул украдкой вытер глаза, и у Уолласа стало горячо в горле.

— Что ж, похоже, он выкарабкается, — сказал он. Эти люди были его ближайшими друзьями. Знали его лучше всех. И если кому в мире и было до него дело, так это им. Над столом снова повисло жуткое напряженное молчание, но на этот раз Уоллас нисколько не сомневался, что виноват в нем именно он. Он и его длинный язык. Это из-за его слов все перессорились. Но самое смешное заключалось в том, что Уоллас только сейчас начал понимать: в том, что он сказал, была лишь доля правды. Да, он иногда подумывал о том, чтобы бросить аспирантуру, и да, порой все здесь становилось ему ненавистно. Но только теперь он четко осознал, в чем тут было дело. Он не столько от аспирантуры хотел избавиться, сколько покончить со своей нынешней жизнью. Это ощущение пробралось к нему под кожу, поселилось там, как некая новая, непривычная сущность.

И раз признавшись себе в нем, он уже не мог от него отделаться. Но сопровождалось оно все той же тревогой, страхом, что решись он, и отыграть назад будет невозможно.

— Уоллас, ты как будто призрака увидел, — сказал Ингве, и Уоллас попытался изобразить на лице улыбку. От того, что он только что осознал, у него перехватило дыхание. Ингве не улыбнулся в ответ. Коул, пристально глядя на него, подался вперед. Винсент тоже. Даже Миллер, который увлеченно забрасывал в рот халапеньо, ненадолго оторвался от еды и украдкой на него покосился.

— Все в порядке, — сказал Уоллас. — Правда. — Горло сдавило. Ему не хватало воздуха. Казалось, он тонет.

— Может, тебе водички глотнуть? — предложил Винсент.

— Нет-нет. А хотя, да, схожу-ка я за водой, — хрипло выговорил Уоллас. И поднялся на ноги. Мир покачнулся, и он раскинул руки, стараясь удержать равновесие. Зажмурился. Кто-то положил ладонь ему на плечо. Коул потянулся к нему, но Уоллас отшатнулся. — Правда, не волнуйтесь. Все в порядке.

— Я с тобой, — вызвался Коул.

— Сиди, я же сказал. Расслабься, — Уоллас ухмыльнулся. Десны у него горели, зубы ныли. Он двинулся прочь от стола, точно зная, что друзья смотрят ему вслед. Прошел вдоль опорной стенки и, убедившись, что от столика его больше не видно, свернул к озеру. Решил, что посидит там. Отдохнет. Придет в себя и снова сможет предстать перед друзьями, излучая некое разумное подобие счастья.

* * *

Темная лестница спускалась к воде и уходила на самое дно озера. Ступени ее сделаны были из грубого необработанного камня, за долгие годы отшлифованного прибоем и множеством ног. На расстоянии двух-трех вытянутых рук от Уолласа сидели какие-то люди, любуясь восходом луны. А на противоположной стороне, там, где в озеро вдавался поросший соснами и елями полуостров, формой напоминающий большой палец, стояли на крепких сваях дома, и окна их светились в темноте, похожие на глаза каких-то странных огромных птиц. Иногда вечерами Уоллас выходил прогуляться по тропе вдоль озера и, глядя сквозь ветки на дома на дальнем берегу, думал, что они похожи на слетевшуюся к воде птичью

стаю. Сам он на том берегу никогда не бывал, как-то не находилось причин посещать эту отдаленную фешенебельную часть города.

Мелкие лодки уже вернулись на берег и теперь стояли на своих местах, накрытые на ночь брезентом. Более крупные швартовали чуть дальше, у лодочной станции. Прогуливаясь, Уоллас часто сворачивал там и направлялся в ту сторону, где царило буйство травы, а деревья были выше и раскидистее. Там, под крытым мостом, жило семейство диких гусей. Порой Уоллас наблюдал, как они, раскинув крылья, проплывают под мостиком. А иногда видел, как гуси, лениво переваливаясь, решительно шествуют к футбольному полю и площадкам для пикников, словно строгие парковые сторожа. Однако в это время суток гуси уже прятались, чайки возвращались в гнезда, и берег безраздельно принадлежал Уолласу — а также другим желающим полюбоваться красотами природы. Исподволь наблюдая за ними, Уоллас попытался представить себе, как сложилась их жизнь: довольны ли они ею или, может, злы на судьбу. На вид они казались совершенно обычными людьми: белые, в бесформенных уродливых одеяниях, с обожженной солнцем шелушащейся кожей, с эластичными ртами, способными так

широко растягиваться в улыбке. Молодые, загорелые и высокие, они, смеясь, толкали друг друга. Оставшаяся позади набережная была облеплена людьми, словно мхом. Внизу тихонько плеснула вода, замочив края Уолласовых шорт. Каменные ступени были холодными и скользкими. Где-то у него за спиной начинал разыгрываться оркестр. Тихонько звенели настраиваемые инструменты.

Уоллас обхватил колени и положил подбородок на руки. Парусиновые туфли он снял, а ноги опустил в воду, доходившую ему до лодыжек. Вода оказалась теплее, чем он надеялся. У самой ее поверхности болталось что-то шершавое и скользкое, похожее на сброшенную каким-то неизвестным существом кожу. Временами озеро так затягивало ряской, что пристань закрывали. Здешние водоросли испускали ядовитые испарения. Еще в них плодились паразиты, которые, попав в организм купальщиков, выедали их изнутри или заражали тяжелыми болезнями. Так или иначе, в воде таилась опасность, хотя знали о ней немногие. Никаких предупреждающих знаков на берегу не было. Вероятно, считалось, что все это не настолько страшно, чтобы пугать людей. Здесь, у самой воды, гнилостная вонь чувствовалась еще сильнее, теперь к ней к тому же

примешивался какой-то химический спиртовой душок.

Уолласу вспомнилась черная вода, много лет назад смотревшая на него из сливного отверстия раковины в доме родителей. Черный глянцевый кружок, похожий на идеально ровный зрачок. Из раковины кисло воняло не то гнилью, не то объедками. А еще черную воду он видел в бочках, стоявших у них во дворе. Уоллас как-то хотел вылить одну из них, но отец сказал: *«Не надо, это про запас»*. Он хранил всю эту воду, как другие хранят старую одежду, пустые бутылки, исписанные ручки или сломанные карандаши. Ведь никогда не знаешь, что из этой рухляди может однажды пригодиться. С крыши дома в бочки сыпалась прошлогодняя листва, разлагалась там, и вода в итоге делалась черная, как смола. Иногда, когда от зелени уже ничего не оставалось, Уолласу удавалось разглядеть в ней хрупкие коричневые остовы стеблей. А если наклонить голову под правильным углом, становилось заметно, что под черной гладью, извиваясь, скользят какие-то личинки. Отец как-то сказал ему, что это головастики. Что, если зачерпнуть их в горсть вместе с водой, можно рассмотреть их мягкие тельца и зачатки ножек. Уоллас ему поверил. Снова и

снова набирал в горсти скользкую воду, щурился, всматривался, пытаясь их разглядеть. Но, конечно же, никаких головастиков там не было, одни только комариные личинки.

Темные воды…

В груди застрял тугой запутанный узел. В легких словно катался маленький черный шарик. В животе ныло. Уоллас не ел весь день. И голод вылизывал ему желудок шершавым кошачьим языком. На глаза что-то давило изнутри.

И Уоллас охнул, осознав, что это слезы.

Внезапно он ощутил, что рядом с ним что-то движется. Обернулся, готовый увидеть воскрешенную памятью фигуру отца, но оказалось, это подошла Эмма. Они с Томом и их собакой Глазастиком, лохматым жизнерадостным созданием, все же явились на пристань. Эмма закинула руку ему на плечи и рассмеялась.

— Что это ты тут делаешь?

— Я бы сказал, наслаждаюсь видом, — отозвался он, вторя ее беззаботному тону. Они больше недели не виделись. Эмма работала в лаборатории, располагавшейся на два этажа ниже Уолласовой, в конце длинного темного коридора. Когда Уоллас заходил к ней — занести что-нибудь или позвать вместе пообедать, — ему каждый

раз казалось, что он переместился с факультета биохимии в какое-то иное запретное место, провалился в другое измерение. Стены в этой части здания были голые, лишь в одном месте висела доска, с прикнопленными к ней желтыми флаерами и афишами мероприятий, проходивших еще в восьмидесятые. Из всех своих сокурсников Уоллас теснее всего сдружился с Эммой, ведь они с ней оба не были белыми мужчинами. И вот уже четыре года они переглядывались поверх голов высоченных, громогласных, несокрушимо уверенных в себе парней. Вот уже четыре года украдкой болтали в длинном темном коридоре. И в такие моменты Уолласу начинало казаться, что со временем ему тут и в самом деле может стать легче. Эмма откинула за спину темные курчавые волосы и заглянула ему в лицо. И Уолласу подумалось, что скрыть что-то он сейчас сможет не лучше той пропитавшейся жиром Коуловой салфетки.

— Уоллас, что-то не так? — спросила Эмма. И положила мягкую ладонь ему на запястье. Он откашлялся.

— Нет-нет, — в глазах щипало.

— Что стряслось, Уоллас? — снова спросила она, придвигаясь ближе. У Эммы было маленькое

личико с крупными чертами и кожа оливкового оттенка. Оттого некоторые, увидев ее в плохом освещении, начинали считать, что она не совсем белая. Но нет, она была белая, по крайней мере, в смысле расы. Предки ее происходили из Богемии — или Чехии, как она теперь называется. А бабушка и дедушка по другой линии были родом с Сицилии. Подбородок у Эммы был такой же острый, как у Ингве, только без ямочки. Обхватить своей маленькой ручкой запястье Уолласа она, конечно, не могла, но держала крепко.

— Да так, ерунда, — он попытался произнести это как можно убедительнее, потому что сам толком не понимал, что его гложет. Как еще он мог ей ответить?

— Что-то не похоже на ерунду, мистер.

— У меня отец умер, — наконец, выговорил он. В конце концов, это ведь действительно произошло. Правда, признавшись Эмме, никакого облегчения он не почувствовал. Напротив, даже вздрогнул от собственных слов, будто рядом, в темноте, кто-то неожиданно громко вскрикнул.

— О боже, — охнула Эмма. — Господи! — Затем, взяв себя в руки, она тряхнула головой. — Уоллас, мне так жаль. Прими мои соболезнования.

Он улыбнулся, потому что не знал, как следует

реагировать, когда кто-то выражает тебе сочувствие. Ему всегда казалось, что люди, утверждающие, будто расстроились из-за него, на самом деле грустят по каким-то личным причинам. А его несчастье используют лишь как предлог, чтобы чувствовать то, что им хочется чувствовать. Сочувствие было каким-то фокусом, вроде чревовещания. Отец умер в сотнях миль отсюда. Уоллас никому об этом не говорил. Брат сообщил ему по электронной почте, потом позвонил. А после соцсети запестрели постами обеспокоенных или просто жадных до новостей родственников — мерзкая пена публичной скорби. «Странно как», — думал Уоллас, улыбаясь Эмме. Никакого сокрушительного горя он не испытывал. Чувства были примерно те же, что и когда кто-то из коллег неожиданно не появлялся утром в лаборатории. Нет, наверное, все же не совсем так. Скорее он не понимал, что ему чувствовать, и оттого старался не чувствовать ничего вообще. Так было проще. Честнее. В этом по крайней мере было что-то настоящее.

— Спасибо, — сказал он. А что еще остается говорить, когда попался в ловушку чужого сочувствия?

— Погоди-ка, — она обернулась через плечо.

Парни по-прежнему сидели за столом, все теперь были заняты Глазастиком, а она, довольная, подставлялась под ласкающие ее руки. — Они что, ничего не знают?

— Никто не знает.

— Черт, — выдавила она. — Но почему?

— Ну, понимаешь, наверное, мне так было проще.

— Нет, Уоллас. Не понимаю. Когда похороны?

— Были несколько недель назад, — ответил он, и ее это, кажется, ошеломило. — Что?

— Ты ездил? — спросила она.

— Нет, не ездил. Я работал, — ответил Уоллас.

— Господи Иисусе. Тебя что, дьяволица не отпустила?

Уоллас рассмеялся, и смех его эхом разнесся над водой. Надо ж было такое вообразить. Чтобы он рассказал о смерти отца завлабораторией, а та не отпустила его на похороны. Его так и подмывало позволить Эмме и дальше так думать, потому что, в принципе, Эдит могла бы так поступить. Но тогда, рано или поздно, эта ложь дошла бы до Эдит, и ему пришлось бы разгребать последствия.

— Нет, — покачал головой он. — Она все же не настолько ужасная. В тот момент ее даже в городе не было.

Эдит была высокой, эффектной женщиной пугающего интеллекта. И ничего демонического на самом деле в ней не было. Скорее ее можно было сравнить с сильным жарким ветром, который вот уже четыре года дул Уолласу прямо в лицо и, в итоге, вконец его измотал.

— Не защищай ее, — прищурилась Эмма. — Она что, блин, запретила тебе ехать на похороны отца? Сука больная.

— Нет, — он все смеялся, согнувшись и схватившись за живот. — Все не так. Я просто был очень занят.

— Уоллас, но это же *твой отец*, — возразила Эмма. И смех умер у него на губах. Слова Эммы отрезвили его. Да, это был его отец. Уоллас об этом прекрасно знал. Проблема в том, что все эти люди, его друзья, да и вообще весь мир, полагали, что семья — это нечто особенное. Что ты должен испытывать к родне определенные чувства, те же, что испытывают они сами, если же ничего подобного ты не ощущаешь, то это неправильно. Как он мог смеяться над тем, что не поехал на похороны собственного отца? Что за чудачество? Уоллас вовсе не считал, что ведет себя странно. Что, смеясь, поступает плохо или неправильно. Однако все же нацепил на лицо маску тихой

смиренной скорби.

— Черт возьми, — выдохнула Эмма. Похоже, она сильно за него разозлилась. Пнула водную гладь, и в темноту полетели отливающие серебром брызги. Затем обхватила Уолласа обеими руками. Он вздохнул и закрыл глаза. Эмма тихонько всхлипнула, и он обнял ее и прижал к себе.

— Все хорошо, хорошо, — убеждал он, но она лишь помотала головой и заплакала еще горше. Затем поцеловала его в щеку и обняла крепче.

— Мне так жаль, Уоллас. Господи. Если бы я могла хоть что-то изменить, — прошептала она.

Она так расстроилась, что Уолласа это встревожило. Разве возможно было искренне так сильно переживать за другого? Дрожать и всхлипывать, оплакивая утрату, которую должен был бы оплакивать он? Уоллас хотел бы заплакать — хотя бы ради Эммы. Но просто не мог. Их оставшиеся за столом друзья принялись вопить и улюлюкать, хлопать в ладоши и посылать в их сторону воздушные поцелуи.

Эмма сердито рявкнула на них, но они не услышали. Лишь Том вскочил и расправил плечи, словно почуяв что-то неладное. Обернувшись, Уоллас заметил, что он хмурится и гневно сверкает глазами. Том знал, что Уоллас гей. Знал,

что между ним и Эммой ничего быть не может. Отчего же тогда он так на них пялился? Будто только что услышал анекдот и не понял, в чем соль шутки. Чувство юмора у Тома почти напрочь отсутствовало, и потому он частенько сам выглядел комично. Вечно лохматый, он круглый год ходил в трекинговых ботинках, хотя ни тут, в окрестностях города, ни в Центральной Оклахоме, откуда он был родом, и близко не было никаких гор. Вообще Том был довольно манерным парнем. Работал над докторской в области литературоведения и был накрепко привязан к тонущему кораблю академической науки. И все же Уолласу Том скорее нравился. Он всегда подсказывал ему, какую книгу прочесть. И болтал с ним о литературе, пока остальные обсуждали футбол и хоккей. Но временами Уоллас замечал, что тот смотрит на них с Эммой так, словно мечтает отрубить им головы.

— Ну хватит с них представления, — сказал Уоллас.

— Нет еще, — Эмма подалась вперед и поцеловала его в губы. Дыхание ее было теплым и сладким, словно она держала за щекой конфету. А губы оказались мягкие и слегка липкие. Поцелуй вышел быстрым, но произвел за столиком

эффект разорвавшейся бомбы. Все заорали, кто-то направил на них фонарик, и получилось, что они, словно парочка из фильма, целуются у воды в луче света. Эмма, рисуясь, закинула руку назад и упала к нему на колени.

Уолласа раньше никогда не целовали. По-настоящему — нет. И ему вдруг показалось, что у него что-то украли. Эмма смеялась, уткнувшись лицом ему в колени. Том намотал на кулак поводок Глазастика и направился к ним.

— Какого хрена тут происходит? — злобно напустился он на Уолласа. — Ты что, думаешь, можно просто вот так взять и поцеловать чужую половинку?

— Это *она* меня поцеловала, — возразил Уоллас.

— Это я его поцеловала, — заявила Эмма так, как будто это все объясняло. Уоллас вздохнул.

— Эмма, мы это уже обсуждали.

— Он гей, — она выпрямилась. — Это не считается. Это все равно, что поцеловать девушку.

— Вот спасибо, — сказал Уоллас.

— Понимаешь?

— Нет, Эм. Так не пойдет. И мне неважно, гей он или нет — без обид, Уоллас…

— Но я *правда* гей.

— Все равно получается, что ты целуешься с другим, — продолжил Том. — Так не пойдет.

— Не будь таким пуританином, — сказала Эмма. — Ты что, внезапно в религию ударился?

— Хватит прикалываться, — рявкнул Том.

— У него отец умер. Я оказывала дружескую поддержку! — Эмма поднялась на ноги. Подол ее юбки — поношенной разноцветной тряпицы, явно купленной за гроши на барахолке — насквозь вымок. Уоллас набрал в грудь побольше воздуха. Том сверлил его взглядом.

— Серьезно, у тебя отец умер?

— Да, умер, — негромко протянул Уоллас.

— Чувак, мне очень жаль, — Том притянул Уолласа к себе и обнял. Лицо его раскраснелось, от тела шел жар. Темная борода щекотала Уолласу шею. Орехового оттенка глаза в темноте казались карими. — Я не знал. Это тяжело. Извини.

— Я в порядке, — отозвался Уоллас.

— Нет, не в порядке. И это *нормально*, — Том похлопал Уолласа по спине, кажется, очень довольный собой. Глазастик лизнула Уолласу руку, прошлась языком по костяшкам и ладони. Он присел на корточки и потрепал ее за уши. Собака положила лапы ему на плечи. От нее пахло чистой шерстью и косметической отдушкой. Эмма

и Том поцеловались в знак примирения, а Глазастик тем временем вылизала Уолласу уши.

Они вернулись к друзьям и подсели к столику, за которым сразу сделалось тесно и пьяно. Пока Уолласа не было, принесли пиво, а для него кружку сидра.

— Это я тебе заказал, — сообщил Миллер.

— Спасибо за заботу, — отозвался Уоллас. Вышло неожиданно сухо, но Миллер только кивнул.

Над столом лениво нарезали круги толстые шершни. Временами один из них подлетал к чьей-нибудь кружке, и Ингве, защитник всего живого, ловил его пустым стаканчиком, относил к краю набережной и там выпускал на волю. К тому времени, как он возвращался за столик, над кружкой уже кружил новый шершень.

— Ненавижу пчел, — сказал Уоллас.

— Это вообще-то не пчелы, — попытался возразить Ингве.

— У меня аллергия на осиные укусы, — продолжил Уоллас.

— Осы и пчелы — это не…

— И у меня, — вставил Миллер. Он зевнул, потянулся и, забыв, что только что брал руками попкорн и начос, потер глаза. И тут же резко

подскочил, едва не опрокинув стол. Уоллас, покосившись на опустевший контейнер, сразу понял, что произошло.

— Вот дерьмо, — буркнул Миллер.

— О нет.

— Ты в норме?

— Нет, Ингве, я не в норме, — рявкнул Миллер и припустил прочь по мощеной дорожке.

— Я помогу, — опередив Коула, вызвался Уоллас.

* * *

В толчее гуляющих белых Уолласу удалось разглядеть: здоровенного рыжего дядьку, тело которого было покрыто волосками, золотящимися в ярком свете фонарей у фуд-корта; двух мальчишек, катавших игрушечные машинки по столу и рукам своих подтянутых родителей с усталыми злыми лицами, так характерными для любителей фитнеса; занявших несколько столиков ребят из студенческого братства — в сумеречном полусвете казалось, что от них так и пышет здоровьем и блестящими перспективами; несколько компаний пожилых людей, чьи тела и жизни давно утратили юношескую свежесть, явившихся сюда, чтобы поймать последние про-

блески уходящей молодости, как ловят банкой привлеченных светом мотыльков. Расположившиеся на сцене музыканты, декорациями которым служило целое озеро, наигрывали что-то вроде карибского свинга, только в непривычно медленном темпе. Лет им на вид было примерно столько же, сколько Уолласу. Одетые в гавайские рубашки, с одинаковыми острыми носами и взъерошенными светлыми волосами, они были похожи друг на друга, как братья. Над местами для зрителей горело лишь несколько фонарей, но фуд-корт был освещен так ярко, что, подходя купить дорогущее пиво, крендельки или сосиски, ты словно попадал из ночи в день. Уоллас встал за мужчиной, плечи которого были покрыты золотистыми волосками, и, дождавшись своей очереди, попросил маленькую бутылку молока. Стоила она 3.50, и продавец, тощий бородатый парень с приплюснутым носом, недоверчиво глянул на него, прежде чем полезть в стоявший под прилавком холодильник.

Уоллас огляделся по сторонам в поисках Миллера. Тот не должен был далеко уйти. Стены павильона, освещенного мягким желтоватым светом, были стеклянными, и ему хорошо было видно все, что происходит внутри. Полы в па-

вильоне были отделаны мрамором, придавая ему сходство с отделением банка. В центре, под раскидистыми ветками могучего дуба, танцевали люди. Прыгали, извивались, вращали бедрами. Два старика подходили к женщинам, пытаясь пригласить их на танец, но все лишь смущенно улыбались в ответ и качали головами. За одним из столиков сидели несколько студенток. Головастые, с развитыми мускулистыми торсами, они безмятежно заливисто смеялись. Старики подошли и к ним, и две студентки согласились потанцевать, а остальные принялись аплодировать. И по залу точно волна прокатилась — все начали оборачиваться на них, хлопать. Оживился даже оркестр — музыка завизжала, загремела, словно кто-то взрывал лопатой гравий. Звучало это вовсе не мелодично. Уолласу подумалось, что эти звуки и музыкой-то назвать нельзя. Однако обе пары танцевали как ни в чем не бывало, и вскоре их уже окружили другие. Два парня из братства, вскочив из-за стола, стали было пародировать танцующих, но быстро засмущались, отвернулись друг от друга и разошлись, уронив мощные руки. Уоллас загляделся было на все происходящее, но через минуту опомнился. По стеклу скользнула тень, и он увидел Миллера. Тот

быстро шел через зал в сторону туалета. Уоллас тоже стронулся с места, и какое-то время они с Миллером шагали рядом, но по разные стороны стеклянной стены. Однако Миллер то ли не видел его, то ли делал вид, что не видит. Просто шел рядом, не замечая, словно во сне.

* * *

Уоллас нашел его у раковины. Миллер пытался промыть глаза, успев уже залить водой подбородок и футболку. Он морщился и ругался себе под нос. Кроме них в туалете никого не было.

— Давай помогу, — предложил Уоллас.

— Я такой идиот, — отозвался Миллер. — Напрочь забыл, что не помыл руки.

— Бывает, — сказал Уоллас и поставил на раковину бутылочку с молоком. Она еще не успела нагреться. Уоллас сполоснул руки под краном. В туалете пахло пивом и антисептиком, запах мочи совершенно не чувствовался. Под потолком неярко горели лампы. Пожалуй, для туалета тут было слишком чисто, и Уолласу стало не по себе. Столешница была сделана из какого-то дешевого черного камня. На пластиковой бутылочке выступил конденсат. Миллер, щурясь, разглядывал ее. Над раковиной висело большое вогнутое

зеркало, и Уоллас с трудом отвел взгляд от их отражения. — Можешь чуть присесть и наклониться вперед?

Сначала Миллер не шелохнулся. И Уоллас решил, что снова себя выдал. Однако через пару мгновений он, словно приняв какое-то решение, послушался, медленно согнул колени и слегка развернулся так, чтобы его лицо оказалось над раковиной. Сейчас он был совершенно беззащитен. Отвинтив крышечку, Уоллас поднес бутылку к глазам Миллера. Руки у него дрожали. С горлышка сорвалась белая капля и приземлилась Миллеру на щеку, чуть ниже ресниц. Уоллас сглотнул. Он слышал, как тяжело Миллер дышит. Видел, как тот облизнул уголок рта. Из крана капало.

— Вот так, — сказал Уоллас. Наклонил бутылочку, и молоко полилось Миллеру на глаза, с переносицы в раковину потек белый ручеек. Миллер зажмурился. — Э, нет, так не пойдет. Нужно, чтобы глаза оставались открытыми. — Миллер хмыкнул. И открыл глаза. Струйки молока с мягким стуком ударялись о внутреннюю поверхность раковины. Вылив половину бутылочки, Уоллас обильно смочил два бумажных полотенца. И выжал воду Миллеру на глаза,

карие, с синеватыми ободками. Белки у него уже покраснели. Миллер снова инстинктивно зажмурился, но вскоре открыл глаза. Уоллас промокнул его густые ресницы бумажными полотенцами. Затем снова промыл глаза молоком, сполоснул водой и опять промокнул.

— Ну-ну, — негромко приговаривал он. — Все хорошо.

— Ну хватит. Нечего надо мной прикалываться.

— Я не прикалываюсь, — возразил он. Наоборот, он пытался быть ласковым. — Со мной однажды тоже такое было. Мы с бабушкой и дедушкой собирали перцы, а мне захотелось спать, и я потер глаза руками. — Уоллас усмехнулся, вспомнив, какой он тогда был жалкий, несчастный, с раздутыми, как грейпфруты, глазами. Он опустил взгляд на Миллера, на его выгоревшие волосы, на густые ресницы. И вдруг его словно исподтишка ударили в живот. Миллер смотрел прямо на него. Ну понятно, а куда еще ему было смотреть? Ведь ничего, кроме Уолласа, в поле его зрения не было. Не удивительно, в общем, что он на него смотрел. — Готово, — объявил Уоллас. И бросил опустевшую бутылочку в мусорную корзину под раковиной.

— Спасибо, — сказал Миллер. — Все не так страшно. Только больно адски.

— Оно всегда так. Всегда оказывается больнее, чем ты думал, даже если ты вроде как и не сильно пострадал.

Они стояли у раковины, из крана тихонько капала вода. Руки у Уолласа были мокрые и холодные. Глаза у Миллера раскраснелись и припухли, словно он недавно плакал. Он шагнул в сторону и прислонился к стене, отчего стал как будто ниже ростом. С улицы доносилась музыка, легкая и ненавязчивая, как шепот ветра в ветвях деревьев. Уоллас вертел в руках мокрые бумажные полотенца. Миллер потянулся за ними и сжал пальцы Уолласа в своих крупных ладонях.

— Ты правда хочешь бросить аспирантуру? — спросил он.

— О, — у Уолласа вырвался нервный смешок. Только сейчас он понял, как глупо, как нелепо, должно быть, звучали его разглагольствования. — Кто знает? Может, я просто психую.

— Все мы психуем, — подумав с минуту, отозвался Миллер и сжал его пальцы. — Постоянно на нервах, пока не получим то, что хотим. А, может, даже и после. Не знаю…

— Может быть, — согласился Уоллас.

Миллер за руку потянул его к себе, и Уоллас не стал противиться. Они не поцеловались, ничего такого. Миллер просто крепко держал его несколько минут, пока мелодия, доносившаяся с улицы, не сменилась другой. Пора было возвращаться к друзьям. До раздвижных дверей они дошли, держась за руки, и лишь шагнув в ночь, неохотно разделились, снова становясь двумя отдельными людьми.

— Увидимся, — бросил Миллер, вскинув брови.

— Увидимся, — Уоллас стал пробираться назад через толпу. С тела словно содрали кожу, внутри бурлила энергия. Произошедшее разбередило в нем что-то. Он вернулся за столик, и все тут же стали спрашивать, где Миллер. Но Уоллас лишь пожал плечами:

— Сказал, сейчас придет.

— Как он? — спросил Коул.

— Лучше. Он слишком длинный, не мог просунуть голову под кран, так что в кои-то веки мой рост оказался кстати.

— Бедняжка, — вздохнула Эмма.

— С ним все будет в порядке, — заключил Уоллас и принялся за свой сидр. Тот оказался теплым и терпким. Горьковатым, с химическим пластиковым привкусом. Уоллас внезапно обнаружил,

что все за столом смотрят на него. У Эммы глаза были на мокром месте. Коул то и дело косился на него украдкой, Винсент судорожно сглатывал. Ингве поглядывал на него поверх кружки с пивом. У ног Тома вертелась Глазастик. Ошейник ее тихонько позвякивал, как маленький колокольчик.

— Что? — спросил он. — У меня что-то с лицом?

— Нет, — отозвался Коул. — Просто… Эмма рассказала нам про твоего отца. Мои соболезнования.

Уоллас догадывался, что так будет, и все же внутри тут же вспыхнула ярость. В их компании всегда так происходило, информация курсировала от одного к другому, словно по кровеносной системе огромного организма, где сосудами служили сообщения, электронные письма и приглушенные шепотки на вечеринках. Уоллас облизнулся, на губах все еще чувствовался вкус Эммы. Злость не утихла, но уступила место смирению.

— Спасибо, — ровно произнес он. — Большое спасибо.

— Тебе, должно быть, нелегко, — покачал головой Ингве. Его песочного оттенка волосы словно

светились в темноте. Она и резкие черты лица его сгладила, и лишь острый подбородок, придававший ему мальчишеский вид, по-прежнему заметно выдавался вперед. Дед Ингве, добрый и приветливый швед, умер как раз в тот год, когда они поступали в аспирантуру, и Ингве тогда все лето провел в горах.

— Да, — согласился Уоллас. — Но жизнь продолжается.

— Это верно, — поддержал Том с другого конца стола. — Жизнь продолжается. Это прямо как в моей любимой книге.

— Боже, — охнул Винсент. — Опять.

— «Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли, как лес шумят, как листопад»[1].

— Очень красиво, — сказал Уоллас.

— Не поощряй его, — сказала Эмма. — Не то он весь вечер не заткнется.

— Это из *«На маяк»*, хотя на самом деле это неточная цитата из стихотворения, — гордо объявил Том. — Одна из лучших книг, что мне попадались. Я прочел ее еще в школе, и она буквально перевернула мою жизнь.

Винсент, Эмма и Коул переглянулись. Ингве

---

[1] Примечания: 1

Перевод Е. Суриц. — *Здесь и далее прим. пер.*

внимательно рассматривал столешницу сквозь желтое пиво в кружке.

— Придется самому в этом убедиться, — сказал Уоллас. Он вскинул голову и сразу же увидел Миллера. Тот шел к ним с новой кружкой пива в руках.

— А вот и я, — объявил он. И снова уселся напротив Уолласа, но теперь даже не смотрел в его сторону. Это было слегка обидно, но Уоллас понимал, что Миллеру может быть неловко.

— Ну, мне пора, — сказал Уоллас. — Отлично посидели.

— Не уходи, — вскинулась Эмма. — Мы же только пришли.

— Знаю, любовь моя, но эти болваны меня еще до вашего прихода достали.

— А, так ты нас не любишь, — вклинился Коул. — Все понятно.

— Ты в порядке? — спросил Ингве. — Может, тебя проводить?

— Мне только улицу перейти. Тут близко. Но спасибо за предложение.

— Я, наверное, тоже пойду, — заявил Миллер, и над столом повисло изумленное молчание. — Что?

— А ты-то чего нас бросаешь?

— Ну, видишь ли, Ингве, я устал. Весь день проторчал на солнце. К тому же я слегка перебрал. Хочу домой.

— Тогда давайте уж все пойдем.

— Нет-нет, вы оставайтесь, — сказал Миллер. Уоллас уже поднялся из-за стола и теперь по очереди обнимал на прощание Эмму, Коула и Винсента. Все они пахли пивом, солью, потом и отлично проведенным временем. Тому он пожал руку. Тот долго смотрел ему в глаза, вероятно, полагая, что таким образом выражает сочувствие. — Подожди меня, — сказал Миллер.

— Тебе в другую сторону, — напомнил Уоллас.

— Но до ворот-то все равно идти вместе.

— Тогда ладно, — кивнул он.

Миллер вслед за Уолласом попрощался со всеми, и вскоре они уже оказались на улице. В небе над головой ярко сияли звезды. С пристани доносилась музыка, сливаясь с какофонией звуков города. Кругом царила суета, подъезжали и отъезжали машины, люди выскакивали из автомобилей или, наоборот, забирались внутрь. Уоллас и Миллер остановились в тени, под навесом.

— Чего это ты так резко подорвался? — спросил Миллер. — Из-за меня?

— Нет, — ответил Уоллас. — Просто устал.

Миллер, кусая губу, пристально вгляделся ему в лицо.

— Прости за то, что произошло в туалете.

— А что такого? Все нормально.

— Нет, ненормально. Я не должен был. У меня такое чувство, что я тобой воспользовался.

— О, — протянул Уоллас.

— Я вообще-то по девушкам, — продолжал Миллер. — Но иногда замечаю, как ты на меня смотришь, и начинаю гадать: он что, меня ненавидит? Или, может, я ему нравлюсь? Мне жутко не хочется, чтобы ты меня ненавидел. Правда.

Уоллас молчал. С того места, где они стояли, было видно озеро. Вода, темная у самого берега, ярко блестела на глубине.

— Все в порядке.

— И я не понимаю, что делать, — сказал Миллер, сжимая руку в кулак. Казалось, он сейчас расплачется. Но Уоллас знал, это просто глаза у него до сих пор слезятся.

— Ничего не надо делать.

— Правда?

— Все хорошо, — повторил Уоллас, от души желая, чтобы это было правдой. — Мы просто подержались за руки. Детский сад.

— Даже не знаю. Боже, — Миллер шагнул к Уолласу, затем отшатнулся.

Уоллас вздохнул. Бетонная стенка царапала ладони.

— Хочешь, пойдем ко мне?

— Не знаю, стоит ли, — Миллер подозрительно покосился на него.

— Ну лично я устал и хочу домой.

— Тогда я с тобой прогуляюсь.

— Отлично, — сказал Уоллас. Больше всего на свете ему сейчас хотелось оказаться дома в своей постели. Они прошли квартал вниз по улице, миновали большой, круглый многоквартирный дом, маленький бар на углу, из которого неслась громкая музыка. У входа курили несколько белых. Уоллас чувствовал, как они провожают его взглядами. Миллер шагал рядом. Временами их плечи и пальцы соприкасались, и Миллер косился на Уолласа. Но тому удавалось сдержаться и не обернуться на него в ответ. Что за странная у него жизнь? Как только он оказался в этом чудном месте? Он уже жалел, что пошел на озеро. Жалел, что решил встретиться с друзьями. Не потому, что Эмма всем растрепала о смерти отца, но потому, что то, что раньше казалось простым и ясным, внезапно сделалось сложным и запутанным.

* * *

Они с Миллером поднялись по лестнице в его небольшую квартирку. Окно Уоллас, уходя, оставил открытым, и в комнате пахло озерной водой и летней ночью. В спальне работал вентилятор, и оттого в квартире было прохладно. Миллер подсел к стойке и стал наблюдать, как Уоллас готовит кофе во френч-прессе, что для него было в новинку.

Далее оттягивать разговор было невозможно, и Уоллас влез на стойку, скрестил ноги и обхватил ладонями теплую кружку. Миллер теребил край лежащего на столешнице бумажного листка.

— Миллер, так что все это значит?

— Мне не по себе, — отозвался тот. — Из-за того, что случилось в туалете. И из-за того, что я сказал тебе в апреле. Из-за всего. Мне кажется, я ужасный друг. И плохой человек.

— Ничего подобного.

— Давай начистоту. Я не западаю на парней. Я не гей и все такое. Просто… не знаю.

— Все нормально. Ты отличный друг.

— А я вот в этом не уверен. Я сглупил. Увидел, как ты целуешься с Эммой, и подумал… Ну, понимаешь…

— Честно говоря, не совсем, — покачал головой Уоллас. Днем он варил суп, и в раковине до сих пор громоздилась гора грязной посуды. — Ты увидел, как Эмма меня поцеловала, и подумал… О чем? Если все целуются с теми, кто их не привлекает, почему бы и мне не попробовать?

— Нет… Да… Не знаю, наверное. И тут ты собрался уходить, и я подумал: «Черт, это все из-за меня».

— Как мило.

— Но я хочу.

— Хочешь… чего?

— Поцеловать тебя, — сказал Миллер.

— О.

— Это плохо?

— Нет. Вовсе нет. Но, видишь ли, ты только что говорил, что не хочешь этого.

— Нет, хочу. Хочу. Не должен. Но хочу.

— Ладно, — сказал Уоллас.

Миллер покосился на него. В квартире царил полумрак. Свет горел лишь на кухне, и за большим окном, выходящим в переулок, светили фонари.

— Вот так просто?

— Что сказать, я легкая добыча.

— Дурацкие у тебя шутки, — Миллер соскочил

со стула и шагнул к нему. Спиной он заслонил лившийся из кухни свет, и Уолласа накрыло его тенью. Щеку опалило теплым дыханием. Миллер тронул его губы кончиками пальцев и надавил большим, чтобы Уоллас чуть приоткрыл рот. Смотрел он при этом очень внимательно, не нервничал, не тушевался. Ему явно не впервой было брать на себя активную роль, рулить ситуацией. И все же он медлил, не решался двинуться дальше. Это чувствовалось в том, как неспешно он проводил по губам Уолласа большим пальцем. Уоллас впустил его в рот и принялся медленно, нежно слизывать с него соль. — Какой же ты… — начал Миллер.

Уоллас не стал уточнять. Притянув Миллера за футболку, он придвинулся ближе и прижался к нему всем телом. Миллер, теперь стоявший между его раздвинутых бедер, слегка наклонился, и губы их встретились, подарив мимолетное ощущение жара и влаги. Уоллас целовался второй раз в жизни и никак не мог понять, почему же он столько лет пренебрегал этим моментом единения. Это было так прекрасно, что теперь он боялся мига, когда все закончится.

Миллер поцеловал его снова. У Уолласа вырвался приглушенный стон, но Миллера это лишь

сильней распалило. Он словно искал чего-то — прижимался губами то к его рту, то к щеке, то к подбородку, как будто именно там ожидал найти ответ на незаданный вопрос. Руки его коснулись бедер Уолласа, скользнули по бокам и выше, выше, пока не оказались у него на шее. Ладони загрубели от лодочного снаряжения, и тем острее были ощущения, когда они касались кожи. Поцелуи его на вкус были, как пиво со льдом — холодные и резкие. Миллер укусил его за губу.

— Мне очень нравится, — сказал он. — Я и не думал, что мне так понравится.

— Это здорово, — отозвался Уоллас. Кажется, зря он это сказал, потому что Миллер внезапно нахмурился и попытался отпрянуть. Но Уоллас обхватил его ногами за талию, не давая отстраниться. — Эй, куда это ты собрался?

— Похоже, тебя все это не слишком заводит, — бросил Миллер. — Не хочу тебя принуждать.

— Еще как заводит, — возразил Уоллас и положил руку Миллера себе между ног, где было уже очень твердо. Миллер охнул и дернулся, словно только теперь вспомнил, что Уоллас мужчина, как и он сам. Однако его это не отпугнуло. Он крепко — возможно, даже чересчур крепко — сжал выпуклость под брюками Уолласа и при-

жался губами к его шее.

— Я не умею. Не знаю, как это делается, — пробормотал он.

— Ничего страшного, — ответил Уоллас. — Это нетрудно.

— Я не девственник, — рассмеялся Миллер. — Просто. Я не… Ну, ты понимаешь, — он неопределенно повел руками.

* * *

В спальне было темно. Синел лишь прямоугольник распахнутого окна, освещенный с улицы фонарями.

Уоллас опустил жалюзи, и стало еще темнее, все окрасилось в оттенки серого. Но все же это была его комната, он отлично в ней ориентировался и знал, что Миллер сейчас стоит возле кровати. Уоллас подобрался к нему сзади и, застав врасплох, легонько толкнул вперед. Тот поначалу не поддался, но затем, изумленно выдохнув, рухнул на постель. Уоллас опустился рядом с ним. Так, едва касаясь друг друга, они пролежали долго — а, может, Уолласу только так показалось.

Он не помнил, когда в последний раз вот так нежился рядом с кем-то, в почти невинной истоме, когда оба делают вид, что вовсе и не думают о

сексе, промедлением доводя себя до почти невыносимого возбуждения. Он не выдержал первым, положил руку Миллеру на грудь и почувствовал, как быстро и сильно бьется его сердце.

Они снова поцеловались, сдаваясь под натиском захлестывавшего их желания. И тут же принялись выпутываться из одежды, сдирать ее с себя, как кожу, и вновь коснулись друг друга уже обнаженные, дрожащие, словно впервые увидевшие мир новорожденные создания.

— Забирайся под покрывало, — велел Уоллас Миллеру, и тот послушался. Они касались друг друга так нежно и робко, что Уоллас едва не заплакал от жалости к себе восьмилетнему. Тогда к нему прикоснулись впервые, и в этом прикосновении не было ни нежности, ни страха причинить ему вред. Сам же он твердо решил дать Миллеру то, что никто никогда даже и не пытался дать ему. Чтобы, когда все это — чем бы оно ни было — закончится, не оказалось, что Миллер теперь страшится его тела и того, на что оно способно. Теперь голова Уолласа двигалась у Миллера между бедер, и тот отчаянно вцеплялся ему в волосы. Уоллас принял его глубоко в горло, и Миллер в последний раз сдавленно вскрикнул.

Уснули они, покрытые едва заметными синяками и царапинами. Уснули, так и не откатившись друг от друга. Уоллас, правда, заснул не до конца. Болтался на границе между сном и явью, скользя по огромному серебристому морю света и рассматривая проплывающий над ним мир.

Тело обнимавшего его Миллера было таким тяжелым и теплым. И неожиданно крепким. Он спал, а Уоллас оглаживал пальцами косточки у него на бедрах, погружал их в негустые волосы на лобке. Не то чтобы Уолласу раньше доводилось разглядывать тело Миллера, и все же он замечал, как оно окрепло от парусного спорта. Но в развитых мышцах рук и ног, соседствовавших со все еще мягкими животом и бедрами, ему виделось нечто особенное. Это было тело в процессе становления. Грудь Миллера покрывали мягкие курчавые волоски. Во сне он казался нежным и хрупким, словно маленький мальчик, угодивший в тело взрослого мужчины. В том, как глубоко и спокойно он спал, прикрыв лицо рукой, ощущалось что-то уютное и совершенно невинное.

Уоллас не помнил, когда самому ему в последний раз удавалось так сладко уснуть. Расслабиться и поверить, что внешнему миру до него не

добраться. Миллер хмыкнул во сне и перевернулся, неосознанно ища исходившего от тела Уолласа тепла. И тот растянулся на кровати, давая ему к себе прижаться. Временами он начинал слышать жужжание вентилятора, а потом снова переставал его замечать. Интересно, когда их друзья вернутся домой и обнаружат, что Миллера там нет, они задумаются, куда он мог деться? Жил он вместе с Ингве и ночевал обычно дома. Пропадать где-то до рассвета не входило в его привычки. Даже будь они с Уолласом близкими друзьями, все равно было бы странно, что он остался у него. Но Уоллас решил, что подумает об этом завтра.

Он вылез из постели, прошел на кухню и налил себе стакан ледяной воды. Глотал медленно, так, чтобы от холода онемели язык и горло, и вскоре сам уже перестал понимать, утолил он жажду или еще нет. Живот раздулся. К горлу подкатила тошнота, но Уоллас продолжил пить. Глоток, еще глоток, и снова. Напитаться водой, как губка. Стакан опустел, и он опять налил его до краев. Губы раскраснелись. Уоллас продолжал пить. Он осушил четыре стакана, затем бросился в ванную, и там его вывернуло. Вода, сперма, попкорн, сидр, суп, который он ел на обед, — все преврати-

лось в оранжевое месиво. Обожженное кислотой горло саднило. Уоллас, весь дрожа, привалился к унитазу. От вони его снова затошнило, желудок скрутило спазмом.

Когда все закончилось, ему показалось, что внутри у него стало абсолютно пусто. Уоллас прополоскал рот, почистил зубы и вернулся в гостиную. Сел на край дивана и поджал под себя ноги. В окне идеальным белым кругом маячила луна. В мире царили тишина и спокойствие. На той стороне переулка стоял высокий дом, и можно было глазеть, что происходит в жизни его жильцов. В одной из квартир горел свет, и видно было, как какой-то мужчина гладит белье у себя на кухне.

Доносившиеся из других квартир приглушенные звуки оттеняли висевшую в комнате тишину. Где-то, не попадая в ноты, напевали модную этим летом песенку. Что-то тихонько звенело — нет, не телефон, а как будто струя воды билась в металлическую трубу.

Уоллас переживал, что друзья узнают о них с Миллером, не потому, что стыдился произошедшего. Нет, он боялся, что Миллеру станет стыдно и он не захочет повторить.

Что одним минетом в темноте все и ограни-

чится.

— Где ты? — донеслось из спальни.

— Тут, — в горле по-прежнему жгло.

В комнату вышел Миллер, завернутый в Уолласово покрывало. Сел рядом. От него разило пóтом, но запах от тела все равно шел очень приятный.

— Что ты тут делаешь?

— Не хотел тебя будить.

— Не можешь уснуть?

— Да. — Уоллас невесело улыбнулся. — Но со мной такое часто бывает.

— Почему?

— Что почему?

— Почему ты не можешь уснуть?

— Не знаю. Как-то не спится с тех пор, как отец умер.

— Мне очень жаль, — сказал Миллер. Кивнул, а затем наклонился и поцеловал Уолласа в голое плечо.

— Спасибо, — ответил Уоллас.

— Вы были близки?

— Не то чтобы… Чудно звучит, да? Мы друг друга и не знали-то толком.

— У меня два года назад мама умерла, — сказал Миллер. — У нее был рак груди, давно уже. Потом нашли метастазы в печени, а после они распро-

странились по всему телу. Она умерла дома.

Уоллас положил голову Миллеру на плечо, и тот прижался к нему.

— Мои соболезнования, — сказал он.

— И, знаешь, это не важно, знали вы друг друга или нет. Моя мать была той еще сукой. Злобной, лживой, жестокой… Всю жизнь меня изводила. Но когда она умерла, я… Не знаю, такое ощущение, что, пока родителям не становится плохо, они для нас вроде как и не люди. А людьми делаются, только когда умрут.

— Ага, — кивнул Уоллас. — Все так. Ну примерно.

— Когда мать умерла, я подумал: «Вот же дерьмо, вот дерьмо». Я презирал и ненавидел ее большую часть жизни. А когда она столкнулась с тем, с чем не смогла справиться, я понял, что мне ужасно ее жаль.

— Ты попрощался с ней?

— Я был рядом каждый день, — ответил Миллер. — Мы играли в карты, спорили, что смотреть по телеку. Я ей готовил, она прикалывалась над моей любимой музыкой и постоянно твердила, как любит меня, — глаза у Миллера потемнели, затуманились слезами, но ни одна из них так и не скатилась по щеке. — А потом она умерла.

— Мне очень жаль, — сказал Уоллас. Дурацкая была фраза, но ничего другого на ум не пришло.

— Я не знаю, как тебе пережить смерть отца, Уоллас. Не могу говорить тебе, что чувствовать. Но если тебе нужна поддержка, я тут. Я ведь твой друг. Ладно? — Он взял Уолласа за руку, и тот не стал ее отнимать. Они снова поцеловались — быстро, нежно, мимолетно. А потом рассмеялись, потому что обоим это показалось глупым. Но после Миллер лег на него и накрыл их обоих одеялом. И Уоллас впервые за долгое время позволил кому-то войти в себя. Сначала, как и всегда, было больно. Но и боль, и то, что тело помнило, какое за ней следует удовольствие, снова вызвали у него эрекцию. Миллер был неприхотлив, но твердо знал, чего хочет, и без устали этого добивался. К тому моменту, как все закончилось, дыхание у обоих срывалось.

* * *

В ярко освещенной ванной они насухо вытерлись. Уолласу казалось, его раскололи и взбили в пену, как яйцо. Внутри пульсировал жар, словно где-то в теле разгоралось его личное солнце. Миллер смотрел на него чистыми, ясными глазами.

— Не стану тебе врать, — сказал он. — Я совсем

сбит с толку. Не представляю, что теперь делать.

— Это понятно, — отозвался Уоллас, проглотив обиду. — Все нормально.

— Нет, дай мне закончить. Я сам не понимаю, что делаю. Наверное, все это неправильно. Но мне понравилось. Было здорово. Так что не терзайся.

— Постараюсь не принимать это близко к сердцу.

— Уоллас.

— Ладно-ладно. Ценю твою откровенность.

— Все, забудь.

— Нет, погоди, я попробую снова.

Но Миллер уже вышел из ванной и направился в кухню. Уоллас пошел за ним.

— Эй, ты куда? Вернись! Ну, прости, я больше не буду.

— Можно мне воды?

— Конечно, — отозвался Уоллас. Он вспомнил, как сам недавно пил, а после корчился над унитазом, и шея и щеки у него вспыхнули. Он налил Миллеру воды в тот же стакан, из которого пил сам. И стал смотреть, как тот пьет, как вздрагивает его горло, когда он глотает. Уолласу любопытно было, остался ли на стекле вкус его губ. Ощущает ли его Миллер.

— Хватит на меня пялиться, я смущаюсь, —

буркнул Миллер, не отрываясь от стакана.

— Прости, — сказал Уоллас, демонстративно отвел глаза и стал смотреть на здание напротив. Мужчина в окне по-прежнему гладил возле раковины. Интересно, он видел, как они трахались на диване?

— Можно еще? — спросил Миллер. Уоллас взял у него стакан и стал наливать в него воду из графина. Миллер не сводил с него глаз, а сам он не сводил глаз с Миллера, наблюдал за тем, как он за ним наблюдает. Вода в стакане поднималась все выше, выше и едва не выплеснулась ему на пальцы. Но Уоллас успел. Остановился ровно в ту секунду, когда она достигла кромки, замерла в той точке, когда нечто, достигнув предела, непременно идет на спад, либо уступает, либо прорывается и выплескивается через край.

— Вот, — сказал Уоллас. — Наслаждайся.

— Спасибо, — ответил Миллер и принялся жадно пить, прикрыв глаза, словно испытывал неземное блаженство.

2

В других лабораториях, расположенных на третьем этаже биологического факультета, пусто, как после вознесения. Заглядывая в них, испытываешь то же чувство, что застав не подозревающего о твоем присутствии человека за переодеванием, — восторг и стыд вуайериста. В воздухе солоновато пахнет дрожжевым экстрактом. Рот Уолласа наполняется слюной. Он смотрит на уходящий вниз ярко освещенный атриум. Перила лестницы увивают высохшие виноградные лозы. Внизу блестит пол, отполированный множеством ног. Уоллас думает, что если сейчас спрыгнет вниз, то долго еще будет лететь сквозь пустоту. Жуткий способ свести счеты с жизнью. Он уже почти ощущает жар от удара о пол и влагу, вытекшую из его расколовшегося черепа. Но тут рядом с грохотом захлопываются двери лифта, и иллюзия невесомости рассеивается.

Сейчас суббота, десять утра.

Из расположенной в конце коридора лаборатории Эдит льется свет. У настольной центрифуги

стоит Кэти. Здоровенный серый аппарат истошно воет, и вой этот, становясь все тоньше и тоньше, постепенно сливается с привычным лабораторным гулом — скрипом клеток, звяканьем мензурок, жужжанием термостатов инкубаторов, ровным гудением кондиционера под потолком. Входя сюда, словно попадаешь в кишечник гигантского существа, со всех сторон тебя окружают звуки жизнедеятельности его организма. Кэти на Уолласа не оборачивается. Волосы у нее светлые, а черты лица очень мелкие, словно кто-то стер ластиком настоящие и набросал их уменьшенную копию. Пристроив на бедро зеленое ведерко со льдом, она хлопает себя по ноге парой голубых медицинских перчаток. Нетерпение. Досада.

Уоллас пытается побыстрее проскочить мимо, но она все же успевает бросить ему:

— Давай разберемся с этой фигней поскорее.

— Конечно, разберемся, — осторожно отзывается он. Понимая, что попался. «Конечно, разберемся!» — эхом разносится по лаборатории, состоящей из трех проходных комнат. Каждая из них разделена на пять отсеков, в каждом отсеке стоят два лабораторных стола. Пока Уоллас движется к своему, в поле его зрения ненадолго попадают другие лаборанты. Все они собрались

здесь, в этом ярко освещенном сердце унылого холодного здания, чтобы ощутить его вибрирующую энергию. И тем ненадолго утешиться.

Не считая его, в этой лаборатории работают одни девушки: Кэти, Бриджит, Фэй, Су-Йин и Дана.

Кэти одержима желанием получить ученую степень, от нее так и пышет дикой необузданной энергией. Никто не решается поднять на нее глаза. Она в их группе главная, следом идут Бриджит и Фэй. Бриджит — девушка живая, непосредственная и любопытная. Еще у нее феноменальная память, набитая библиографиями трудов выдающихся биологов. Фэй застенчива и меланхолична. Кожа у нее такая бледная и прозрачная, что, когда она орудует пипеткой, кажется, вот-вот можно будет разглядеть, как кровь бежит по сосудам к мышцам. Эксперименты у нее выходят неубедительными, в них всегда полно ошибок, но при этом выполнены они настолько аккуратно, что Уоллас не может удержаться от зависти. Как-то раз во время общего совещания Эдит отметила, что Фэй вдается в нюансы такие тонкие, что на общий результат они никак не влияют. Су-Йин буквально живет в маленькой лаборатории, среди химических реагентов и ламинарных шкафов. Там у нее хранятся выве-

денные ею культуры, сгустки сероватых клеток, которые растут, делятся и умирают в сосудах, наполненных ярко-красной жидкостью. Уоллас как-то застал ее за работой и подумал, что она похожа на мифическое создание. Одним плавным движением она утирала голым запястьем текущие из глаз слезы и капала пипеткой какой-то раствор в пробирку. От Су-Йин всегда сильно пахнет соленой водой. Дана, самая младшая из лаборантов, поступила в аспирантуру на год позже Уолласа. И после нее их руководитель аспирантов больше не принимала. Раз в пару месяцев по лаборатории начинают расползаться слухи: Эдит собирается на пенсию, переводится в университет Лиги Плюща, готовится занять пост советника в правительстве, уходит на должность консультанта. Но слухи эти столь же далеки от истины, сколь многочисленны и недолговечны.

Большую часть времени в лаборатории стоит тишина. Лишь изредка в залитом светом прохладном помещении раздается: *«Есть буферный раствор с PH 6,8? Ты не готовила новый TBE? Где ДАФИ? А что, скальпели закончились? Кто забыл заказать dNTP?»*

Лаборатория Коула расположена на два этажа выше. Уоллас слышал, что ее сотрудники по

выходным встречаются поиграть во фрисби и иногда даже ходят друг к другу в гости. Многих из них он видел у Коула и Винсента на барбекю, и Коул тогда явно не понял, что именно его в этом так удивило: *«Ну, конечно, я их пригласил! Это же ребята из моей лаборатории!»* Тут появилась Кэти, а с ней Кэролайн, которая тогда как раз всего пару недель как защитилась, и Уоллас отошел с ними в угол. Почему-то посчитал, что должен сохранить верность коллегам, хотя вокруг полно было людей, которых он знал куда лучше, и которые больше ему нравились. Кэти и Кэролайн принялись болтать, но обращались при этом только друг к другу, не к нему. Кэролайн вздыхала: «Ну вот, опять одно и то же». А Кэти потягивала вино и сквозь бокал рассматривала мощеный дворик с мангалом, на котором жарилось мясо, и бассейном, в котором плескался аспирант пятого курса. Уоллас несколько часов томился с ними в углу, произнеся за это время всего лишь пару фраз, но почему-то к своим друзьям так и не отошел. Даже после того, как Кэролайн, перебрав пива, начала откровенно злиться. Даже после того, как Кэти сердито заявила Винсенту, что мясо недожарено и она его есть не будет. Даже это не побудило его от них отойти.

Второй стол в отсеке Уолласа сегодня пустует. «Будь Хенрик по-прежнему тут, — думает Уоллас, — все было бы иначе». Он бы носился по отсеку, затевая дюжину дел сразу, пока, наконец, не остановился бы на чем-то одном. Хенрик, крупный мускулистый парень, приехал сюда из Миннесоты, где изучал химию в маленьком колледже и был одним из нападающих в студенческой футбольной команде. Это он в свое время научил Уолласа делать срезы — не на лабораторном стекле, а в чашке Петри, что давало больше времени и пространства для маневра; терпеливо ждать, пока черви не подрастут до нужного размера; правильно выбирать момент, чтобы одним ударом врубиться в скопление нематод и отсечь головы сразу пятидесяти. Это он научил Уолласа, под каким углом нужно вводить тонкую иглу в зародыша — сгусток похожих на икринки идеальных клеток. Он вообще много чему его научил — как подготовить микропрепараты для презентаций и как успокоиться перед выступлением, попеременно погружая руки то в холодную, то в горячую воду. *«Подкрути вентиль, Уолли, подбавь жару».* Порой, закрывая глаза, Уоллас по-прежнему видит перед собой лицо Хенрика, слышит его голос — такой добрый и смешной,

как у персонажа «Маппет-шоу», голос мужчины, который, наверное, навсегда останется ребенком. Было в Хенрике что-то кипучее, хулиганское, казалось, он в любой момент мог напрыгнуть на тебя, обхватить за шею и проехаться костяшками пальцев по голове. Случались моменты, когда он вытягивался во весь рост, и только тогда становилось ясно, какая в нем заключена мощь. Однажды Уоллас видел, как он швырнул оземь пятигаллоновую бутыль, рассердившись, что кто-то забыл завинтить крышку. В другой раз Уоллас делал посев, а Хенрик вдруг отпихнул его от горелки, выключил ее и заявил, что он все делает неправильно, не соблюдает стерильность. А затем выбил из рук Уолласа деревянную палочку, и та, жалобно постукивая, покатилась по столу. Когда в лаборатории проходила презентация, присутствие Хенрика всегда остро чувствовалось в темноте, казалось, все глаз с него не сводят, затаившись в ожидании. А когда он принимался орать, звучало это всегда очень странно, ведь героям «Маппет-шоу» повышать голос не пристало. Все равно, что Кермит вдруг развопился бы, расстроившись, что выводы получились поверхностными и неточными: *«У нас тут что, блин, посиделки у костра? Данные это-*

го не подтверждают. Не подтверждают! Выводы не обоснованы!» Уоллас от рыка Хенрика всегда невольно подпрыгивал и жутко этого стыдился. Вспоминалось, как в детстве брат неожиданно хлопал в ладоши у него перед носом, а потом обзывал его трусишкой за то, что он вздрогнул. *«Че дергаешься? Думаешь, я сейчас тебе врежу?»* Просто ужасно было, что тело его реагировало на Хенрика вот так. Отказывалось подчиняться. Словно кто-то снова и снова неожиданно хлопал у него перед носом в ладоши.

Но Хенрик уехал. Теперь он руководит собственной лабораторией в Вассаре, обучает своих студентов, как раньше учил Уолласа. Интересно, вот это чувство, которое он по этому поводу испытывает, — это ревность? На бывшем лабораторном столе Хенрика лежит слой пыли и валяется зеленый маркер — это ведь никакая не святыня. Уоллас снова разворачивается к своему столу. Он завален бумагами: выравнивания белков, записи о различных формах плазмид, зарисовки структур, статьи, которые он уже несколько месяцев собирается прочитать. Компьютер перешел в спящий режим, и с экрана на него смотрит собственное отражение в темно-янтарных тонах. Рядом с ним — стаканчик со вчерашним кофе,

покрытым пленкой прокисших сливок. Уоллас сам понимает, что тянет время. Просто не может заставить себя взглянуть на стол, не может, хотя и знает, что должен это сделать. Но, в конце концов, усилием воли заставляет себя поднять голову и посмотреть, посмотреть внимательно, посмотреть и увидеть.

Стол Уолласа один из самых крупных в лаборатории. Он получил его четыре года назад. Унаследовал от аспиранта, который, защитив докторскую, уехал в Лабораторию Колд-Спринг-Харбор изучать стволовые клетки мышей. Столешница широкая, черная и гладкая, с белесым налетом царапин, образовавшихся от твердых ножек микроскопов и оснований горелок Бунзена. Сбоку высятся полки из светлого дерева, отделяя стол Уолласа от соседнего, стола Даны. С белого пластикового стеллажа, словно любопытные дети, таращатся бутылочки с разноцветными и прозрачными жидкостями. Повсюду, будто в насмешку, разложен лабораторный инвентарь. А на свободной поверхности, торжественные и безмолвные, высятся башенки чашек Петри. Темный микроскоп застыл в ожидании, и Уолласу кажется, что он давит на него своим весом, тяготит, — альбатрос на шее, предупреждение.

Кэти бросает на него равнодушный взгляд через плечо, и только тут Уоллас вспоминает, что ведь есть и *еще кое-что*. Еще один пункт в списке его неудавшихся экспериментов: иммуногистохимическое исследование, которое ему поручили провести, так как это единственное, что он умеет делать в лаборатории лучше всех. Эдит и Кэти наставляли его, как какого-то недоучку или дрессированного тюленя в цирке: сделать семьсот идеальных срезов менее чем за восемь минут, тщательно зафиксировать их, маркировать во всех возможных вариантах и, наконец, скрупулезно изучить под микроскопом. Талант Уолласа заключается не столько в наблюдательности, сколько в умении ждать. Он часами может сидеть в темной, словно утроба матери, комнате, ожидая, пока получит от конфокального микроскопа объемное изображение, аккуратно, по микрометру разделяя скопление зародышей; каждая клетка — идеальное ядрышко, окрашенное флуоресцентным красителем. И пускай образцы у него получаются чище и контрастнее, чем даже у Кэти, это вовсе не означает, что он в чем-то лучше — умнее или сноровистее — остальных. Наоборот, выходит, что ему вроде заняться больше нечем, кроме как часами сидеть и ждать, уставившись

в окуляр микроскопа. Бывало, он целый день не выходил из темной комнаты и от микроскопа отрывался, только чтобы поменять препарат, направить пучок лазера и снова застыть в ожидании, когда на срезе проступит нужна форма. Эдит попросила его выполнить это исследование для научной статьи, которая впоследствии должна будет стать основой диссертации Кэти. И Уоллас согласился, потому что ему редко дают задания, с которыми он чувствует себя способным справиться. Он все подготовил. Дорастил нематод до нужного возраста. И только теперь, заметив, как Кэти наблюдает за ним, вдруг понял, отчего она злится. Ведь подготовленные для этого эксперимента черви тоже погибли. Погибли под слоем пыли и плесени. И пускай это не самое ужасное происшествие в мире. Пускай эксперимент можно начать заново. Но он потерял кучу времени, а для Кэти это важно. Она куда ближе к финишу, чем он сам. Она ценит свое время и имеет на это право. Вот, значит, как: не просто досада, а горькое сожаление. Кэти отворачивается от него и рывком открывает центрифугу. Коричневатый гранулированный осадок. Кэти опять загружает ее.

И та снова принимается тихонечко подвывать.

* * *

Наконец, усевшись за микроскоп, Уоллас принимается рассматривать одну чашу за другой. Все покрыто плесенью. Словно хлопковые поля поздней осенью, темно-бурые, ощетинившиеся колючками. И бактерий на каждой полным-полно. Это уже само по себе достаточно плохо, в таких жутких условиях выжить непросто. Скверно и то, что в слое агара образовались отверстия, сквозь которые часть нематод вылезла и пристала к пластиковому дну чаши, отчего у них наступило обезвоживание. Но больше всего тревожит Уолласа нечто другое. Мертвые яйца. Раздавленные личинки. Некоторые из них еще живы и конвульсивно извиваются. Их меньше, чем Уоллас ожидал, а значит, в его эксперименте с самого начала было что-то не так. Некий невидимый изъян, который и привел к катастрофе. Черви не просто покрыты зеленоватыми спорами, с которыми и без того нелегко было бы справиться. Хуже то, что плесень сделала их стерильными. В их телах виднеются пустоты, словно тончайшие репродуктивные ткани наполнились воздухом. Полости в телах. Необычная морфология. Стоит ему взглянуть на них, как он сразу это понимает.

Есть вероятность, что выведенный им штамм не способен к размножению. Что особь с таким сочетанием генетических модификаций не жизнеспособна. И все поколение нематод просто вымрет. Возможно, в этом и заключается ответ на вопрос. Или все случилось в результате загрязнения. Придется действовать осторожно. Очень осторожно.

Нужно будет выбрать по 12 червей с пятидесяти чашек Петри, а, значит, взять шестьсот чаш и раза три обработать их, чтобы очистить от плесени, — всего выходит 1800 раз. И наконец покончив со всем этим, произвести новый отбор. Вот почему он вчера удрал. Бежал, осознав, какой объем работы ему предстоит сделать, чтобы все исправить. Это же просто невозможно — в том смысле, в каком невозможными принято называть посильные, но очень трудоемкие задачи. Когда точно знаешь, что, несмотря на сложность дела, выполнить его можно, но от мысли о том, сколько всего предстоит, миссия кажется невыполнимой. Его так и подмывает сдаться и начать все заново. Отказаться от попыток выискать что-нибудь в этой помойке. Оторвавшись от окуляра, Уоллас смотрит на стопку чашек. Поправляет их, и они тихонько поскрипывают под его пальца-

ми. Можно просто взять и все их выбросить. Он прижимается лбом к окуляру.

«Будь оно все проклято. Будь оно все проклято».

Хенрик, — думает Уоллас, — знал бы, что делать. Хенрик сказал бы: *«Чего раскачиваешься? А ну за работу!»* Уоллас берет лабораторную петлю — стеклянную трубочку с титановым держателем. Разжигает горелку. Сладковатый гнилостный запашок природного газа, искры во все стороны, и, наконец, рыжее пламя. Он тычет кончиком петли в огонь, чтобы простерилизовать его. Берет новую чашу, покрывает кончик бактериями кишечной палочки, чтобы тот стал липким, а затем вставляет под окуляр микроскопа одну из старых чашек. Это все равно что пытаться разглядеть что-то сквозь навес. Уоллас смотрит очень внимательно, пытается засечь хоть какое-то движение, перемещает стеклышко так, чтобы свет падал на пластину под разными углами, снова вглядывается, ждет, вглядывается, перемещает стеклышко, ждет.

Наконец, он замечает червя, к спинке которого прилипли зеленые споры, осторожно, более чем осторожно, подцепляет его петлей, словно захватывает металлическим краном приз в игровом

автомате. И вот уже червь, вырванный из своего мирка, взмывает вверх, поддетый петлей. Уоллас сажает его на чистую чашу. Сколько вокруг пустого пространства, просто фантастика.

Один есть.

Осталось проделать то же самое еще пятьсот девяносто девять раз.

Уоллас опускает петлю. Начало положено.

* * *

Нематоды живы — уже легче. Уоллас ожидал худшего. Однако среди них оказалось больше стерильных особей, чем он ожидал, а это плохо, неспособные к размножению черви ему не подходят. Словно разгневанный божок, он швыряет их в пламя.

В его отсек проскальзывает Бриджит, одетая во что-то мягкое и серое, и садится на бывший стул Хенрика.

— Уолли, — раздраженно сообщает она. — Мамочка сегодня не в настроении.

— Небось бесится из-за моих нематод.

— Да, не повезло, — искренне сочувствует Бриджит. Она всегда хорошо к нему относилась, и в этом не чувствуется никакого подвоха. Нет ощущения, что она обходится с ним как-то по-

особенному или ожидает что-то взамен за свою доброту. Но Уолласу, не привыкшему, чтобы люди просто так проявляли великодушие, предлагали безвозмездную помощь, именно это и кажется особым отношением. Бриджит откидывается на стуле, забрасывает ноги на стол Хенрика, а руки складывает на животе. — Забавно вышло, да?

— Что? — спрашивает Уоллас, на мгновение оторвавшись от микроскопа и подняв на нее глаза. В ее голосе ему слышатся какие-то подозрительные нотки.

— Да так, ничего, — отвечает Бриджит. — Просто забавно, что именно твои чашки пострадали. Как так вышло? И подумать только, ведь со всеми остальными, что лежали в инкубаторе, ничего не случилось… Ох, нет, я и так уже сказала слишком много, — она театрально прикрывает рукой глаза и тяжко вздыхает.

— На что это ты намекаешь? — Уолласа бросает в жар, внутри начинает рокотать ярость. Он разворачивается на стуле. Бриджит немного ниже его ростом, волосы у нее черные, а на носу веснушки. Она американка китайского происхождения, родом из Пало-Альто. Мать ее там работает кардиологом, а отец вынужден был довольно рано уйти на покой после того,

как стартап, в котором он трудился, поглотил «Гугл». Прежде чем податься в науку, Бриджит занималась танцами. Связки плохие — вот что она отвечает, когда ее спрашивают, почему бросила. Но тело у нее по-прежнему очень гибкое и сильное, а под мягкостью характера скрывается твердость духа. На Уолласа она сейчас смотрит с заговорщицким азартом. Они — та еще парочка сплетников.

— Да ни на что конкретно. Нет-нет, я вовсе ни на что не намекаю. Просто Су-Йин, чьи чашки, как известно, лежали на полочке прямо под твоими, сказала мне, что с ними все в полном порядке. Ни *крупинки* пыли.

— Но это же чепуха какая-то, — отзывается Уоллас. И сам удивляется тому, как хрипло, пронзительно звучит его голос. Бриджит поднимает брови и разводит руками. Но вскоре на лице ее появляется мрачноватое, замкнутое выражение. Она спускает со стола ноги и подкатывается на стуле к Уолласу. На ее темных, сколотых в небрежный пучок волосах бликует яркий свет укрепленных под потолком ламп.

Понизив голос, она произносит:

— Уолли, я думаю, твои чашки нарочно кто-то изгадил. То есть, сама я ничего не видела. Не

подумай. Но я бы не удивилась. Потому что Фэй говорила, что *сам-знаешь-кто* всю неделю околачивалась тут по ночам. А тебе отлично известно, что *сам-знаешь-кто* никогда не бывает в лаборатории позже пяти вечера.

– *Сам-знаешь-кто* — это Дана?

Бриджит громко шикает и демонстративно оглядывается по сторонам.

— А ты как думаешь?

Дана, девушка родом из Портленда или Сиэтла, или какого-то более мелкого города. Однажды, когда она только начинала тут работать, Уоллас заметил, что она неверно проводит хроматографию белковых препаратов. Он тогда подошел и постарался как можно тактичнее на это указать. *«Дана, ты, похоже, взяла не ту упаковку реактивов. Знаю, они очень похожи, легко перепутать».*

Накрыв рукой синюю с белым коробку, Дана нахмурилась.

— Ничего я не перепутала, — сказала она.

— О, — отозвался Уоллас. — Просто тут, сбоку, написано: «Реактивы для выделения ДНК».

Дана уставилась на него своими кошачьими орехового оттенка глазами и трижды прицокнула языком, выражая свое неодобрение.

— Нет, Уоллас, — медленно и твердо выговори-

ла она. — Я не дебилка. И уж, наверное, поняла бы, если бы взяла не тот набор.

Такая бурная реакция Уолласа удивила, но, в конце концов, это ведь был ее лабораторный стол и ее эксперимент. Она имела право поступать, как считает нужным. Так что он, вспыхнув, отступил.

— Ну ладно, если тебе вдруг что-то понадобится…

— Не понадобится, — отрезала Дана.

Остаток дня Уоллас наблюдал за ней. Он тогда был на втором курсе, Дана — на первом. Им обоим не хватало опыта, они только учились. Что он мог знать? В конце концов, он сам всегда чувствовал себя в лаборатории неуверенно, не в своей тарелке. И предполагал, что и остальные чувствуют себя так же. Побаиваются слегка. Попросишь о помощи — а получится, что ты подставился. Ему хотелось объяснить Дане, что он понимает: признаться в том, что чего-то не знаешь, бывает очень страшно. Но, как правило, все тут с радостью придут на помощь. Хотелось показать, что он славный парень и отзывчивый коллега. Но в итоге кончилось тем, что Дана провела жирную черту. Он оказался по одну ее сторону, а сама она — по другую. Она была одаренной. А он нет.

В конце дня Дана стояла у колонки и разглядывала ее, не понимая, что пошло не так. Данные в распечатке, ясное дело, получились абсолютно бессмысленными. Если ей верить, белка в препаратах вообще не было. Но почему так вышло? Она ведь все делала по инструкции… Возле ее стола стояла Эдит и тоже разглядывала распечатку. Заметив Уолласа, она жестом подозвала его, и он смущенно направился к ним. За окном ровной темной пеленой опустилась ночь. И в стекле видны были их отражения.

— Уоллас, можешь что-нибудь об этом сказать? — спросила Эдит.

— О чем?

— Об эксперименте Даны. Она говорит, ты перепутал реактивы в наборах.

Уоллас, сдвинув брови, покачал головой:

— Нет. По-моему, Дана просто взяла не ту коробку.

Эдит развернула упаковку этикеткой к нему, и Уоллас прочел на этикетке: «Реактивы для выделения белка». Внутри словно плеснули скользкими чернилами.

— Ты же недавно проводил одновременную очистку? Наверное, после неправильно разложил реагенты. Нужно быть аккуратнее, Уоллас.

— Я все правильно разложил, — возразил он.

— Но почему тогда у Даны получились такие бессмысленные цифры?

— Ты же сам пытался меня предупредить, — звонко отчеканила Дана. И покачала головой: — Наверное, догадывался, что напортачил.

— Ты должен быть внимательнее, — сказала Эдит. — Я понимаю, что ты честолюбив и хочешь быстрее получить результаты, но ты должен быть внимательнее.

Уоллас судорожно сглотнул.

— Ясно, — ответил он. — Хорошо.

Дана положила руку ему на плечо.

— Знаешь, Уоллас, если тебе вдруг что-то понадобится…

Он всмотрелся в ее лицо. Всмотрелся, пытаясь определить, что перед ним за человек, но заметил лишь чешуйки омертвевшей кожи в рыжих волосках, что росли у нее между бровями.

Эдит заставила его разобрать реагенты. Прямо при ней. Расставить их на столе в две группы. А когда он закончил, велела ему перемешать их и разобрать снова — «просто чтобы убедиться, Уоллас, просто чтобы убедиться».

— Уоллас, она целый день впустую потратила. Целый день. Мы не можем столько времени те-

рять из-за чьей-то небрежности, — стоя возле его стола, Эдит следила за тем, как он снова и снова сортирует пузырьки с реактивами и аккуратные белые трубочки колонок. Он мог бы сделать это с закрытыми глазами. Потому что относился к своей работе очень внимательно. — Я тебя не наказываю. Просто хочу помочь тебе лучше разобраться.

И все же испортить чашки нарочно было слишком даже для Даны. Она ведь не подлая по натуре, просто ленивая и неаккуратная.

— Во сколько ее тут видели? Я в лаборатории до полуночи сидел. Каждый день, — говорит он Бриджит.

— В два ночи, — отвечает Бриджит, и Уоллас отшатывается.

— Не может быть.

— Как я и сказала, сама я ее не видела. Передаю только то, что говорят другие.

— Но какой ей смысл так поступать?

— А зачем ей смысл? Она ведь *одаренная*, — выплевывает Бриджит, повторяя любимое словечко Эдит, в ее устах обозначающее нечто прямо противоположное. Уоллас смеется. «Одаренность — это сахар, который должен подсластить горечь неудачи. Некоторым можно ошибаться снова и

снова, и никто слова не скажет — ведь они одаренные, они чего-то да стоят. Вот к чему в итоге все сводится», — думает он. Однажды составив о тебе впечатление, решив, что ты ему нужен, мир позволяет тебе косячить сколько угодно. Уолласу интересно только, есть ли этому предел. Наступает ли однажды момент, после которого ошибки становятся уже непростительными? Приходит ли время отчитываться, как ты воспользовался тем, что было тебе даровано?

Бриджит встает со стула и задвигает его под стол Хенрика. Вздыхает и потягивается. Уоллас слышит, как похрустывают суставы.

— Просто подумала, что ты хотел бы знать.

— Не знаю, стало ли мне легче, — отзывается он, и Бриджит небрежно приобнимает его за плечи.

— Держись, Уолли, — говорит она. К отсеку приближается Кэти с большой мензуркой в руках, но, увидев их вдвоем, разворачивается на каблуках и уходит.

— Я же говорила, — замечает Бриджит. — Не в настроении.

— Она мне не начальник, — отвечает Уоллас.

— Как сказать, как сказать.

Махнув ему рукой, Бриджит направляется к выходу. Уоллас машет ей в ответ. И снова оста-

ется один.

Дане нет никакого смысла ему вредить. Они работают над разными проектами — частично как раз из-за того, что произошло, когда им в последний раз поручили общее задание. Эдит тогда решила, что Дане полезно будет заняться вместе с Уолласом синтезом олигонуклеотидов ДНК, чтобы лучше освоиться в лаборатории. Дана изучала генетику, а потому, несмотря на то, что практического опыта у нее не было, заявила, что должна быть главной в проекте. И это притом, что Уоллас уже штук двести нуклеотидов синтезировал успешно. Дана же не считала нужным прислушиваться к его мнению — ни о том, какую выбрать стратегию, ни о том, при какой температуре производить отжиг, ни о том, какие фрагменты генома стоит выбрать, чтобы клонировать и связать между собой, ни о том, как провести отбор и построить устойчивые цепочки ДНК. Он раз двадцать пытался вмешаться в эксперимент на разных его этапах, пробовал по-всякому сломить ее упрямство, но все было тщетно. Дана не желала его помощи.

Не зная, что еще предпринять, Уоллас обратился к Эдит. К этому моменту уже должно было быть готово примерно двадцать нуклеотидов,

но, стараниями Даны, у них не было ни одного. «Уоллас, — сказала ему Эдит, — может, тебе попробовать сменить тон? Ты не слишком свысока с ней разговариваешь?» А когда он ответил: «Нет», она отозвалась: «*Уверен?* Дана — светлая голова. Не нужно на нее ябедничать». Когда настало время перейти к инъекциям, выяснилось, что Дана на редкость неуклюжа и неаккуратна. Она не могла даже шприц зарядить сама, все время кололась иглой и требовала, чтобы Уоллас все сделал за нее. Поместив нематод в питательную среду, необходимо было быстро добавить специальные вещества, обеспечивающие им необходимый уровень влажности. Но Дана все делала слишком медленно, и в итоге ее особи прямо на предметном стекле превращались в пересохшее пралине. Уоллас честно пытался помочь. Разговаривал с ней подчеркнуто мягко. Не повышал голоса. Терпеливо ждал, даже понимая, что нематоды уже погибли. Как-то раз она с гордым видом обернулась к нему от микроскопа, и он решил, что у нее наконец-то все получилось. Но взглянув в окуляр на червя, понял, что тот давно мертв. Внутренности его намотались на кончик иглы и вывалились из тела. Это было ужасно. Жуткая смерть.

В конце концов, устав от бесплодных попыток наладить контакт, Уоллас попросил дать ему другой проект. И — да, возможно, Дану это покоробило. Но с тех пор прошло два года. Теперь Дана обыкновенно заглядывает в лабораторию на пару часов, которые проводит не слишком-то продуктивно. С проектом она пока так и не определилась. Все злится, мечется и ни на чем не может сосредоточиться. Но хуже всего то, что при первой же неудаче она все бросает. Каждый раз, когда эксперимент развивается не так, как она ожидала, Дана отступает. И прячется в безопасное место. Доклады ее представляют собой месиво недожеванных идей. Ногти у нее обкусаны под корень, и вся она кажется какой-то задерганной и побитой жизнью.

И все же Уолласу не верится, что она могла намеренно испортить его эксперимент. Ведь никакой практической выгоды в этом для нее нет, а Данин эгоизм всегда казался Уолласу на редкость прагматичным. Слишком она ленива, чтобы тратить силы на такой бессмысленный поступок.

У него начинает болеть голова.

Но ведь люди в своей жестокости могут быть непредсказуемы.

Уоллас застывает, пораженный этой мыслью. Ему вдруг вспоминается прошлый год, то страшное время, когда он, в ожидании промежуточных экзаменов, почти перестал есть, мыться и вставать с постели. На протяжении трех месяцев он с каждым днем все глубже погружался в нечто черное, скользкое, аморфное. Сутками валялся в постели, смотрел какое-то древнее медицинское шоу в интернете или следил за тем, как меняются отсветы на стене. Когда же ему все-таки удавалось заставить себя подняться, он на несколько часов забирался в ванну. Трясся от ужаса, ощущая себя крошечным и жалким, и гадал, что будет, если он завалит экзамены. Он не столько унижения боялся, сколько простиравшейся за ним полной неизвестности. Если он не сдаст, ему придется уйти из университета. И придумать, чем заниматься дальше. Все эти мысли буквально парализовывали его. Взять и начать что-то делать казалось невозможным.

Но однажды, в сентябре, к нему явился Хенрик и не снимал пальца с кнопки звонка, пока Уоллас не сдался и не впустил его в квартиру. Хенрик поднялся к нему, вывалил на пол гору статей, тетрадей и фломастеров и приказал Уолласу приниматься за работу. И каждый день по нескольку

часов занимался с ним, помогая выучить то, что самому Уолласу не удавалось. Вместе они освоили клеточную сигнализацию, ионные градиенты, морфологию, структуры белков, строение оболочки клетки, организацию репродуктивных тканей у мух и нематод и дрожжевой двугибридный анализ. Хенрик — сначала терпеливо, потом не очень — рисовал ему схему за схемой, а когда это не помогало, шлепал ладонью по столу и орал: *«Уоллас, соберись! Тебе придется это выучить!»* Уоллас внимательно слушал его. Кое-что записывал. Вечерами читал статьи, пока текст не начинал расплываться перед глазами. Он похудел на пять фунтов, потом на десять, а в итоге на все пятнадцать. Хенрик стал гонять его в спортзал. Заставлял читать даже на беговой дорожке и в любой момент мог подскочить и попросить рассказать о какой-нибудь стадии эмбрионального развития нематоды. Описать механизм деградации определенного белка в определенных тканях при определенных условиях, а затем в других тканях и при других условиях. Разнообразные вопросы сыпались на Уолласа, ходили туда-сюда, как двери на расшатанных петлях. Уоллас выучил, как в бороде Хенрика путаются солнечные лучи. Как они проходят сквозь

его густые волосы. Как Хенрик кривит губы. Научился предсказывать приближение приступов его ярости, предчувствовать их, как животные с тропических островов предчувствуют извержения вулкана.

Экзамен, больше похожий на расстрел, чем на проверку знаний, Уоллас сдал в хмурый декабрьский день. И первым, на кого он посмотрел, придя на праздничный обед по случаю окончания семестра, был Хенрик.

Но тот к тому времени уже отвел взгляд и уставился в окно.

Они перекинулись парой слов на празднике, который ежегодно устраивала Эдит. А спустя три дня Хенрик уехал в Вассар. Уоллас же отправился на факультетскую рождественскую вечеринку и там отпустил то замечание по поводу наряда Миллера и трейлерного парка.

Уоллас скучает по тем временам, когда просыпался в три ночи и обнаруживал, что Хенрик храпит у него в гостиной, свернувшись калачиком на диване, с трудом выдерживающем вес его могучего тела. Скучает по их совместным обедам, по тому, как яростно Хенрик набрасывался на еду. А может, и по кое-чему другому, по тому не имеющему названия чувству, что вызывал в

нем Хенрик. А ведь именно оно тогда заставило Уолласа отпустить этот злобный и жестокий комментарий.

Бывает, что взаимосвязи между событиями не видно, но она все же есть, смутной тенью следует за всем, что происходит в жизни.

В конце концов, какая разница, кто испортил его эксперимент? Все это не так важно.

Ладно, нужно работать.

* * *

В кухне пусто. Уоллас бьет ладонью по тугому вентилю, пока тот не сдается. Из крана стремительным потоком вырывается вода. И грохочет о раковину, словно возмущаясь, что Уоллас применил силу. Уоллас подставляет под нее потертый серый чайник, а затем ставит его на электроплитку. Та со стоном пробуждается к жизни. В глубине шкафа, словно брошенные дети, попавшие в приемную семью, ютятся забытые сотрудниками разномастные кружки. Уоллас прижимается лицом к теплому оконному стеклу. Смотрит на лежащую внизу улицу, расходящуюся надвое возле Лютеранской церкви. По ней лениво ползут машины. Один из переулков огибает здание биологического факультета и упирается

в лодочную станцию и ботанический сад, где по весне устраивают благотворительные вечеринки. Туда приходят состоятельные белые, кормят хлебными крошками рыб и вполголоса обсуждают, как меняется демографическая ситуация в университете. Когда Уоллас только поступил в аспирантуру, его тоже пригласили на один такой обед. И там представили полному бородатому мужчине, от которого пахло по́том и дубовым листом. *«Уоллас, это Бертрам Олсон. Это из его средств тебе выплачивается стипендия».* И тогда, стоя в сгущавшихся сумерках с запотевшим бокалом имбирного эля в руках, Уоллас вдруг понял, в чем заключалась цель этого праздничного обеда. *«Добро пожаловать! Вот люди, которые за тебя платят. Давай же, падай ниц!»*

Уоллас считает, что хоть тут ему повезло. Стипендия у него большая. Мать, работая горничной, получала вдвое меньше. О бытовых расходах он может не волноваться: денег хватает и на еду, и на оплату жилья, и на все прочее типа ноутбука или новых очков, за которые он отдал почти тысячу долларов. Сумма не такая уж огромная. Но больше Уоллас за всю жизнь не получал. К тому же, выплаты регулярные, стипендию ему перечисляют каждый месяц. А значит, он

может на нее рассчитывать. Чайник закипает, и Уоллас заливает кипятком чай, который за бешеные деньги купил в магазинчике в центре города. Все они постоянно думают о деньгах: кто получил большую государственную стипендию (Миллер), чей руководитель упустил грант (Лукаса), чью лабораторию спонсирует частное лицо (Уолласа), чей проект можно будет успешно монетизировать (Ингве), кого пригласят в университет Брандейса (Кэролайн), кого приняли на работу в Массачусетский Технологический (Нору, недавно защитившуюся девушку из лаборатории Ингве), кто переводится в Гарвард (руководитель Коула), в Колумбийский (руководитель Эммы), в Юго-Западный Медицинский университет в Техасе (никто). За изменениями в судьбах преподавателей они следят, как астрономы за движением планет. Карьеры движутся по орбитам, и на них влияют определенные факторы. Кто-то после защиты остается в том же университете или опускается на уровень ниже. А перескочить с одного уровня на другой очень непросто. Стипендия — это шанс на хорошую постдокторантуру, хорошая постдокторантура — ключ к получению хороших грантов, а от хороших грантов уже и до поста декана недалеко.

И все эти взлеты и падения зависят от денег. Сейчас Уолласу платит стипендию официально признанный научно-исследовательский фонд. Эдит в своей области считается главным специалистом. Все они с радостью движутся вперед, к светлому будущему. Именно ради этого Уоллас и работал всю свою жизнь. Чтобы добиться вот этих конкретных привилегий.

Но ведь *даром* такая удача не дается, думает Уоллас, у всего есть своя цена.

Чай — это компромисс. На самом деле ему хочется кофе, но он знает, что после трудно будет работать. В первые месяцы после поступления в аспирантуру Уоллас еще до трех часов дня выпивал по три чашки капучино с тройной порцией эспрессо в каждой. И все равно задремывал на вечерних семинарах, под разглагольствования преподавателя о глубоком секвенировании и ЯМР белка. Профессора вещали тем приподнятым радостным тоном, что часто можно услышать в популярных передачах про науку и искусство: *«Я бы хотел поделиться с вами одной увлекательной историей», «Сегодня мы рассмотрим три крайне любопытных случая» или «Давайте же вместе выясним, как одно следует из другого»*. Сидя на жестком стуле, в аудитории, где не ловились ни

вайфай, ни сотовая связь, где все было отделано светлым деревом, на полу ковролин, а на стенах специальные панели для лучшей акустики, Уоллас, забыв, что не умеет плавать, словно бы покачивался на волнах какого-то водоема. За те месяцы он выпил больше кофе, чем за всю свою предыдущую жизнь, и вечерами мучился адским поносом.

Мир от такого количества кофе становился ярким и выпуклым, словно стремился к нему каждой частичкой света. Но как-то раз Хенрик наставительно сообщил ему: *«Кофеин — это стимулятор»*. Фраза показалось Уолласу загадочной. Что еще за псевдопословица? Однако Хенрик повторял ее всякий раз, как Уоллас выходил с чашкой кофе из буфета, твердил, встречаясь с ним в лифте после семинара, на котором Уоллас опрокидывал один бесплатный стаканчик за другим. Сердце у Уолласа колотилось. Во рту было сухо. Пальцы немели и отекали. Временами казалось, что кто-то выдавливает его из кожи, будто сосиску из оболочки. Порой, когда он в одиночестве работал ночами в лаборатории, ему мерещились какие-то странные звуки. А однажды он делал срез, и руку внезапно скрутило спазмом. Уоллас выронил скальпель, и тот с мягким чавкающим

звуком вонзился ему в бедро. Не слишком глубоко, но в тот момент Уоллас, наконец, понял, о чем твердил Хенрик.

В океане отраженного белым кафелем полуденного света у Уолласа начинают слезиться глаза, и буквы расползаются со страниц книжки, которую он пытается читать. Он дергает себя за пальцы, хрустит суставами. На внешний подоконник садится птица. Сует голову под крыло и принимается что-то там выщипывать. Она вся кругленькая, перышки серые, а брюшко покрыто мягким белым пушком. Головка почти сливается с телом. Не птичка, а маленький пушистый шарик. Тень ее скачет по полу, и Уоллас следит за ней глазами, пока птичка не улетает. По дороге в лабораторию он заскочил в библиотеку и взял книгу, о которой вчера говорил Том.

Он читает здесь только по субботам — в выходные Эдит редко заглядывает в лабораторию. Несколько лет назад она как-то застала его тут с тарелкой лапши и книжкой. Была гроза, и мир за окном окрасился в зловещий аквамариновый оттенок. Эдит немного постояла у окна, глядя на стену воды, сквозь которую слабо пробивался желтоватый свет уличных фонарей. А затем обернулась к нему, окинула беспокойным сердитым

взглядом и бросила: *«Уоллас, тебе что, заняться больше нечем? Только и дел, что доктора Сьюза*[2] *читать, или что это там у тебя?»* Он тогда медленно отложил книжку и беспомощно пожал плечами. *«Это Пруст, французский писатель»*.

Уоллас успевает прочесть страниц тридцать, когда поперек книги ложится тень, да так настойчиво, словно кто-то прижал страницу большим пальцем. Лицо у Миллера непроницаемо, глаза смотрят холодно и отстраненно. Но взгляд обвиняющий. Взъерошенные волосы. Серая толстовка, вчерашние шорты, километры загорелых, покрытых медным пухом ног.

— Ты меня бросил.

— Я оставил записку, — возражает Уоллас.

— Я прочел.

— И чего тогда жалуешься?

Миллер раздраженно рычит, но губы его растягиваются в улыбке. И Уоллас вздыхает с облегчением. Все так зыбко, неопределенно, его словно уносит в открытое море.

— Просто говорю, что ты мог бы меня разбудить.

— Ты так сладко спал, — отвечает Уоллас с

---

[2] Примечания: 2

Доктор Сьюз (Теодор Зойс Гайзель) — американский детский писатель.

этакой снисходительностью, с напускной уверенностью в себе, и откидывается на жесткую фиолетовую спинку диванчика. Миллер, которому, как всякому гиганту, нет дела до окружающего мира, отступает и смотрит на него из-под ресниц. Уоллас ежится в нерешительности. В теле покалывает, словно оно превратилось во включенную электрическую плитку. Кажется, что внутри, жужжа, нагревается спираль. И весь он становится раскаленным и гладким.

— Все равно, — говорит Миллер. — Нечего было убегать от меня. *Из своей собственной квартиры.*

— Хочешь присесть?

— Давай.

Уоллас переставляет холщовую сумку на другой конец диванчика и двигается, освобождая место. Кожа у Миллера теплая. Бедра их соприкасаются. Влажная от сидения на пластиковом диванчике нога Уолласа прижимается к сухой и чуть более прохладной ноге Миллера. Руки они держат по швам. Но сидят, придвинувшись друг к другу куда теснее, чем требует размер диванчика. Уоллас рассматривает костлявые лодыжки Миллера. Бледные голые хрящики над пятками. И вспоминает солоноватый привкус его кожи, так непохожий на его собственный вкус. Чужие

тела всегда не похожи на наши собственные, порой кажется, что они сделаны из каких-то редких элементов. Миллер хрустит пальцами и оглядывается на Уолласа. Что это в его взгляде? Неужели смущение? Затем он склоняет голову к плечу. Застенчивый мальчик, думает Уоллас, застенчивый и осмотрительный.

— Как дела? — спрашивает Миллер. Какое разочарование. Дежурный вопрос. К чему тогда было все это кокетство?

Уоллас подается вперед и упирается локтями в стол, который тут же опасно наклоняется. Кружка его ползет к краю, чай выплескивается на столешницу. Миллер округляет глаза, а Уоллас, затаив дыхание, ждет, когда стол, чай и весь мир снова придут в равновесие.

— Мы теперь типа едва знакомы? — спрашивает он. — *Как дела?*

Миллер хмурится. Разочарование все острее. *Как дела?* Спрашивает, прямо как врач на приеме. Пустой, бессмысленный вопрос. Но, может, Миллер именно поэтому так и выразился? Чтобы деликатно дать ему отставку. Сделать вид, что ничего не случилось. Уоллас ворочает языком во рту, обдумывая такую возможность. Подбирая разные варианты ответа. Миллер хмурится все

сильнее. Уголки его рта опускаются, затем снова поднимаются. В глазах вспыхивают темные серьезные искорки.

— Я не то имел в виду. Хотел узнать, как ты… после вчерашнего. Ну, сам понимаешь…

— Что за детский сад? — отзывается Уоллас. — Ты же взрослый. Давай, произнеси это.

Миллер раздраженно кривится, и Уоллас расцветает. По телу прокатывается серебристая дрожь предвкушения.

— Ну хватит, Уоллас, — ворчит Миллер. — Не вредничай.

Молодец, заслужил награду, — думает Уоллас. Что ж, он проявит великодушие. Уоллас целует Миллера в плечо и вжимается в него лицом. Каким облегчением становится закрыть глаза — пусть даже на секунду. Крупная ладонь Миллера теперь лежит у него на бедре. Сухая, прохладная и мозолистая. В теле его вибрирует приглушенный смех.

— Вот теперь привет, — говорит Уоллас, но Миллер уже убирает руку.

— Что мы делаем?

— Не знаю. Ты мне скажи.

Скрипит пластик. Стонет деревянный каркас диванчика. Уоллас отодвигается, влажная кожа

липнет к сидению. Миллер, упершись в ручку кружки большим пальцем, медленно разворачивает ее.

— Я просто пытался проявить заботу. Потому и спросил.

— Так, может, вот чем мы занимаемся? Ты проявляешь заботу?

— Не цепляйся.

— Не учи меня жить, — огрызается Уоллас, распаленный внезапным приступом вздорной заносчивости. Миллер на мгновение изумленно замирает, но быстро приходит в себя и разворачивается к Уолласу всем телом, оказавшись к кухне спиной. Теперь получается, что они забились в угол. По переносице и скулам Миллера скользят солнечные лучи, заливая все вокруг ярким золотистым светом. Он так близко. В воздухе потрескивают электрические разряды. Ресницы у Миллера такие трогательно шелковистые. Уоллас накрывает рукой его глаза и чувствует, как их кончики щекочут ему ладонь. И снова вздох облегчения — Миллер больше не может за ним наблюдать, рассматривать в упор. Вид у него сейчас, как у благовоспитанного мальчика — дуется, но ждет терпеливо. Еще одна награда, — думает Уоллас. И встает на колени. Мягкое сидение про-

гибается под его весом. Упершись рукой Миллеру в плечо, он устраивается поудобнее.

— Что ты делаешь? — уже слегка озабоченно спрашивает Миллер. Уоллас лишь хмыкает вместо ответа. И сразу чувствует, как Миллер напрягается. Он сейчас, как туго сжатая пружина в его руках. Уоллас придвигается ближе, наклоняется так, чтобы их с Миллером глаза, носы и губы оказались на одном уровне. И вглядывается в темные круглые костяшки собственных пальцев, прикрывающих Миллеру глаза. Миллер ерзает. Разумеется, он чувствует на лице дыхание Уолласа. Чувствует близость его тела.

— Уоллас, что ты делаешь? — снова спрашивает он.

Уоллас с трудом удерживается от смеха. Так и подмывает ответить: *«Проявляю инициативу»*. Или: *«Я бы хотел поделиться с тобой одной увлекательной историей»*. Но ничего подобного он не говорит. Еще ближе. Прикосновение губ. Мыльный привкус зубной пасты. Резкий спиртовой душок ополаскивателя для рта. А еще глубже не желающее смываться послевкусие сна. Кофе Миллеру не давать! Уоллас пробует на вкус его губы. Мягкую впадинку посередине, носящую название «лук Купидона», уголки. А после ныряет

в рот, влажный и теплый.

«Хватит на первый раз, — думает он, — играем отступление».

Миллер не сразу открывает глаза. Уоллас уже начинает волноваться, что зашел слишком далеко, действовал слишком быстро. Что он ошибся. Просчитался. И тут веки Миллера медленно размыкаются. В глазах его теперь блестят неровные осколки солнечного света.

— У тебя так приятно пахнут руки, — говорит он.

— Это чай. Хочешь? — Уоллас подносит чашку ко рту Миллера, и тот, не сводя с него глаз, отпивает. Видно, как дергается кадык, когда он сглатывает. — Хороший мальчик.

— Забей на теннис, — просит Миллер. Уоллас ставит чашку на стол и задерживает дыхание.

— Не могу.

— Нет, *можешь*, — возражает тот.

— Прости.

— Тогда, может, после?

— Там посмотрим, — отвечает Уоллас. Все тело словно затекло. Колени дрожат. Миллер льнет к нему. Его дыхание пахнет чаем, пахнет, как руки Уолласа.

— Хорошо, — соглашается он. Уоллас поднима-

ется, берет книгу и сумку.

— Ладно, труба зовет, — говорит он и собирается обогнуть стол, но тут Миллер хватает его за руку.

— Уоллас.

— Не глупи, — отзывается Уоллас. — Давай вести себя, как разумные люди.

Миллер выпускает его руку. Шею и ноги щекочут бьющие в окно солнечные лучи.

— Ладно, — ворчит он. — Как скажешь.

* * *

Червь ползет вперед, то сжимаясь, то растягиваясь во всю длину.

Нематоды прозрачны. А потому являются идеальным объектом для изучения — их внутренности легко рассмотреть под микроскопом. Есть у них и другие полезные для науки свойства — с ними можно проводить различные генетические манипуляции, у них относительно маленький, поддающийся управлению геном и короткий жизненный цикл. В быту они неприхотливы. Довольно выносливы. А еще они способны к самооплодотворению. На определенной стадии развития личинки могут переключиться со сперматогенеза на овогенез. *«Даже маленькие мальчики могут стать юными девушками»*, —

любит повторять Эдит.

Один червь с одной чаши может всего за неделю дать многотысячное потомство. В условиях недостатка пищи нематоды плодятся не так активно. И все же эмбрионы растут и развиваются в утробах матерей. А затем вылупляются — прогрызают себе путь наружу и, прорвав кожу, появляются на свет, иногда сами уже имея внутри зародышей. Уолласу все это напоминает миф о сотворении мира.

На этот раз он выбирает оплодотворенную самку. Внутри у нее виднеется дюжина маленьких червей. Она стара. Под завязку набита крошечными тельцами. И все же она продолжает жить. А не просто служит сосудом для зарождающихся новых жизней. Это хорошо, отбирать умирающую особь нет смысла. Ее потомство рождается уже запрограммированным на самоуничтожение.

Уоллас по-прежнему чувствует вкус губ Миллера. Не нужно было целовать его снова. Так странно, он вдруг стал человеком, который *целуется*. На губах медный привкус предательства собственных принципов. К горлу подкатывает тошнота, словно теперь ему предстоит объясняться за свой проступок перед какой-то высшей силой, перед грозным авторитетом. Не ожидал

он такого предательства от собственного тела. В голове путается, перед глазами мелькают неясные темные тени, обрывочные воспоминания. Его собственная постель, еще хранящая призрак Миллерова тепла, пробивающийся сквозь шторы утренний полусвет, изящный изгиб бедра, курчавые волосы, комната, пропахшая потом и пивом. Темные завитки на груди. Уоллас уже жалеет. О чем? О том, что утром бросил Миллера одного в своей постели? Или о том, что сейчас оставил его в кухне? Может, обо всем сразу. Или ни о чем вообще. «Бога ради, Уоллас, — увещевает он себя, — в твоей жизни есть вещи и поважнее».

В лаборатории светло и тихо. Уоллас, сидя на стуле, наклоняется в сторону и выглядывает из своего отсека. Кажется, кроме него тут больше никого нет. Дальний конец помещения окутан голубоватой тенью. Наступил тот час, когда все расходятся, и остаются только он, тишина, и необъятный, прекрасный голубой мир снаружи. За окном видна сосна, растущая на противоположной стороне улицы, на ветках ее сидят птички. А еще одна, маленькая, порхает над верхушкой. Как странно, наверное, быть птицей, — думает Уоллас. Весь мир лежит под тобой, и все большое в нем кажется маленьким, а все

маленькое — большим, этакая инверсия масштаба. И в пространстве ты движешься, как хочешь, для тебя не существует недоступных измерений. Уоллас рад, что все ушли. Они еще вернутся сюда вечером, слетятся к зданию биологического факультета, словно птицы, и снова будут в поте лица в час по чайной ложке двигать свои эксперименты и проекты к финишу.

Тишина складывается из множества шумов. Десятки мешалок орут сердито, словно распаленная толпа. Уоллас знает, что с ним согласятся немногие, но лично его монотонный гул успокаивает. В детстве, когда ему было лет восемь или девять, он даже зимой включал в комнате вентилятор. Почему-то, если он жужжал над ухом, жизнь казалась проще. Вентилятор шуршал океанскими волнами, журчал ручейком, протекавшем в сосновом лесу к северу от фермы бабушки и дедушки. Каждый день он под его бормотание садился решать задачки по математике и физике. И, в конце концов, стал лучшим учеником во всем штате Алабама. Никто не умел так быстро производить в уме сложные математические расчеты и переводить массу шара для боулинга в единицы метрической системы. За ровным гулом вентилятора не было слышно, как его родители

собачатся из-за того, кто взял из холодильника последнюю банку пива, съел последний кусок курицы, сжег на плите фасоль и погубил их единственную хорошую кастрюлю. Рокот морских волн заглушал монотонный стук, доносившийся из соседней комнаты, где его брат развлекался со своей подружкой. Если открыть окно, можно было услышать, как лают в лесу дикие собаки — отрывистые звуки взлетали из-за стволов деревьев, словно птицы или призраки. Где-то в отдалении потрескивали ружейные выстрелы, взрывались брошенные в огонь баллончики. Но заглушить внешний мир Уоллас и не пытался, он не желал слышать лишь то, что происходило в доме, то, что всегда казалось ему куда более диким и странным, чем все, на что он натыкался, в одиночестве бродя по лесу.

Повзрослев, он начал включать вентилятор, чтобы заглушить храп мужчины, спавшего на диване. Тот был другом родителей, и они разрешали ему ночевать у них в доме, потому что больше податься ему было некуда. Иногда Уоллас думает, что, возможно, как раз из-за жужжания вентилятора и не услышал, как тот однажды поднялся посреди ночи, вошел к нему в комнату и закрыл за собой дверь.

Внутри вспыхивает давняя ярость. Пару мгновений все плывет перед глазами. Он не вспоминал об этом много лет — но оно все еще с ним, Уоллас до сих пор слышит звук, с которым в ту первую ночь захлопнулась дверь. Тот финальный скрип, который она издала, проехавшись по занозистому деревянному полу. Что-то жуткое. Дрожащий шорох, промельк серой тени, и его комната погружается в темноту. Глубокую чернильную темноту. Почему он сейчас об этом вспомнил? Через столько лет? За столько миль от тех мест? Он соскреб свою прошлую жизнь, как катаракту. Выбраковал ее. И все же она залипла где-то на задворках сознания, как нечистоты. И внезапно выплыла тут. В лаборатории. Когда он остался один. Уоллас содрогается от страха, осознав, сколько всего помнит его тело. Тело-предатель.

Его отец мертв — отец, который ничего для него не сделал.

Его нет уже несколько недель. Уоллас об этом забыл. Простить его ему не удалось, зато удалось стереть из памяти. В принципе, это почти одно и то же.

Отец. Его прошивает раскаленный, шкворчащий от жара шип ненависти. Мир искажается и выгибается перед глазами. Свою нынешнюю

жизнь он старательно нарисовал поверх предыдущей. И думать о ней не желает. Глушит эти мысли. Людей из прошлого он почти не помнит, все они для него — не более чем промелькнувшие в толпе смутно знакомые лица. Это самое лучшее, что он мог сделать для себя — и для них. В конце концов, люди — всего лишь незаконные поселенцы, пытающиеся угнездиться в твоей жизни на птичьих правах.

— Смотрю, до сих пор трудишься, — раздается рядом. И даже не успев поднять глаза, Уоллас понимает, что это Дана.

— Представь себе, у некоторых дел по горло.

— А еще у этих некоторых огромное самомнение, — бросает она. И забирается на бывший стол Хенрика. Фигура у нее тощая, нескладная, угловатая, что составляет резкий контраст с широким лицом. Кожа на пальцах вечно обкусана и шелушится. Дана впивается зубами в заусенец у ногтя и принимается его отгрызать. Белый хрящик. Капелька крови. Оба они молчат. И смотрят друг на друга. Она поглядывает на него украдкой, как-то умудряясь смотреть одновременно и вверх, и вниз. На Дане огромная бесформенная толстовка, которая, кажется, вот-вот ее поглотит. Девочка в раковине. Прячется в нее, чтобы никто

до нее не добрался. Ее едкое замечание Уолласа совершенно не задевает. Голосок ее звучит так тонко и отчаянно, что сразу становится ясно: эта снисходительность — напускная.

— Тебе что-то нужно, Дана? Я, видишь ли, очень занят, — говорит Уоллас, разворачиваясь к своему столу. И поправляет чаши рядом с микроскопом. Но аппетит к работе у него уже пропал. Руки больше не слушаются. Подрагивают пальцы, ноют костяшки.

— Да ладно, не выдрючивайся.

Ледяной смешок. Уоллас разгибает пальцы. Пахнет газом, голубое пламя разгорается все сильнее.

— Я не выдрючиваюсь, Дана. Я просто занят. Может, слышала такое слово — «*исследование*»? Представляешь, над ним приходится много «*работать*». Не знаю, знакомы ли тебе эти понятия…

— Говоришь, как Бриджит. У вас с ней прямо секта какая-то.

— Мы просто «*дружим*», Дана. Этот термин тебе тоже не знаком?

— Нет, признай, — не отстает она. — Вы двое дико заносчивые. Ведете себя, как будто кроме вас в лаборатории никого больше нет. С другими даже не разговариваете. Зато постоянно полива-

ете дерьмом за глаза.

— Дана, мы просто друзья. И нам нравится друг с другом общаться.

— Слышала я, как вы общаетесь. И знаю, что вы говорите у меня за спиной, — негромко замечает она.

Уоллас снова разворачивается на стуле. И с удивлением обнаруживает, что она смотрит вниз, в пространство между своих бедер. Сквозь волосы проглядывает сухая покрасневшая кожа головы. Странная какая-то поза. Дана сейчас похожа на мягкую игрушку, которую сунули на полку и там забыли. Расхлябанное, никому не нужное тело. И Уоллас внезапно проникается к ней сочувствием, вспомнив, что вчера вечером ее обсуждали, как объект всеобщего восхищения.

— Даже если мы и говорили о тебе, откуда ты можешь об этом знать? — спрашивает он, хотя ответ ему и так очевиден. Слухи курсируют в обе стороны. Симпатии и антипатии меняются. Он тут не единственный, у кого есть союзники. Но Дана не клюет на приманку. Снова принимается обкусывать пальцы. У Уолласа от одного взгляда на это начинает зудеть кожа на руках. — Кстати, я не считаю, что это ты испортила мой проект, если тебя это тревожит, — добавляет он.

На мгновение в отсеке повисает тишина. Пламя с шипением гнется под потоком воздуха. И с мягким прерывистым звуком выпрямляется снова. Слышно даже, как потрескивают, сгорая, примеси других веществ в потоке газа.

Но затем случается нечто странное: руки, ноги и плечи Даны начинают подергиваться, словно тело ее в разных местах прошивают электрические разряды. Она хохочет — сначала едва слышно, почти шепотом, но с каждой секундой все громче и громче. И откидывает голову назад так резко, что Уоллас пугается, как бы она не ударилась о полку. Но нет, она не ударяется. Продолжает хохотать. Хватается то за живот, то за бедра. В глазах блестят слезы.

— Боже, ты хоть сам себя слышишь? Какое самомнение! Полагаешь, мне не плевать, что ты обо мне думаешь? — Дана вытирает глаза. — Поверить не могу. Ты в самом деле считаешь, что мне есть до этого дело?

— Я тебя не понимаю, — на Уолласа внезапно накатывает такая усталость, какой он еще в жизни не чувствовал. — И не хочу понимать. Отстань от меня.

— Да, Уоллас. Это я испортила твой суперважный эксперимент, потому что мне по жизни

больше нечем заняться. Именно так.

— Я же сказал, я *не считаю*, что это ты сделала. Хватит дурить.

— Я *ненавижу* тебя, Уоллас. И знаешь за что? Знаешь, за что я тебя ненавижу? За то, что ты считаешь себя дико важной персоной просто потому, что все время работаешь. Просираешь свою жизнь в лаборатории на тупые эксперименты, до которых никому нет дела, и еще смеешь мне говорить: *у некоторых дел по горло.* Подумать только, это *ты* говоришь *мне*. Ты! Ты не Кэти. И уж точно не Бриджит. И при этом считаешь, что имеешь право читать мне нотации.

Уоллас чувствует запах собственной крови. Дотрагивается до лица, проверяя, не пошла ли она носом. Но нет. Просто все вокруг вдруг приобретает ее металлический отблеск. Ее жар. Ее горечь. И вкус ее он тоже ощущает.

— Никто не читает тебе нотаций.

Дана выпрямляется. Она больше не хохочет, но в наступившей тишине еще звенит призрак ее смеха.

— Знаешь, что я думаю, Уоллас? Ты мизогин.

Это слово просвистывает мимо него, как серебряный дротик. И в горле горьким комком застревает сожаление.

— Я не мизогин.

— Только женщина может определить, кто мизогин, а кто нет, придурок. Это не тебе решать.

— Ладно, — говорит он.

— Раз я говорю, что ты мизогин, значит, так оно и есть.

Уоллас отворачивается. Спорить нет смысла. Вот почему в таких случаях он предпочитает помалкивать. Никому не жалуется и ничего не предпринимает.

— Вы, гребаные геи, вечно считаете себя самыми угнетенными.

— Я так не считаю.

— Думаешь, если ты гей и к тому же черный, то не можешь налажать?

— Нет, не думаю.

— Корчишь из себя королеву мира? — она шлепает ладонями по столу так громко и резко, что Уоллас подскакивает от неожиданности.

— Дана.

— Ты задрал уже. Я этой фигней сыта по горло. Ты постоянно разговариваешь со мной, как с пустым местом. Знаешь что, с меня хватит.

— Ничего подобного, Дана, я такого не делал. Я просто хотел тебе помочь. Но ты не принимаешь помощи, потому что тебе постоянно нужно кому-

то что-то доказывать.

— Конечно, мне постоянно приходится что-то доказывать, потому что я женщина, а мужчины вроде тебя не желают со мной считаться. Но как по мне, шли бы вы на хрен. Женщины — это новые ниггеры и новые педики.

Во рту становится кисло. Мир вокруг словно неожиданно озаряется вспышкой яркого слепящего света. Уоллас моргает. Хватается за сидение стула, чтобы не свалиться на пол. И вспоминает Бриджит, ее теплый ласковый голос.

Дана дышит тяжело и прерывисто, как раненое животное. Она сама себя накрутила, довела до белого каления. Ее маленькие ручки, сжимаясь в кулаки, превращаются в тугие белые узелки. Уолласу не жаль ее. До этого еще далеко. Но первый шаг к сочувствию сделан. И шаг этот — узнавание. В уголке Даниного рта белеет пенная капелька слюны. Глаза сверкают из-под нахмуренных бровей. И в этой бессмысленно кипящей ярости Уоллас узнает самого себя. «Несправедливо только, — думает он, — что она может себе это позволить. Может сорваться. И ей за это ничего не будет. Все закончится хорошо. Она ведь *одаренная*, а он всего лишь Уоллас».

Да, это несправедливо, нехорошо, он отлично

об этом знает. Но знает еще и то, что справедливость не главное. И чтобы с тобой обращались хорошо и честно, — тоже не главное. Главное — делать свою работу. Получать результаты. Ему есть что ответить Дане, но в конечном итоге все это не будет иметь никакого значения. Потому что его работу за него никто не сделает. Никто не скажет: *«Что ж, Уоллас, не страшно, что ты не закончил эксперимент. Ведь с тобой обошлись несправедливо»*. Но есть еще кое-что. Теневая боль — так он это называет, потому что не решается озвучить реальное название. Сделать так означало бы раскачать лодку, погнать волну. Привлечь к этому внимание, будто бы им и так не пропитано все вокруг. Он уже пытался однажды, пожаловался Эдит, что Кэти разговаривает с ним, как с невеждой. *«Она ни с кем так больше не обращается»*, — сказал он. А Эдит ответила: *«Уоллас, не драматизируй. Это не расизм. Тебе просто нужно тянуться за лучшими. Больше стараться»*.

«Самая большая несправедливость заключается в том, — думает Уоллас, — что, когда обвиняешь кого-то в расизме, белые подносят твои слова к свету, внимательно разглядывают их и решают, верны они или нет. Будто они уж точно могут

определить, кто расист, а кто нет, и никогда не сомневаются в своих оценках. Это нечестно, потому что белым недооценивать расизм — его степень, его силу, производимый им эффект — выгодно. Они тут как лисы в курятнике».

Уоллас больше об этом не заговаривает. Он усвоил урок еще на третьем курсе, в тот день, когда Эдит пригласила его в свой кабинет обсудить сданный им промежуточный экзамен. Она сидела за столом, скрестив ноги, а за спиной ее открывалась панорама яркого солнечного зимнего дня: гладкий белый снег, серо-голубое месиво озера и изящные, словно искусные поделки, силуэты окружавших его деревьев. Уоллас был доволен собой. Впервые за все время обучения в аспирантуре ему показалось, что он, наконец, делает то, к чему Эдит всегда его побуждала — тянется за лучшими. Ему даже почудилось, что он видит гордость в ее глазах. Он был окрылен. Был готов начать, по-настоящему начать. *«Ну и как, по-твоему, все прошло?»* — спросила Эдит. И он ответил: *«Что ж, по-моему, неплохо».* Она же сурово покачала головой. *«Знаешь, Уоллас… Откровенно говоря, мне было стыдно за тебя. Будь на твоем месте другой студент, все могло закончиться иначе. Он бы провалил экзамен.*

Но мы долго говорили о твоих возможностях, о том, чего от тебя, при твоих способностях, можно ожидать. И решили все же поставить тебе положительную отметку. Но мы будем наблюдать за тобой, Уоллас. Так больше нельзя. Ты должен больше стараться». Все это она произнесла так, словно даровала ему высочайшую милость. Наставляла и благословляла его. Словно она только что его спасла. Что он мог ответить? Как поступить?

Никак. Только продолжить работать.

И вот неожиданно его работа против него же и обернулась. Показалась другим оскорбительной. Дана ненавидит его за то, что он работает. А он работает как раз для того, чтобы люди не испытывали к нему ненависти, не ставили под сомнение его право на место в этом мире. Работает только для того, чтобы хоть как-то устроиться в жизни. Однако теперь он понимает, что и это его не спасет. Ничто не может его спасти.

Уоллас наклоняется вперед и гасит огонь. Поначалу ему кажется, что он дернул слишком сильно, сломал горелку, и комната сейчас наполнится газом. Но рукоятка выдерживает. Тогда он разворачивается к Дане, к этой несчастной задыхающейся девушке. Лицо у нее раскраснелось.

Глаза блестят. Он подходит к ней так близко, что подошвы ее туфель упираются ему в бедра.

Это не ненависть. Он не испытывает к ней ненависти. Она слишком мало для него значит. Это было бы все равно что ненавидеть ребенка. Уподобиться родителям, которые в некотором смысле уж точно его ненавидели. А он не хочет быть на них похожим. Но в то же время не может заставить себя стать хорошим. Великодушным.

— Пошла ты, Дана, — наконец выдает он. И это приносит такое облегчение, что на какую-то секунду Уолласа захлестывает благодарность — благодарность Дане за этот дар. — Пошла ты на хуй.

Затем наклоняется. И вынимает из низенького шкафчика теннисную сумку. Дана смотрит на него так, словно он влепил ей пощечину.

Уоллас выпрямляется. Несколько секунд они меряют друг друга взглядами. Дана хочет что-то сказать, но он разворачивается. И идет прочь. Шагает сквозь окутавший лабораторию голубоватый сумрак. И лампы отчего-то не реагируют на его движения, словно он сам стал частью помещения или сделался призраком.

Дана орет ему вслед, что еще не закончила, что он не может просто взять и уйти, не дав ей

высказаться. Она кричит, потому что не знает, куда девать переполняющие ее злость и страх, и вскоре вопли сменяются судорожными всхлипываниями. Но Уоллас уже выходит в холл.

Свет здесь слишком яркий, режет глаза. Звук его шагов эхом разносится в пространстве. У него тяжелая походка. Мать частенько над ним подтрунивала: *«Ты так тяжело ступаешь, что даже под ноги не смотришь».* Но теперь он смотрит под ноги. По плиткам тонкой вуалью скользит его тень. Уоллас проходит мимо кухни. Мимо двери в лабораторию Миллера.

— Эй! — окликает Миллер, но он не останавливается. Слышит, что тот припускает за ним, но это только подстегивает идти быстрее. Уоллас проносится мимо стендов с результатами экспериментов, мимо листовок с приглашениями на работу, мимо досок объявлений, пестрящих знакомыми карикатурами и глупыми изречениями, мимо шкафчиков, где лаборанты восьмидесятых хранили свои вещи. Он так спешит, что едва не поскальзывается на гладком полу. Миллер нагоняет его у лестницы, огибающей атриум. — Что происходит?

Уоллас отвечает медленно, обдумывая каждое слово:

— Оказывается, я завзятый мизогин.

— Что? Чушь какая-то. А кто это орал? — Миллер смотрит на него озабоченно и нежно. Снова сжимает его руку повыше локтя — как раньше, на кухне. Уолласа трясет — то ли от страха, то ли от ярости.

— Да никто, — отвечает он. — Ерунда.

— Не надо так.

— Чего не надо? Говорить правду? Это ерунда.

— Очевидно же, что нет.

— Ну так это не твоя проблема, — отстраняется Уоллас. — Я разберусь.

Миллер злится. Он тянется к Уолласу, но тот уклоняется.

— Ну хватит.

— Я в порядке.

— Не в порядке, — Миллер берет его за руку и тянет за собой. Они проходят в расположенную на третьем этаже библиотеку и прячутся в одном из отдельных кабинетиков с замком на дверях. Миллер усаживает Уолласа на край стола и становится между его ног. Он явно так просто его не выпустит. В комнате пахнет пылью и маркерами для магнитной доски. На полу жуткий сиреневый ковер. От Миллера пахнет мылом и шампунем Уолласа. Глаза у него все еще припухшие после

того, что случилось вчера на пристани, после начос и халапеньо.

— Я злюсь, — говорит Уоллас, когда становится ясно, что Миллер первым не заговорит. Так и будет стоять, скрестив на груди руки, смотреть на него и терпеливо ждать объяснений.

— Я заметил.

— Она сказала, что женщины — это новые ниггеры и новые педики.

— Не совсем понимаю, что это значит.

— Она меня ненавидит.

— Похоже на то.

— Ты не слишком помогаешь, — говорит Уоллас.

— Извини, это просто ужасно, — отвечает Миллер и нежно его целует. — Мне жаль.

— Хватит подлизываться. Ты сам только позавчера меня ненавидел, забыл?

— Я тебя не ненавидел. Я тебя не понимал — и сейчас не понимаю — но я никогда тебя не ненавидел, — возражает Миллер. «Как странно», — думает Уоллас. Как странно он это говорит. Он не решается поднять глаза на Миллера. Чувствует себя сейчас слишком открытым. Стол дешевенький, сколочен из выкрашенной в желтый цвет и покрытый лаком фанеры. Уоллас хочет слезть.

Но Миллер не пускает. Уоллас теребит край его серой толстовки.

— Зато я тебя ненавижу. Терпеть не могу.

— Знаю, — отвечает Миллер. — Ну что, полегчало?

— Нет, — говорит он, а затем пожимает плечами. — А может, и да.

— Хорошо.

Они снова целуются. И еще. И еще. И вскоре Уоллас уже запускает пальцы Миллеру в волосы, а тот кусает его в шею. Стол скрипит, Уоллас придвигается ближе, а затем отстраняется.

— Пожалуйста, не наставь мне засосов. Я не готов потом объясняться с народом.

— Черт, забыл, — отзывается Миллер.

— Да-да, все по-настоящему, — Уоллас толкает Миллера в грудь, и тот, вспомнив, кто они и где, отступает.

— Уоллас, я очень сочувствую. Ты не должен с таким мириться.

— Все нормально, — отвечает он. — Всем нам приходится мириться с какой-нибудь херней.

— Это верно. Но ты теперь со мной, и мне жаль, что с тобой такое случилось.

— Спасибо, — отвечает Уоллас. Он очень тронут тем, что кто-то считает его своим, что кто-то о

нем беспокоится.

— Видимо, ты все же идешь играть в теннис.

— Мы же условились.

Они не представляют, чем бы занять свои тела. Чем, кроме очевидного, которое сейчас недоступно. Поэтому Уоллас целует Миллера в щеку, отчего тот вспыхивает.

— Ну я пошел.

— Ладно.

Спускаясь по лестнице, Уоллас поднимает глаза и видит, что Миллер наблюдает за ним, стоя на галерее. И снова думает о птице, об инверсии масштаба, о том, что весь огромный объемный мир с высоты кажется крохотным и плоским. Интересно, каким его сейчас видит Миллер оттуда сверху. Свет сквозь стеклянную крышу атриума падает так, что половина его тела скрыта тенью. Задрав голову, Уоллас смотрит на Миллера — отсюда кажется, что тот стал ниже ростом. Миллер машет ему рукой. И Уоллас машет в ответ.

— Позвони потом, — просит Миллер.

— Хорошо.

На вопрос, чуть раньше заданный самому себе в кухне — переживет ли он, если окажется, что прошлая ночь была разовым мероприятием, — Уоллас отвечает «нет». Сейчас, спускаясь по

лестнице все ниже и ниже, осознавая, что уходит от Миллера все дальше и дальше, он отчетливо это понимает. В какой-то момент он окажется точно под ним, и в эту минуту они станут друг к другу ближе, чем когда-либо. И если кто-то посмотрит на них с еще более высокой точки, они для него сольются в одно целое.

Но входить в кого-то, быть в ком-то и быть с кем-то — не одно и то же. Одновременно существовать внутри кого-то и вне его невозможно. И, подпустив друг друга слишком близко, вы в определенный момент становитесь единой сверкающей на солнце плоскостью.

— Я серьезно, — доносится сверху голос Миллера. — Позвони или напиши.

— Обязательно, папочка, — закинув голову, смеется он в ответ.

— Не зови меня так.

— Не буду, папочка.

— Уоллас.

— Пока.

— Пока.

Их размноженные эхом голоса отлетают друг от друга все дальше и дальше, пока окончательно не стихают. А может, они, наоборот, сталкиваются снова и снова, пока не смолкнут, выбившись из

сил. Как бы там ни было, Уоллас уходит. Уходит и Миллер. И в атриуме снова становится тепло и тихо.

Только мешалки в лабораториях все жужжат и жужжат.

3

Увидев, что на кортах пусто, Уоллас поначалу удивляется. Но вскоре вспоминает, что на стадионе — едва различимом отсюда белом здании с покатой крышей, похожем на выгнувшего спину кита, — сейчас идет матч. С той стороны доносится монотонная ритмичная музыка. Вскоре оттуда толпой хлынут громогласно вопящие болельщики в футболках в красную и белую полоску. Они алой волной прокатятся по кампусу и потекут дальше, к центру города, гомоня, словно пассажиры тонущего корабля. Вот это в выходных самое неприятное. То, насколько проницаемыми становятся границы. Стоит только посмотреть на человека, и он уже готов с тобой заговорить, а то и что похуже.

В прошлый уикенд Уоллас зашел в магазинчик у дома. В очереди перед ним толпились благоухающие по́том и пивом загорелые парни. Все они были в темных очках. Время от времени кто-нибудь из них запускал руку себе в шорты, и перед взором Уолласа мелькали то клочок обнаженного бедра, то бронзовый пушок на лобке, то темная

промежность. А один парень вдруг обернулся, сдвинул очки на лоб, так что стали видны его налитые кровью глаза, и обратился к Уолласу: «Бро, ты чего тут трешься? Мы же просили подождать на улице». Уоллас растерянно заморгал, не зная, как поступить. А парень продолжал смотреть на него все с тем же раздраженным изумлением, словно это не он, а Уоллас обознался. Друзья подхватили его под руки и поволокли прочь, он же все вырывался и орал: «Нет, нет, не отпускайте его. У него есть дурь. Правда же, у тебя есть дурь, бро?» И все стали оборачиваться и глазеть на Уолласа. А ведь он всего лишь зашел купить мыло и дезодорант. И мог бы сделать это в любое другое время, но выбрал именно этот момент, и в итоге про него бог знает что подумали.

Жара еще не спа́ла. Уоллас садится на скамейку. Достает из желтого чехла ракетку. Покрытие корта, голубое, расчерченное белыми полосами, сделано то ли из цемента, то ли из переработанной резины. Из всех кортов, на которых Уолласу доводилось тренироваться, на этом скорость отскока самая низкая. Не считая, конечно, того, покрытого влажной зеленоватой глиной, на котором он в старших классах учился играть.

Поблизости, на растущих рядком деревьях,

перекликаются вороны. Уоллас ступает на раскаленную поверхность корта и начинает делать растяжку. Сначала разминает ноги, затем спину. Наклоняется то в одну, то в другую сторону, пытаясь расслабиться, скинуть напряжение. Глубоко дышит, стараясь выкинуть из головы Дану. Представляет себе, как она садится в лодку и уплывает все дальше и дальше. Нагретое солнцем покрытие корта обжигает кожу на ногах, но это приятная боль, она впитывается в тело, как вода в хлопковую футболку. Завязанный узлом позвоночник постепенно расправляется. Похрустывают суставы. Уоллас старательно тянется вперед и вжимается животом в бедра. Фигура у него не слишком подходящая для тенниса. Он не такой дылда, как Коул. К тому же пухлый, если не сказать толстый. Более серьезной физической нагрузки у него за всю неделю не бывает.

На озере Уоллас часто засматривается на гребцов, скользящих в лодках по серебристой глади воды, любуется их четкими, отточенными движениями. Он видит их, когда гуляет по берегу, слышит их доносящиеся из-за стволов деревьев звонкие голоса. А иногда застывает на скользких прибрежных камнях, завороженный тем, как плавно и слаженно они движутся, как играют

мускулы на их блестящих руках.

Вдоль забора к нему, отдуваясь, трусцой бежит Коул.

— Прости-прости-прости, — выпаливает он. И, схватившись за бок, сгибается пополам. — Боже, ну и парилка.

— Да уж, печет неслабо, — соглашается Уоллас. — Ничего страшного. У меня все равно больше никаких дел на сегодня нет, — он ложится на спину, прижимает согнутую в колене ногу к груди и удерживает ее в таком положении, пока мышцы не начинают приятно ныть.

Коул бросает сумку на скамейку и тоже начинает разминаться. Растягивает свои длинные, бледные, уже начинающие розоветь от солнца ноги, но во всем его поведении сквозит какое-то напряжение. На Уолласа он старается не смотреть. Шершавое покрытие корта царапает затылок.

— У тебя все хорошо?

— А, да, отлично. То есть нет. То есть да.

— Что ж…

— Да ерунда, — Коул приподнимается с земли и садится. — Просто… Блин. Не знаю.

— Ладно, — Уоллас тоже не спеша принимает сидячее положение. А Коул снова растягивается

на земле.

— Ты пользуешься тем приложением?

— Каким приложением?

— Сам знаешь, — Коул, вспыхнув, отводит глаза и принимается смотреть на деревья и дорожку, которая, петляя, спускается к озеру.

— Для геев?

— Угу, им.

— О, ну да, иногда, — на самом деле Уоллас несколько недель назад это приложение удалил, но не считает нужным этого уточнять. Коул всегда твердил, что сам приложением не пользуется и очень счастлив, что они с Винсентом познакомились до того, как в ход пошли новые технологии. Ну те, что с помощью геолокации вычисляют ближайшего к тебе гея, который не прочь поразвлечься. И Уолласу вечно приходилось прикусывать язык, чтобы не брякнуть, что Коул бы в приложении пользовался большим успехом. Он этакий типичный привлекательный гей — высокий, красивый парень. Веселый, остроумный, вежливый. К тому же белый, что для гея всегда плюс. Конечно, ничего подобного он не говорит, потому что Коул считает, что типичный привлекательный гей — это непременно человек поверхностный и недалекий. Конечно,

есть среди них и такие, но их не больше, чем в любой другой группе людей. Сам Уоллас удалил приложение лишь потому, что ему надоело ощущать себя невидимым и день за днем обнаруживать, что ему так никто и не написал. Сам он, в общем-то, никого не искал, но был бы вовсе не против, чтобы кто-нибудь нашел его, как находят всех остальных. Чтобы кто-нибудь его хотя бы заметил.

— Вчера вечером я обнаружил там Винсента.

— Ого! А сам ты что там делал?

— Ну, я заподозрил, что он там зарегистрировался. И создал фейковый профиль.

— Разве это не?..

— Знаю, знаю, но мне нужно было проверить. И вот, можешь представить?

— А вы о чем-то таком договаривались?

— Нет. Да. В смысле… Мы решили, что подумаем об этом. Подумаем, не сделать ли нам отношения открытыми. Не знаю, почему меня ему недостаточно.

— Может, дело не в этом, — возражает Уоллас. — Не в том, что тебя недостаточно. Может, он просто… хочет чего-то другого. Не знаю…

— Но зачем ему делать это у меня за спиной?

— Не знаю.

— Вот что меня убивает, Уоллас. Что он делает это тайком.

— А он действительно что-то делает или так просто?

— Без понятия. Черт. Не знаю. Мы и насчет собаки собирались подумать. И насчет того, чтобы пожениться. Остепениться. А теперь он хочет открытых отношений.

Уоллас медленно выдыхает. И хлопает Коула по плечу.

— Пошли разомнемся, — говорит он.

* * *

Уоллас играет с Коулом в теннис с первого года в аспирантуре. У них сложился отличный тандем: Уоллас неплохо отбивает слева, а Коул — справа. Когда Уоллас пытается бить справа, ракетка вихляет у него в руке, а у Коула удар слева выходит неточным и расхлябанным. Обычно во время игры каждый из них зарабатывает по нескольку очков, но побеждает чаще Коул: подача у него более уверенная и в нужный момент он способен заколотить такой эйс, что Уолласу ни за что не дотянуться до него ракеткой. Они столько раз играли вместе, что каждый может предсказать, как поступит другой, еще до того, как мяч перелетит

через сетку на его сторону. Уоллас, например, знает, что, если подаст мяч так, чтобы Коул отбил его справа, тот размахнется как следует и отправит его в аут. Коул понимает, что он делает это нарочно, но не перестает надеяться, что именно в этот раз ему удастся Уолласа переиграть.

Поначалу оба держатся близко к сетке и обмениваются ударами с лёта, просто чтобы размяться и подготовить тело к физической нагрузке в такую жару. Мяч быстро и точно перемахивает через сетку. Уоллас предпочитает удары с лёта отбивать справа, это особенно ловко ему удается. Но может отбить и слева, чтобы тело разогревалось равномерно. Коулу удары с лёта даются не так легко. Он любит бить с дальнего края корта. Зато, разминаясь возле сетки, они могут продолжать разговор. Глаза у Коула покраснели, голос влажно хрипит.

— Ну а ты бы, будь у тебя партнер, хотел бы открытых отношений?

— Не знаю, Коул. Думаю, это зависит от ситуации.

— А я так не считаю. Как по мне, одни просто хотят этого, а другие нет. Но могут захотеть, если что-то пойдет не так. И вот мне интересно, что у нас, на хрен, пошло не так?

— Ты сказал, вы с ним это обсуждали.

— Ну да, обсуждали.

— И что, он просто так взял и брякнул, что хочет открытых отношений?

— Он заявил, что ему надоело постоянно меня ждать — по вечерам, в выходные и в праздники. И что я думаю только о бактериях, о новых лекарствах и о своих статьях. Заявил, что у него тоже есть потребности, что ему нужно больше близости. Как будто у нас этой гребаной близости недостаточно!

— Да уж, — отзывается Уоллас. — Солидный список.

— Ага, а потом он взял и добавил: «Я думаю, нам стоит попробовать открытые отношения. И хотел бы, чтобы мы это обсудили». Ну знаешь, этим своим бесстрастным тоном. Каким всегда мозгоправы говорят. Он его у своей мамочки подцепил.

— А я и не знал, что его мать мозгоправ.

— Да не мозгоправ она. А школьный психолог. Мозгоправ у него отец.

— Мм, — отзывается Уоллас. Мяч стремительно летит к нему, и он отбегает чуть дальше от сетки. Бьет Коул сегодня отлично — сильно, четко. Уолласу непросто за ним угнаться. Ракетка в руке

ходит ходуном. Он берется за рукоять основательнее, крепче сжимает пальцы.

— Ладно, пускай в последнее время дела у нас шли неважно. Но я и не представлял, что все так плохо, — Коул с отвращением мотает головой. И посылает мяч в нижнюю часть сетки.

— Знаешь, — начинает Уоллас. Он понятия не имеет, что сказать, но у Коула такой вид, что внутри у него все переворачивается. — Я вот думаю, может, это хорошо, что он не побоялся озвучить свои… хмм… желания? Свои потребности? Может, это добрый знак, что он не стал держать все в себе?

— Ага, но когда я ответил «нет», он тут же пошел и зарегистрировался в приложении для знакомств? Какой смысл о чем-то спрашивать, если ответа ты не слышишь?

— Да, да, ты прав. Но, может, он так поступил, потому что ему показалось, что это *ты* его не услышал?

Коул поднимает голову. Смотрит холодно. Губы сжаты в тонкую линию.

— То есть это я во всем виноват?

— Нет, Коул, я не это имел в виду.

— Уж надеюсь, Уоллас, не то это был бы полный пиздец.

Уоллас пытается отыскать внутри себя хоть каплю спокойствия. Крупицу умиротворения. Он вздыхает. Пот заливает глаза.

— Коул, я просто хочу сказать, что Винсент тоже человек. И что не только у тебя в вашей паре есть чувства.

— Я пока не готов становиться на его сторону!

— А я и не прошу тебя становиться на его сторону, прощать его или что-то в этом роде. Я просто к тому, что, может, у вас по-прежнему все в порядке. Может, это и есть признак того, что у вас все в порядке, — нижнюю челюсть и шею свело, но Уоллас все же пытается улыбнуться. Если у него получится, это будет означать, что у них и правда все в порядке и все будет хорошо. Если у него получится, возможно, он сам в это поверит, и Коул поверит тоже. В конце концов, ведь именно это ему и нужно. Только это ему и важно — то, что чувствует Коул.

— Не знаю.

Они расходятся к противоположным краям корта, и Коул начинает с того, что сильно бьет по мячу, посылая его к линии подачи. Тот высоко отскакивает от покрытия, и Уолласу удается красиво, точно его отбить. Траектория выходит прекрасная, мяч ударяется о землю прямо пе-

ред линией подачи Коула. Это хороший способ сыграться — бить по мячу достаточно сильно, чтобы перелетел через сетку, но не слишком, чтобы настоящей угрозы он собой не представлял. Лучшие мировые игроки могут проделывать такое часами, ни разу не сбившись. Коул часто посылает мяч в сетку или в аут, и Уолласу приходится сломя голову носиться по корту, чтобы спасти положение, дотянуться до мяча и отбить его четким плавным ударом.

Он и не думал, что у Коула с Винсентом все так сложно. Они вместе уже семь лет. С Коулом Уоллас познакомился, когда они, только поступив, всей компанией отправились на озеро жечь костер. Так вышло, что они с Коулом уселись рядом на одно и то же бревно. Жар от пламени опалял лица и бедра, Коул рассказывал ему о том, как любит теннис. Ни о том, что он гей, ни о том, что у него есть парень, он и словом не обмолвился. Но в том, как Коул смотрел на него, как решительно он положил ладонь Уолласу на колено, в том, как ловко его пальцы принялись разминать его, было что-то такое, что дало Уолласу надежду.

Весь первый год обучения они флиртовали друг с другом. И всюду ходили вместе. Вместе обедали, ужинали, играли в теннис. А как-то раз промокли

под дождем, замерзли и забрались к Коулу в фургон поболтать и отогреться. И в какой-то момент мир снаружи превратился в серую пелену, взгляды их встретились и, кажется, оба подумали об одном и том же. Коул, перегнувшись через центральную консоль, наклонился к нему. От него пахло дождем и потом, яркие губы соблазнительно припухли. И Уоллас — чисто инстинктивно — тоже подался вперед. Но что-то остановило их. Некая невидимая сила заставила их замереть за секунду до прикосновения. А затем Уоллас выскочил под дождь. Если Коул его и окликнул, он этого не услышал. Наверное, так было к лучшему.

А несколько месяцев спустя, в конце лета, незадолго до начала нового учебного года, он шел из магазина домой, с трудом удерживая в руках набитые продуктами пакеты. Шел и подумывал, не позвонить ли Коулу и не попытаться ли расставить точки над «i». И тут заметил, что навстречу ему идет вся их компания. Он кое-как помахал им, они помахали в ответ и направились к нему. Коул, Эмма, Ингве и Винсент, которого он тогда еще не знал.

— Привет, — сказал Уоллас.

— Привет, — по очереди поздоровались они.

А затем Винсент выступил вперед, протянул

ему руку и представился:

— Привет, меня зовут Винсент, я парень Коула.

И Коул смущенно отвел глаза.

Их отношения всегда казались Уолласу такими прочными. Оба на вид были спокойными, уравновешенными людьми. Разве что вчера вечером Винсент вроде как был немного на взводе. Неужели он уже тогда подумывал, кого бы склеить? Высматривал в сумерках подходящую кандидатуру? На берегу озера есть одно местечко, куда ходят снять кого-нибудь — пологий холм, густо поросший деревьями. Вечерами только и нужно бывает, что сойти с огибающей его неосвещенной дорожки и нырнуть в темноту. А после идти и идти вслепую, пока не наткнешься на нечто плотное и массивное — другого искателя ночных приключений.

Мяч отскакивает от боковой линии, Уоллас отбивает его и посылает Коулу, чтобы тот отбил его справа. Тот по идее должен сейчас снова отправить его наискосок, только ближе к центру, но он этого не сделает. Уоллас понимает это по тому, как он разворачивает корпус, чуть опускает ракетку и отводит ее назад. Он ударит навылет, пошлет мощный виннер прямо по центральной линии. Так и есть, Коул замахивается и бьет так,

что мяч летит над сеткой низко-низко.

Если Уолласу что в Коуле и не нравится, так это его эгоистичная манера игры. Добрый по жизни, на корте он даже во время разминки думает только о себе. А ведь разминаются люди для того, чтобы разогреться, подготовиться к игре. А не для того, чтобы отточить победные удары. Не для того, чтобы выпендриться. Уоллас во время разминки был бы не прочь хоть тысячу раз отбивать мяч справа. Пускай это скучно, но ему нравится постоянство. А пропускать мячи он не любит.

— Хочешь, сыграем сет? — спрашивает Коул, глядя на него поверх сетки.

— Конечно. Давай.

— Отлично. Моя подача?

— Идет.

Уоллас перебрасывает мяч Коулу и отбегает к задней линии. Коул, стуча мячиком о землю, обводит корт глазами. Затем медленно замахивается и бьет по мячу ракеткой. Но жутко мажет, мяч врезается в ограду, и та громко дребезжит от удара. Коул снова подает. И снова неудача — на этот раз мяч ударяется о покрытие прямо перед его носом. Уоллас цокает языком. Коул сегодня действует так непредсказуемо, что, когда дело пойдет, играть против него будет сложно.

Коул с досадой утирает пот со лба, дважды поводит плечами. Затем подкидывает мяч и на этот раз бьет по нему сильно и точно. Мяч летит ровно в угол корта — не крутится вокруг своей оси, а просто ровно и стремительно движется в угол. Уоллас отбивает его ударом справа, мяч снова летит на сторону Коула, и тот заколачивает виннер.

Следующую подачу Уоллас отбивает удачно — посылает мяч точно в линию, так, что Коулу до него не достать. Геометрия тенниса очень проста. Нужно попасть мячом в ту часть корта, где противника сейчас нет. Но чтобы в нужное время его там не оказалось, иногда приходится бить и в его сторону. В общем, весь секрет заключается в том, чтобы мастерски водить другого игрока за нос. Но они с Коулом слишком давно играют вместе, и потому в обманных маневрах особо нет смысла, они дают разве что временные преимущества: там виннер, тут эйс, там ошибка, тут ответный виннер. Дважды оказавшись в шаге от поражения, Коул все же удерживает подачу. Они меняются местами.

Уоллас дважды отбивает мяч. Рука начинает уставать. Плечо слегка ноет, такая боль заставляет задуматься, переосмыслить свое поведение.

Подачи у него всегда выходят слегка консервативные. Он предпочитает действовать наверняка, а не идти ва-банк. Еще он мастерски умеет бить по мячу под разными углами — замахнувшись посильнее или чуть наклонившись. Во время первой подачи он выбирает момент, когда Коул бежит в противоположную сторону, но мяч вылетает за пределы корта. Вторая подача тоже выходит неудачная — двойная ошибка. Уолласу все же удается заработать пятнадцать очков. Дальше оба выигрывают по гейму, счет все растет, они идут ноздря в ноздрю. Теперь, когда счет равный, игра становится особенно напряженной. Коул отчаянно обороняется, стремглав бросается за мячом, умудряясь отбить его из самых сложных позиций, мечется, готовый смести все на своем пути. Но Уолласу каким-то чудом удается метнуться наискосок и, изогнувшись под немыслимым углом, отбить его последний мощный удар.

Затем они, мокрые насквозь, сидят рядышком на скамейке. Уоллас, закинув голову, пьет нагревшуюся на солнце воду из бутылки, а Коул жует банан.

— Ты сегодня придешь на ужин? — спрашивает Коул.

— Какой еще ужин?

— Ой, а тебе не сказали? Это, наверно, потому что ты вчера рано ушел. Мы сегодня ужинаем все вместе.

Совместный ужин обыкновенно означает вечеринку, мяса на которой не подают, а все приглашенные топчутся вокруг стола и жуют печеные овощи, макая их в какой-то темный соус. Уоллас на таких мероприятиях почти всегда жмется в углу и смотрит в окно.

— Не знаю, наверно, нет, — отвечает он.

— Приходи, пожалуйста. Вся эта хрень с Винсентом… Мне нужно, чтобы кто-то был на моей стороне.

— А кто не на твоей стороне?

— Да никто. Просто… В курсе только Роман, а это именно он Винсента и надоумил попробовать открытые отношения.

Роман, красивый аспирант из Франции, учится на курс старше них. Он тоже гей и состоит в открытых отношениях с Клаусом, не менее красивым аспирантом из Германии. С Коулом и Винсентом Роман общается куда больше, чем с Уолласом, по причинам, которые Уолласу совершенно очевидны, но которых Коул предпочитает не замечать.

— То есть ты хочешь устроить за ужином гейскую гражданскую войну. Ясно.

— Нет-нет, никаких гейских войн. Вообще никаких войн не будет.

— Не знаю, Коул.

Пот жжет глаза. Все тело приятно ноет. Счет пока равный. Может, у него наконец-то появился шанс выиграть у Коула.

— Ладно-ладно, но ты все равно приходи, пожалуйста. К тому же там Ингве будет сводить Миллера с какой-то девушкой из альпинистского кружка. Хоть посмеемся.

Имя Миллера застревает в голове, как сошедший с рельсов поезд.

— Что?

— Забыл, как ее зовут. Ингве говорит, она милая. Так что будет, над чем поржать.

Уоллас утирает пот полотенцем и долго не отнимает его от лица. А сам тем временем пытается выровнять дыхание, но ничего не выходит — полотенце почти не пропускает воздух.

— Вот как, — выдает он, наконец. Больше всего его удивляет то, насколько сильно ему больно.

— Вид у тебя, как будто кто-то твоего щенка пристрелил, — замечает Коул.

— У меня нет щенка, — отвечает Уоллас. Выти-

рает руки и берется за ракетку. — Пошли.

Коул бросает банановую кожуру в стоящую возле скамейки мусорку и тоже берет ракетку. Солнце пылает над головами, окутывая их тела жаром. Он пузырится на коже, словно газированная вода. В детстве, когда Уоллас работал с бабушкой и дедушкой в саду, кожа его от солнца делалась красновато-коричневого цвета. Как глинистая почва.

Уоллас отходит к краю корта и готовится сделать подачу. Коул на своей стороне чуть наклоняется, занимает устойчивую позицию. Ладонь ноет. Уоллас стучит мячом о землю. Ракетка в руках ощущается неловко и вяло. Запястье прошивает дрожь. Представляется, как Миллер и девушка из альпинистского кружка сидят рядом за ужином. Смеются. Едят печеные овощи. Болтают — интересно, о чем? О чем говорят люди, которым, по мнению окружающего мира, суждено быть вместе? Кто знает, что за близость устанавливается между ними? Должно быть, все это очень просто. Уоллас не удивлен тем, что его не пригласили. И, в общем-то, не обижен. Злит только, что теперь ему либо придется искать предлог, чтобы не пойти, либо оправдываться перед Миллером за то, как он оказался на вече-

ринке. Он слишком долго стучит мячом о землю, Коул уже начинает злиться. Так ему и надо.

Уоллас бьет ровно по центру, Коул бросается в одну сторону, а подкрученный мяч летит в другую. Коул оглядывается и изумленно следит глазами за летящим с бешеной скоростью мячом. Следующий попадает ровно в него. Уоллас, сжав зубы, снова встает за линию. Новый удар — на этот раз вправо, там у Коула слабое место. Он и правда отбивает слабо, Уоллас же мгновенно бросается вперед и лупит по мячу со всей силой бушующей внутри ярости. По очкам он уже вырвался вперед, но отчего-то ему вовсе не кажется, что он выигрывает. Облегчения все это тоже не приносит: раздражение, злость и желание что-нибудь сломать по-прежнему бурлят внутри.

— Так как ты думаешь поступить с Винсентом? — спрашивает он, когда они меняются местами. Коул давится воздухом от неожиданности.

— Ох, не знаю. Я же не могу об этом заговорить. Винсент сразу поймет, что я тоже зарегистрировался в приложении. Но я сделал это, только чтобы уличить его. Глупость какая-то.

— Угу, — отвечает Уоллас. — Но и промолчать ты не можешь. Уж как-нибудь придется все это

озвучить.

Коул молчит и бьет ракеткой по сетке. Тень ее мечется по покрытию корта, и кажется, что сетка колышется в открытом море.

— Если только ты не считаешь, что оно того не стоит, — не унимается Уоллас.

— Нет, не считаю. Просто… Мне ведь, прежде всего, обидно. Обидно, что он мне врал. Обидно, что он делал что-то у меня за спиной.

— А как по-твоему, ты когда-нибудь согласишься на открытые отношения?

— Не знаю, Уоллас, — отрезает Коул.

— Я просто к тому, что если ты и дальше собираешься так много работать…

Коул все сильнее лупит по сетке, и та трясется под градом его ударов. Лицо его перекошено от досады. «О, нет», — думает Уоллас. Что он натворил!

— Извини, это не мое дело, — поскорее добавляет он. — Прости, я не должен был…

— Нет, ты все правильно говоришь. Просто я, правда, не знаю, что делать.

— Но если он тебе не изменяет, если он просто смотрит…

— Смотреть — это уже измена, Уоллас.

Голос Коула жжется — ощущение то же, что

бывает, когда случайно схватишься рукой за забытый на солнцепеке нож. В глазах его сверкают гнев и решимость. Уоллас судорожно сглатывает.

— Что ж, по-моему, тебе нужно с ним поговорить.

— Но я не понимаю как, — Коул опускает плечи. — Не знаю, с чего начать. Вот дерьмо.

С теннисом покончено. Коул падает на скамейку и закрывает лицо руками. Он не плачет, но дышит тяжело и прерывисто. Уоллас опускается на край скамьи и кладет руку ему на плечо. Он весь мокрый от пота. Прямо как в тот раз, в пикапе, только тогда он вымок под дождем. Внутри поднимается отголосок давней боли.

— Все образуется.

— Ох, не знаю.

— Вот увидишь. Иначе и быть не может, — убеждает Уоллас. Не то чтобы он был так уж в этом уверен. Просто смотреть, как друг переживает, очень тяжело. — Так бывает. Люди ссорятся. Ругаются. Что-то друг от друга скрывают. Это значит, вам не наплевать на то, что между вами происходит.

Когда Коул отнимает ладони от лица, глаза у него мокрые. И щеки тоже влажные — то ли от

слез, то ли от пота. С приоткрытых губ срывается негромкий печальный возглас.

— Ну что ты, — говорит Уоллас. — Что ты.

— Нет, ты прав. Пора мне уже перестать быть мальчиком в коротких штанишках. Боже, как тут жарко.

— Это точно, — кивает Уоллас. — Хочешь, пойдем на озеро?

Коул обдумывает его предложение, обводя взглядом пустынные корты. Со стадиона доносится рев болельщиков. Мимо проезжает машина. И снова принимаются галдеть вороны на деревьях. От ограды падает густая тень, испещренная квадратиками света, и оттого кажется, что стоишь под решеткой и смотришь сквозь нее в небо. По уху Коула стекает капелька пота. Уолласу хочется поймать ее пальцем и сказать: «Загадай желание». Но он знает, что такие штучки не работают. Соленая влага не исполняет желаний, в ней не таится никакого волшебства. Разве только в тех случаях, когда под жаром дыхания она испаряется с кончика пальца, оставив на нем блестящие звездочки кристаллов.

— Давай. Я с удовольствием. Пойдем.

Они встают со скамьи. Мышцы болят, ноги и руки ноют от усталости. Их остывшие тела утра-

тили гибкость. Они больше часа носились на жаре из стороны в сторону, а после вдруг перестали двигаться, и от такого резкого охлаждения кажется, что кровь загустела в жилах и застоялась в самых неожиданных местах. Они выходят через калитку в заборе, ступают на прохладную траву. Все вокруг мягко покачивается, словно колышется на волнах. Трава щекочет лодыжки, они шагают так близко друг к другу, что временами локти их с глухим звуком сталкиваются. По земле стелются густые тени деревьев, крики ворон постепенно стихают. Плитка под ногами сменяется голубоватым гравием, а затем и вовсе желтой землей. Вскоре они ступают в тень от здания лодочной станции, и воздух сразу становится прохладнее.

* * *

Озеро лежит перед ними необъятной мерцающей пеленой, простираясь до самого полуострова и дальше, к противоположному берегу.

Далеко на горизонте можно рассмотреть несколько яхт, мысленно дорисовав их очертания. Они проходят мимо лодочной станции. Дверь открыта, и видно, как мускулистые парни старательно натирают корпуса лодок губками и

тряпками — смывают тину и полируют дерево. Из динамиков радиоприемника несется какая-то ритмичная песня. Воздух здесь, у самой воды, тяжелый и мутный от влаги.

Они поворачивают влево, в противоположную от дома Уолласа сторону. Сквозь листву деревьев и кустарников проглядывает голубая поверхность озера. Под ногами скрипит песок. Порой красной, белой или синей вспышкой мимо проносится велосипедист. В какой-то момент Коул подходит к Уолласу вплотную и кладет голову ему на плечо. Некоторое время они так и идут. Уоллас обвивает рукой его талию. Все имеющиеся у него в запасе слова кажутся сейчас ненужными, неспособными помочь Коулу в его беде. Он уже сказал все, что мог. На душе и так мерзко из-за того, что он разбередил другу рану, довел его до такого состояния. Тело у Коула горячее и влажное, но пот постепенно остывает, высыхает, и обнимать его на ходу становится проще.

— Я не думал, что будет так, — признается Коул. — Не представлял, что это так трудно.

— Что именно?

— Когда я только приехал, мне все время было жутко одиноко. Винсент остался в университете Миссисипи. А я был тут совсем один. И скучал по

нему до смерти. Думал, когда мы снова поселимся в одном городе, станет проще. И все наладится.

— Не наладилось?

— Нет, — Коул утирает нос запястьем. — Нет, не наладилось. Ну, то есть поначалу да. Классно было снова быть вместе. Но, не знаю… Все уже не так.

— Ты и сам уже не тот, — замечает Уоллас.

— В каком смысле?

— Ну просто мы никогда не остаемся такими же, как были. Постоянно меняемся.

— Может быть, — соглашается Коул.

Деревья остаются позади, и справа открывается вид на заросли желтой травы, между которыми проглядывает темная вода. Эта узкая заводь давно превратилась в болото. По траве деловито шныряют цапли, а на берегу греются на солнышке большие серые гуси. Из воды, словно клык или коготь какого-то прячущегося на глубине животного, торчит черный остов погибшего дерева. Над головами кружат серые чайки, и Коул разглядывает их, откинув голову и приставив руку козырьком к глазам.

— Слушай, если все так трудно, может, это что-то да значит?

— Просто мы столько времени на эти отноше-

ния потратили. Столько любви, столько крови в них вложили. И тут появляется Роман, и все летит к ебеням.

— Какое он вообще ко всему этому имеет отношение?

— Ну, знаешь, как бывает. Винсент пригласил их с Клаусом на ужин. Мы начали обсуждать отношения, моногамию, каково это — быть квирами. Смех, да и только. Мы вообще-то не квиры, мы геи.

Уолласа вовсе не удивляет, что Коул уже в который раз принимается доказывать, какие они с Винсентом нормальные, совершенно обычные геи. Для него это привычная тема. Понятно, Коул терпеть не может Романа. Мало того, что тот француз и красавчик, так еще и обладает харизмой, способной даже благочестивых мальчиков из Миссисипи убедить, что им нужны открытые отношения. А ведь они столько сил потратили, стараясь уверить окружающий мир, что они не явились прямиком из Содома и Гоморры, что они нормальные и верят в традиционные ценности. Коул не понимает, чего ради теперь сдавать назад и ударяться в гедонизм.

Уолласу все это известно. Люди делают то, что хотят, даже если не должны этого делать, даже

если знают, что так поступать не стоит. Жажда брать, брать и брать, стремление захватить побольше заложены в человеческой природе. И однажды обязательно вырвутся наружу.

Коул не замечает, что он замолчал. Над озером, охотясь за мошками, проносится стайка птиц, вздымая рябь на воде. Уоллас подбирает камень и швыряет его в желтые заросли осоки. В воздух вспархивает дюжина птичек, крылышки у них серо-коричневые, а тела вытянутые, как наконечники стрел. Коул раздраженно рычит.

— И вот пьем мы кофе после ужина, — продолжает он свой рассказ. — И тут Роман поворачивается к Винсенту и говорит: «Знаешь, нет ничего лучше, чем трахать кого-нибудь на глазах у своего парня», — Коул пытается изобразить французский акцент, но получается у него так жутко и нелепо, что Уоллас едва удерживается от смеха. Тот пузырится внутри и рвется наружу. — Можешь себе представить? Этот гребаный гомик говорит такое моему бойфренду. При мне! Прямо вот так берет и говорит.

— Интересно, правда ли это, — замечает Уоллас. — Правда ли, что ему это так уж нравится.

— Я не позволю своему парню трахаться с кем-то у меня на глазах. Он вообще ни с кем трахаться

не должен. Кроме меня.

Уоллас прикусывает кончик языка, который сегодня и так уже едва себе не отгрыз. И проглатывает рвущиеся наружу слова. О том, что человек не становится твоей собственностью только потому, что ты его любишь, только потому, что у вас отношения. Люди есть люди, и принадлежат они только сами себе, или по крайней мере так должно быть. Он вдруг понимает, что и Миллер вправе делать, что хочет и с кем хочет. Просто он ревнивый по натуре. А любовь штука эгоистичная.

— А что на этот счет думает Винсент?

— Ну, потом, когда этот мудак ушел, мы обо всем поговорили. Моем посуду, и тут он оборачивается ко мне и спрашивает: «Малыш, как тебе то, что сказал Роман?» Я так взбесился, Уоллас. Просто, на хрен, рассвирепел.

— Так чего все-таки хочет сам Винсент?

— Я сказал ему, что не в восторге от этой идеи. А у него сделалось такое лицо. Просто… В общем, это надо было видеть, Уоллас. У него был такой вид, как будто он опоздал на автобус или на поезд. Или как будто он пришел не на тот берег озера и ждет, вернется ли за ним лодка, — у самого Коула вид теперь грустный и злой. Видимо, нахлынули

воспоминания о том вечере. — И я сразу догадался, что он выкинет нечто подобное. Установит на телефон приложение и начнет в нем шариться.

— Но сказал-то он что?

Коул слизывает соль с верхней губы. Смотрит на воду, на траву, вздыхающую под порывом ветра.

— Спросил: «Разве ты не хочешь узнать?..»

— Узнать что?

— А это все, — смеется Коул. — Конец. Вот что он мне сказал: «Разве ты не хочешь узнать?..» Уоллас, скажи, что мы, на хрен, теряем из-за того, что мы вместе? Не знаешь, случайно? Что именно мы теряем?

Уоллас сходит с тропинки, садится на корточки, а затем опускается на землю, поросшую короткой травкой. Коул садится рядом, потом откидывается на спину, растягивается на земле и прикрывает лицо рукой. Мир во всей своей необъятности спокоен и тих. Даже птицы замерли на ветвях деревьев. Из желтых зарослей осоки, стрекоча, выползает кузнечик. И тут же попадает в клюв цапли. Та ходит по траве, выгибая шею и высматривая насекомых своими огромными глазами. Жукам эти глаза, наверное, кажутся невероятно огромными, просто гигантскими. А сам жук для

них крошечный, почти неразличимый, но заметить его в зарослях они все же способны. Цапля щелкает клювом, и кузнечик становится частью ее организма. Коул снова вздыхает.

— Я просто хочу, чтобы все было, как раньше. Как в Миссисипи. Мы тогда строили планы на будущее, но ничего подобного в них не было. Мы всегда хотели только друг друга.

— Планы меняются. Это не значит, что они плохие или несостоятельные. Это просто значит… что тебе захотелось чего-то другого.

— Но я не хочу ничего другого. И никого другого. Я хочу Винсента, — упрямо твердит Коул. Уоллас выдирает пучок травы, и в земле остается ямка. Голос у Коула срывается. Здесь, у воды, воздух прохладнее, но дневной зной все еще не спал, он тут, невидимый, льнет к коже.

— Я знаю, Коул. Но ведь ты его не потерял. Вы по-прежнему вместе. И у вас все еще может получиться.

— А если он больше не хочет быть со мной? Что, если он нашел кого-то другого?

— Не подавай судьбе дурных идей, — собственные слова поражают Уолласа, потому что это не его присловье, так всегда говорила бабушка. Внезапно она вдруг встает у него перед глазами.

Стоит на кухне, у стола, замешивает тесто на кукурузный хлеб и напевает себе под нос. Уолласу моментально становится дурно, от воспоминаний кружится голова.

— Ничего не могу с собой поделать. Вся моя жизнь — сплошная дурная идея.

— Это неправда, — возражает Уоллас и ссыпает травинки Коулу на живот. — У тебя есть парень. А у многих из нас и того нет.

— Но мой парень ищет себе нового парня.

— Ты не можешь этого знать. Ты у него не спрашивал.

— А тебе оно зачем? В смысле, приложение?

— Да так, чтоб убить время. Ну, может, удовлетворить любопытство.

— А тебе хоть раз случалось подцепить там кого-нибудь? — Коул убирает руку от лица и смотрит Уолласу в глаза. Тот качает головой. В этом вся суть. Он ни разу не встречался ни с одним парнем из приложения.

— Я тот неуловимый Джо, который на хрен никому не нужен, — отвечает он.

— Это неправда.

— О, ну тогда подкинь мне адресочки тех, кто мной интересуется.

— Нет, серьезно. Ты симпатичный. Умный. И

добрый.

— Я жирный, — возражает Уоллас. — В лучшем случае — так, ничего особенного.

— Вовсе ты не жирный.

— Нет, это *ты* не жирный, — Уоллас хлопает ладонью по плоскому животу Коула, который оказывается мягче, чем он думал. Слегка пугается собственного жеста, но руку не убирает. И Коул ее не стряхивает.

— Я думал об этом, — говорит он. — Весь первый год думал. Ты, наверное, в курсе.

— Все уже быльем поросло, — отзывается Уоллас, это тоже присказка его бабушки.

— Если бы я только знал…

— Все равно это было бы ошибкой.

— Если честно, я и до сих пор иногда об этом подумываю. Правда. Хочу, чтобы ты знал.

Что-то жжет в горле. И щиплет глаза. Мир расплывается. Уоллас убирает ладонь с живота Коула и растягивается на земле рядом с ним. Травинки колют затылок, в волосы забиваются комья земли. От Коула пахнет океаном. По крайней мере Уолласу кажется, что именно так должен пахнуть океан.

— Это ты просто от одиночества, — говорит он.

— Нет. А может, и да.

— Я тоже думал об этом, долго думал. А потом перестал.

— Почему?

В небе висят толстые белые облака. С запада налетает прохладный ветер, проводит рукой по траве, и та что-то шепчет ему в ответ. По заболоченной заводи бродят цапли, теребят травинки в надежде найти жука или снулую рыбку.

— Да как-то надоедает постоянно мысленно ныть об одном и том же.

Уоллас произносит это шутливым тоном, но Коул не смеется.

— Тут еще и твой парень объявился. Как бы ты сам поступил?

— Да, наверное, ты прав, — произносит Коул.

— Знаю, ты сказал, что думал об этом, только чтобы сделать мне приятно. Ты решил, что мне нужно это услышать. Но это не так.

— Не в этом дело.

— Думаю, именно в этом, Коул. Ты по натуре слишком чувствительный, — слышно, как у берега плещется вода, но, когда лежишь, самого озера не видно. На траве недвижимо застыли серые гуси. — Говоришь людям всякое из жалости.

— Не знаю, — отзывается Коул. — Может, ты и в этот раз прав.

— Ты правда хочешь, чтобы я сегодня пришел?

— Да.

— Ладно, — соглашается Уоллас. — Я буду.

Коул вздыхает с облегчением, и Уолласу кажется, что воздух, вырвавшийся из его легких, давит на него. На ужине он увидит друзей. Увидит Миллера. И не будем забывать о той незнакомке из альпинистского кружка. Она представляется ему высокой, стройной, загорелой, со светлыми волосами и очень дорогими зубами. Голос у нее, должно быть, певучий, а разговаривая, она сыплет грубоватыми остротами, отчего кажется только более интересной.

Но Коулу нужно, чтобы Уоллас был там. Он идет не для того, чтобы увидеть Миллера. Не для того, чтобы стать посмешищем. Он идет ради друга. Чтобы помочь Коулу все это пережить. И все же от мыслей о Миллере — вернее, от перспективы его увидеть — слегка потряхивает.

— Мы только обо мне и говорим, — спохватывается Коул. — Я даже не спросил, ты-то как.

— Ты о чем?

— Ну, о твоем отце. О том, что ты подумываешь бросить аспирантуру. Как ты сам вообще, нормально?

Поначалу его слова Уолласа озадачивают, но

вскоре он вспоминает: ну конечно, вчера, пока они с Миллером были в туалете, Эмма всем разболтала об отце. А значит, ему снова придется оправдываться за то, что его горе принимает такие странные, непривычные другим формы. Он вовсе не чувствует себя раздавленным. В теле словно образовался длинный узкий канал, ведущий от макушки до пяток, — еще одна система кровообращения — и по нему постоянно циркулирует некая холодная субстанция.

— Все в порядке, — наконец находится он. Коул переворачивается и смотрит на него.

— Точно?

— Да, — кивает он. — Просто вчера меня немного допекли, вот и все.

— Кто допек? Дьяволица?

— Нет. Кое-кто из ребят в лаборатории испортил мой эксперимент, и я сорвался, — Уоллас натянуто улыбается. В этой его улыбке нет ни грана тепла. Вскоре он уже снова рассматривает облака.

— Я очень надеюсь, что ты не бросишь аспирантуру, — говорит Коул. — Что ты останешься. Ты нужен мне.

— Да вряд ли я брошу, — отзывается Уоллас. — У меня нет никаких навыков для жизни во внеш-

нем мире.

— У меня тоже.

— Но иногда очень хочется в него попасть — в смысле, во внешний мир. Найти настоящую работу, зажить настоящей жизнью.

— У Винсента есть настоящая работа, и посмотри, до чего она его довела.

— По-твоему, дело в этом? — спрашивает Уоллас. — Думаешь, это из-за работы он зарегистрировался в гейском секс-приложении? Или есть какая-то более глубокая причина?

— Я думаю, мой парень пытается мне изменить, вот что я думаю. А еще я думаю, что мой друг должен остаться в аспирантуре и не выбрасывать свою жизнь на помойку.

— Убедительно.

— Согласен, — отзывается Коул то ли в шутку, то ли всерьез. Уолласу хотелось бы увидеть в медленном движении облаков какие-то знаки, предзнаменования, но для этого нужно верить в высшую силу, в предопределенность жизни. На темной воде лежат тени. Ветви деревьев, растущих на полуострове, больше не колышутся, ветер стих. В чем именно Коул пытается его убедить? В том, чтобы он не бросал аспирантуру, или в том, чтобы пришел на вечеринку? Он вроде и так уже

решил остаться. И прийти на вечеринку.

Уоллас переворачивается на живот и упирается подбородком в сложенные руки. Поодаль простираются футбольные поля, высятся корпуса общежитий. Тянется аккуратный зеленый газон, обнесенный белой оградой, торчат желтые таблички. А еще дальше сереет громада спортивного комплекса. Где-то там, возле стадиона, блуждают люди, пьяные то ли по случаю матча, то ли по случаю субботы. Футболка задралась у Уолласа на пояснице, и солнце печет кожу, оставляя багровые ожоги. Коул глухо бормочет, уткнувшись в землю, словно надеется, что она поглотит его слова.

— Если Винсент меня бросит… даже не знаю, что я буду делать, — говорит он. Признаваться в таком можно только, глядя в сторону, как бы между прочим, тем непринужденным тоном, каким люди обсуждают мебель. Такие вещи всегда произносят, посмеиваясь и пожимая плечами. Это единственный способ выразить свою боль, страх, что гнездится в самом нутре, в самой сердцевине того, кто ты есть, чего хочешь и в чем нуждаешься. В первую минуту Уоллас едва не поворачивается к Коулу, чтобы его утешить. Но все же не делает этого. Не то чары разрушатся и Коул

мгновенно уйдет в себя. В голосе его звучат влажные нотки — капли дождя на оконном стекле.

— Этого пока не случилось, — говорит Уоллас. — А если бы случилось, ты бы знал, что делать.

— Нет, Уоллас, я правда не знаю.

— Знаешь. Ты бы попытался выстоять. Но этого еще не случилось.

— Попытаюсь. Что толку пытаться?

— Потому что так нужно. Нельзя прекращать пытаться.

— А что, если все уже произошло, просто я этого еще не понял?

— Ты бы понял. Не сомневайся.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что знаю тебя.

— А что, если ты меня совсем не знаешь?

— Ой, хватит разыгрывать мировую скорбь, — говорит Уоллас. Нечего прикидываться загадочным угрюмым типом, когда твоя личность видна всем как на ладони. Коул живет, как те толстые рыбы, что зимой снуют в воде под слоем льда, блестя чешуей и демонстрируя светлые брюшки. Скорбеть для него примерно так же естественно, как для Уолласа совершать решительные поступки.

— Я не разыгрываю. Я серьезно. Что, если бы ты меня вообще не знал? Что бы ты сказал тогда?

— Кто ты такой? — выпаливает Уоллас и смеется, вжимаясь животом в землю. С его весом болтать, уткнувшись лицом в траву, не так-то легко. — Думаю, спросил бы: «Кто ты такой?»

— Иногда я, блин, сам этого не понимаю.

Уоллас медленно выдыхает. Гусь, собираясь взлететь, шлепает крыльями по воде. До сих пор Уоллас и не задумывался, что может по-настоящему не знать Коула, самого простого, доброго и вежливого из своих друзей. Не предполагал, что под его покладистым характером может скрываться что-то другое; что все это может быть иллюзией, тщательно разыгранной ролью. Все эти вечеринки, уступки в разговорах, участливые расспросы о здоровье, домашние булочки, встречи на собачьей площадке, неброская одежда, гибкое расписание, ровная, спокойная манера держаться — все это предполагает полное отсутствие эгоизма и искреннее внимание к другим. Уж кому-кому, но не Коулу сомневаться в себе. Ведь личность, которую он предъявляет миру, так тщательно выстроена. Только теперь Уоллас понимает, что кое-где из нее торчит арматура. Только теперь понимает, что скорее всего време-

нами Коул улыбается, стиснув зубы.

— Мне знакомо это чувство, — говорит Уоллас. — Еще как знакомо.

— Поэтому не говори, что знаешь меня, хорошо? Не говори, что знаешь, как я поступлю. Ты этого не знаешь и знать не можешь.

— Справедливо, — признает Уоллас. — Ладно, не буду.

— Просто мне очень страшно. Я так долго его любил. Мы уже так давно вместе. Не знаю, смогу ли начать все сначала.

Коул боится потерять Винсента — это понятно. Сейчас он достиг вершины, сбылось все, о чем он мечтал не только в плане отношений, но и жизни вообще. Отличная работа, любящий партнер, друзья, уютные вечеринки для своих, теннис по выходным. Больше всего он хочет, чтобы все вопросы решались еще до того, как будут заданы, чтобы все в жизни шло по порядку. Чтобы они окончили аспирантуру и вступили в новую фазу так же легко и естественно, как в эту, просто стали чуть старше, чуть богаче, чуть лучше. Он не планировал ничего терять, не предполагал, что в какой-то момент все может пойти не так, как было задумано. Винсент для него не просто Винсент, это символ, который с каждым днем становится

все значимее. Винсент — это надежность, прививка против неопределенности будущего.

— Все это просто ужасно. Мне жаль, что тебе приходится переживать такое.

— А ты, — отзывается Коул. — *Твой отец…* Черт, прости, опять я об этом.

— За меня не переживай. Нет, правда, не переживай.

— Потерять отца, должно быть, так жутко, так тяжело.

— Да, в общем… все не так страшно.

Пожалуй, напрасно он ответил так откровенно. Уолласу не хочется снова возвращаться к тому, что горе может быть одновременно и сплошным, и рассеянным, как поднявшаяся в небо стая птиц. Не хочется снова в это погружаться. На губах налипла земля, он чувствует языком ее солоноватые крупинки.

Коул моргает, словно слишком долго глядел на солнце. *Не так страшно.* Вот почему Уоллас никому ни о чем не говорит. Вот почему предпочитает держать правду при себе. Потому что никто не знает, что делать с этой хренью, с тем, что на самом деле чувствуют другие. И когда что-то не соответствует их представлению о том, как должно быть, люди просто не понимают,

как реагировать. Повисает пауза. Становится очень тихо.

— Но ведь это твой отец, — не унимается Коул. — Не нужно так. Не стыдись своих чувств.

— Я не стыжусь. Я правда так считаю.

— А мне кажется, ты не до конца откровенен. Не хочешь мне открыться.

Уоллас садится, выплевывает землю изо рта. Выбирает из волос травинки.

— По-моему, я открыт настежь.

— Я готов тебя поддержать. Только дай это сделать.

— Коул.

— Не нужно меня отталкивать.

Уоллас стискивает зубы, сжимает губы. И мысленно считает от десяти до одного. В носу горячо. Коул сидит рядом, обхватив себя этими своими бледными руками, глядя на него этими своими влажными глазами. Вид у него печальный. Потерянный. Одинокий. Это Уолласу за то, что растравил его на корте. Справедливое возмездие. Рана за рану.

— Ладно, — сдается он и, подпустив в голос дрожи, добавляет: — Я весь словно оцепенел, по-моему, я просто не могу все это осмыслить.

— Я понимаю, — кивает Коул. — Я понимаю,

Уоллас.

— И… Ээ… Мда… Я просто постепенно переживаю стадии горя, понимаешь?

— Это очень важно, — Коул прикасается к его руке. — Я рад, что ты не стал держать все в себе.

— Спасибо, — говорит Уоллас с чувством, которого на самом деле не ощущает. — Как приятно, что рядом есть люди, которые по-настоящему меня понимают.

— Мы все тебя любим, Уоллас, — улыбается Коул. Притягивает его к себе и обвивает руками. — Все хотим, чтобы ты был счастлив.

Когда Коул обнимает его, Уоллас закатывает глаза, но стоит тому отстраниться, и он напускает на себя вид ободренный, хотя и слегка печальный. Они собираются уходить, и тут на стадионе как раз заканчивается матч. Поднимается такой рев, что гуси и цапли разом взмывают в воздух.

С крыльев их сыплются капли серой воды, и на мгновение кажется, что пошел дождь.

4

Кажется, впервые за весь день Уоллас остается один — и то не совсем, в квартире по-прежнему пахнет Миллером. Пробыв здесь всего несколько часов, он умудрился изменить сам запах дома — это просто нечестно, чересчур сильный эффект. Его аромат — на самом деле совсем не навязчивый, едва уловимый — таится в темных углах квартиры, во всех ее пульсирующих точках: терпкий цитрус и озерная вода. Уоллас раздумывает, не отправить ли в стирку серое покрывало и свинцового оттенка белье, чтобы навсегда изгнать Миллера из своей постели. В комнате так сладко пахнет их сплетенными телами, их сексом, их совместным сном, что уже от одного этого хочется забраться обратно в постель, накрыться с головой одеялом и никогда, никогда не вылезать наружу. Именно это желание и подстегивает Уолласа постирать белье, отмотать все назад, обнулить счет. Утром он ушел, оставив Миллера, такого милого и беззащитного, спать в своей постели. И теперь жалеет — это решение так и будет до конца дня горчить во рту. На пороге спальни он замирает.

Замирает, уловив запах пива — так же пахло от кожи и дыхания Миллера. Затхлый кисловатый душок, так хорошо знакомый ему, несмотря на то что сам он не пьет.

С легким раздражением он вспоминает, как все вокруг удивляются, когда он сообщает им этот факт, когда признается, что не употребляет спиртного. Как поначалу принимаются уговаривать, а потом уступают и сыплют неискренними извинениями за то, что предложили ему вино, пиво или джин. Так было и прошлой зимой на вечеринке, которую Эдит устроила по случаю окончания семестра, когда Хенрик протянул ему стакан джина. Уоллас тогда смущенно пробормотал: «Нет, мне не нужно». Хенрик стал настаивать: «Ты же сдал промежуточные, ты теперь взрослый». И, в конце концов, он признался: *«Я не пью»*. Хенрик посмотрел на него с обидой, нижняя губа его дрогнула, как от удара газетой. И Уолласа тут же захлестнуло чувством вины, да так сильно, что он уже готов был взять стакан. Но Хенрик развернулся и ушел прочь. Знай Уоллас, что это будет последний раз, когда Хенрик с ним заговорит, последний раз, когда он что-то ему предложит, он выхватил бы стакан и выпил его до дна. Он совсем не разбирается в алкоголе, не

может отличить хороший от плохого. Все напитки на вкус кажутся ему одинаковыми, только от одних в горле жжет, а от других — нет.

А вот родители его пили. Причем постоянно. Мать, дородная, крупная женщина с добрыми глазами и скверным характером, страдала диабетом и потому предпочитала слабоалкогольное пиво. По крайней мере, так она это объясняла: *«Чтобы сахар не подскочил».* Сидела в своем кресле, вливая в себя бутылку за бутылкой, и сквозь неплотно задернутые шторы смотрела в окно — изучала окружающий мир, хотя Уоллас решительно не понимал, чего ради. Жили они в то время в трейлере, стоявшем возле проселочной дороги, а вокруг громоздились сварганенные из чего попало жилища их родни. В окно видны были лишь сосны и их родичи, и смотреть в этом медвежьем углу было решительно не на что, разве только на гнущиеся под порывом ветра деревья и бегущие по небу облака. И все же она целыми днями сидела в кресле и глазела в окно. Там он и нашел ее в день, когда вернулся из колледжа на летние каникулы, чтобы обливаться по́том в своей старой спальне, прятаться в первый попавшийся прохладный уголок и там убивать время в ожидании, когда дневной зной спадет.

Он нашел ее в кресле. Глаза открыты, тело окоченело. Доктор сказал, у нее случился инсульт. Просто так, ни с того ни с сего. Мать десять лет проработала в отеле гольф-клуба. А потом у нее стали случаться приступы, после которых она некоторое время не могла двигаться. Уоллас решил, что, видимо, так все и произошло. В чашке еще не до конца растаял лед — тот голубой, ее любимый, что делали в отеле; матери его каждые пару недель приносила оттуда подруга. Потому он и догадался, что умерла она не так уж давно. Но с тех пор прошло уже несколько лет, все это случилось в то лето, когда он уехал на Средний Запад, чтобы поступить в аспирантуру и начать новую жизнь. Его часто мучают мысли о том, что же она все эти годы пыталась высмотреть за окном. Но некоторые вопросы обречены оставаться без ответа. Когда Уолласа спрашивают: *«Почему ты не пьешь?»*, он едва сдерживается, чтобы не рассказать эту историю. Но все же не делает этого. Отвечает что-то типа: *«Так вышло»*. Обходится одной из тех бессмысленных фраз, годных лишь для того, чтобы заполнить паузы, непременно возникающие в любом разговоре.

Именно о ней, о матери, напоминает ему пивной душок, витающий в квартире. Как призрак.

Он давно о ней не думал. Когда в голову лезут такие мысли, Уоллас всегда вспоминает только хорошее: как она разрешала ему не ходить в школу, когда у него болел живот, оставалась с ним, варила суп и включала мультики; как порой он замечал, что она смотрит на него — не с гордостью, нет, но с любовью и нежностью. В те редкие моменты, когда она не орала ему из другой комнаты, чтобы подошел и завязал ей шнурки, когда не обзывала безмозглым дебилом, когда не вопила так истошно и пронзительно, что он переставал различать слова, когда не била его по губам, не заставляла прилюдно мыть в подмышках и паху, не обрекала плутать в копне черных волос своей злости, подозрительности и страха — в эти редкие моменты она была очень добра к нему. Вот почему он не доверяет памяти. Она искажает события. Подменяет их. Создает из подручных средств нечто достойное. Память — это не про факты. Это лишь противоречивые данные о количестве испытанной в жизни боли. Но Уоллас думает о матери. Ее образ материализуется из витающего в воздухе запаха пива, и он захлопывает дверь спальни, не в силах больше этого выносить.

Да и в любом случае до ужина остается не так

много времени.

Уоллас изучает содержимое морозилки. Пара куриных грудок, говяжий фарш, рыба, несколько пачек замороженных овощей, пицца, формочки со льдом. Из отсека приятно веет холодом, он освежает лицо, все еще пылающее после тенниса и прогулки домой по берегу озера. Уоллас наклоняется ближе, вдыхает морозный воздух, и тот оседает внутри, образуя его личную тундру. Его друзья — и друзья его друзей тоже — почти не едят красного мяса. На подобных вечеринках обычно угощают овощными блюдами, запеканками из бобов, пастой, сыром, зеленой фасолью, киноа, горохом, орехами, джемами, ягодами и крупами. Как-то раз, в первый год обучения, он решил приготовить для ужина с друзьями шведские фрикадельки, вроде тех, что всегда приносила на семейные посиделки его тетка. Тефтельки слепил из фарша с луком и чесноком, в густой соус добавил все, что попалось под руку — тмин, корицу, орехи, уксус и коричневый сахар, а после выложил все в блюдо со скандинавским орнаментом, которое купил в благотворительном магазине. На улице поливал дождь. Он стоял на крыльце, кое-как удерживая в руках горячую посудину, и пытался натянуть на лицо беззаботную

улыбку. Ингве, Коул и Лукас в то время жили все вместе в одном из еще сохранивших свой первоначальный облик кварталов недалеко от центра. В таких районах границы между современным мегаполисом и тем городком, из которого он вырос, почти не заметны, и, остановившись в начале улицы и поглядев вдаль, можно отследить ход времени. Ставни, крылечки, белые колонны, большие окна, террасы с качелями, кувшины лимонада на перилах и чайники на плетеных столах. Прежде в этих домах жили большие семьи, теперь же их заставили разномастной мебелью, набили щербатой посудой и заселили недавними выпускниками, которые, подобно новорожденным бабочкам, только пробовали распускать еще влажные крылышки взрослой жизни. Дверь Уолласу открыл не один из его друзей, а девушка, с которой в то время мутил Ингве, высокая брюнетка не то из Аризоны, не то из какого-то другого жаркого захолустья. Увидев фрикадельки, она сморщила носик. И спросила Уолласа, не заблудился ли он.

Ингве потом, обняв его за шею и смеясь, шептал ему в ухо: *«Прости, прости… Она, понимаешь ли, вегетарианка, так что…»* В конце вечера, унося домой блюдо с нетронутыми фрикадельками,

Уоллас старался не дать волю разочарованию и не думать о том, сколько потратил денег, сколько времени торчал на кухне, весь в поту, стараясь, чтобы все шарики вышли одинаковыми, а соус получился идеальным. А блюдо — маленькое блюдо, которым он так гордился! Красное, с узором в виде скачущих белых оленей. Не шведское, конечно, но, как он смел надеяться, вполне в подходящем стиле.

Больше Уоллас ничего мясного на их дружеские посиделки не приносил. Обычно ограничивался крекерами или чем-то подобным, считая, что его друзьям, этим страстным любителям овощей, время от времени не помешает немного грубой пищи, чтобы не увязнуть в дерьме по уши. Это в тех случаях, когда его все же приглашали. Что случалось нечасто. Наверное, народ просто привык, что он всегда отказывается или уходит пораньше, до того, как все наедятся и начнут обсуждать, что случилось на прошлой вечеринке, где его либо не было, либо он пропустил все самое интересное, потому что ушел пораньше. В такие моменты он особенно остро чувствует, какая пропасть разделяет его с людьми, которых он называет друзьями. С этими их блестящими глазами, влажными ртами, жирными руками,

которыми они хлопают друг друга по коленкам. С этим их культом близости, дружбы и счастья.

Пожалуй, сегодня он приготовит фруктовый салат. Сейчас август, дыни поспели и виноград тоже, его любимый сорт — упругие терпкие на вкус зеленые ягодки. Решено, он приготовит фруктовый салат, как в детстве. Персики, кусочки канталупы и мускатной дыни, яблоки… А апельсинов не надо, в них слишком много косточек. Точно, он сделает салат, салат — это несложно.

* * *

После того, как Коул переехал к Винсенту, Миллер занял его место и поселился у Ингве с Лукасом. Дом у них теплый и неплохо обставленный. Прожив в нем год, они, как взрослые, поехали в настоящий магазин и купили настоящую мебель, что означает: как-то жарким днем сгоняли в «Икею», а после, скинув футболки, сами все собрали. Уоллас тоже пришел — для моральной поддержки. Ну и подать бутылку воды, если кому будет нужно. Сидел там и глазел, как по их спинам и торсам стекают капельки пота, впитываясь в ткань шортов. После все вышли во двор и залезли в детский надувной бассейн. Вода уже нагрелась на солнце, но все же неплохо

освежала. К тому же самое большое удовольствие они испытывали от новизны ощущений.

Идти до дома парней недалеко, и на этот раз в руках у него не горячее блюдо, а холодная миска. Еще светло. Только половина седьмого. Он будет вовремя. Завернув за угол, Уоллас видит в освещенных теплым светом окнах кухни всю компанию, все улыбаются и хохочут. Гремит музыка. На перилах светятся белыми огоньками гирлянды. Из приоткрытой двери на улицу струятся аппетитные запахи. Уоллас постепенно успокаивается. Все хорошо. Все будет хорошо.

Ведь это его друзья.

Он поддевает дверь носком ботинка, заглядывает внутрь и, входя, кричит:

— Привет-привет!

— Уоллас! — несется из кухни нестройный хор голосов. Он оставляет туфли у двери и идет навстречу струе теплого воздуха в кухню, где уже собралось человек семь-восемь. Коул и Винсент, игриво толкая друг друга бедрами, моют в раковине овощи. Роман сидит на полу и тискает маленького кролика. К Уолласу подскакивает Эмма со стаканом вина в руке, обнимает его за шею и целует. Лукас и Ингве, самый низкий и самый высокий в компании, режут у кухонной

стойки морковь и сельдерей.

— Вы что, тушеного кролика собрались готовить? — спрашивает Уоллас, ставя на стол миску с салатом.

— Не смей так шутить про Лилу, — Лукас указывает на Уолласа ножом. Он, конечно, дурачится, но лишь отчасти.

— Обожаю тушеного кролика, — говорит Ингве. — Обожаю-преобожаю.

Лукас кривится и смотрит на него, как на предателя. Уоллас смеется. В другой части кухни, там, где стоят Коул и Винсент, какая-то девушка колет лед. Высокая и плотная, с широкими плечами и тонкой шеей. На ней топ с открытой спиной, лопатки усыпаны ржаво-коричневыми веснушками. На вид так и пышет здоровьем. Смех у нее низкий и хриплый, а когда она поворачивается к Коулу, чтобы что-то сказать, Уоллас замечает, что в профиль она очень даже ничего. Глаза у нее синие, темно-синие.

Эмма вязким от вина голосом шепчет ему:

— Это Зоуи. Ингве пытается свести ее с Миллером.

— Мне вроде Коул на теннисе что-то об этом говорил, — отвечает Уоллас и силится улыбнуться. Вечер еще толком не начался, а у него уже

болят щеки.

— Альпинистка, кажется, или что-то вроде, — Эмма отхлебывает из бокала. Глаза у нее красные. Она недавно плакала.

— А где Том? — спрашивает Уоллас, и Эмма словно вся разом сжимается в тонкую темную линию. Закрывается от него.

— Пошли поглядим, как там картошка, — она хватает Уолласа под руку и тащит за собой через кухню. Под ногами у них потрескивает неровно уложенная плитка. Роман, вскинув голову, растягивает губы в мгновенно испаряющейся с них улыбке. Ни теплой, ни холодной — никакой.

— Привет, Роман, — здоровается Уоллас.

— Уоллас.

Коул оборачивается к нему и обнимает, широко раскинув руки, чтобы не закапать ему рубашку грязной водой. От него приятно пахнет — мылом и пряным одеколоном.

— Пришел все-таки, — говорит он.

— Да. Пришел.

— Здорово, — отзывается он, устроив у Уолласа на плечах влажные запястья.

— Уоллас, — Винсент неловко обнимает его, пристроившись позади Коула. И сжимает Уолласу плечо. — Рад тебя видеть.

Теперь Зоуи оказалась слева от него. Они в ловушке, зажаты между Эммой, открывающей новую бутылку вина, и суетящимися у раковины Коулом и Винсентом. В руках у Зоуи нож для колки льда и маленький молоточек. Она весьма уверенно ими работает. Теперь, вблизи, видно, что у нее большой рот, в котором, как и предполагал Уоллас, сверкает куча очень дорогих зубов. А глаза навыкате. Зоуи улыбается ему и представляется:

— Зоуи. Приятно познакомиться.

— И мне, — дружелюбно отзывается он, хотя никаких теплых чувств не испытывает. — Что привело тебя в город?

Этот вопрос они задают всем, кто приехал сюда не по их учебной программе. Ведь непонятно, для чего бы еще человек мог оказаться тут. В городе у трех озер.

— Я здесь учусь на юридическом, — отвечает она.

— О, понятно. И, как я слышал, занимаешься альпинизмом? — продолжает расспрашивать Уоллас.

Зоуи втыкает нож в кусок льда и одним ловким движением раскалывает его пополам.

— Все верно. Мой отец инструктор по альпи-

низму в Денвере. Так что это в каком-то смысле наследственное.

— Значит, ты из Денвера? — уточняет Уоллас.

— Нет, родилась я в Биллингсе. Мы часто переезжали. Я где только не жила, но Биллингс по-прежнему для меня дом родной. Хотя во время учебы жила в Кембридже.

— Гарвард окончила?

Зоуи вспыхивает и принимается кромсать новый кусок льда. Уоллас внимательно следит, как серое лезвие вонзается ему прямо в сердце.

— Ага, — бросает она.

Уоллас кивает.

— А ты откуда? — спрашивает Зоуи.

— Из Оберна, — отвечает он.

— Это где вообще? — смеется она.

— Алабама.

— О, «Кримсон Тайд»?[3]

— Нет, — качает головой Уоллас. — «Тайгерс»[4].

— А, — кивает Зоуи. Пальцы у нее ловкие и

---

[3] Примечания: 3

«Алабама Кримсон Тайд» — баскетбольная команда университета Алабамы.

[4] Примечания: 4

«Оберн Тайгерс» — баскетбольная команда Обернского университета (Оберн, Алабама).

быстрые. Она раскалывает кусок льда пополам и еще раз пополам. Выбивает из прозрачной глыбы кубики, овалы и полумесяцы. Могла бы с этим номером на вечеринках выступать. А впрочем, возможно, именно этим она сейчас и занимается.

— Помочь? — Уоллас оборачивается к Коулу и Винсенту.

— Нет-нет, все готово, — отзываются те вразнобой, и звуки их голосов обрушиваются на него, как дождь. В кухне жарко и дымно, на плите булькает и шипит еда. — Иди присядь где-нибудь.

— Ладно, — говорит он. — Хорошо. А где Миллер?

Зоуи украдкой расправляет плечи.

— Вот это отличный вопрос, — хмурится Ингве. — Он обещал заняться музыкой, а сам просто взял и испарился.

— Посмотрю на заднем дворе, — говорит Уоллас, переступает через длинные ноги Романа и толкает раздвижную дверь. Роман все так же тискает толстую бурую крольчиху Лилу, для ребят она что-то вроде талисмана. Уоллас тоже был бы не прочь ее погладить, но Роман заслоняет зверюшку собой, а Уолласу известно, что у его прохладного дружелюбия есть свои пределы.

На заднем дворе густо растет трава, и потому здесь прохладнее, чем у парадного крыльца, выходящего на асфальтированную городскую улицу. Уолласу тут всегда нравилось, Лукас разбил за домом маленький садик, огородив его заборчиком из красных кирпичей. Рядом — похожий на маленький домик стеллаж с разным садовым скарбом. У забора — раскидистый дуб, а под ним кострище — тут они по осени жгут хворост, пьют пиво и веселятся. А после одежда у всех пахнет дымом.

Миллера он находит в углу двора, тот сидит на складном алюминиевом стуле с липким пластиковым сиденьем. Над головой раскинулось лавандового оттенка небо. Миллер сидит, уставившись в телефон и прихлебывая что-то из длинной темной бутылки. Наверное, с кем-то переписывается. Уолласа он не видит. Тот останавливается у носков его ботинок и ждет, пока его заметят, пока его присутствие изменит что-то в окружающей атмосфере. Ждет, затаив дыхание. Миллер одет в темно-синие шорты и голубую рубашку с закатанными рукавами. Раньше он очень стеснялся своих тощих ног и костлявых коленок. Но с тех пор, как занялся парусным спортом, все изменилось: он стал крепче, плотнее,

словно небрежный набросок его тела превратился в полноцветный рисунок. Выгоревшие волосы блестят.

— Я тебя вижу, — произносит Миллер.

— Привет.

— Не знал, что ты придешь, — смущенно добавляет он. Явно нервничает, наверное, из-за той девушки. Что поначалу вызывает у Уолласа улыбку, но вскоре начинает откровенно раздражать.

— Коул меня пригласил, — объясняет он.

— Чудная какая-то ситуация, правда?

— По-моему, вовсе не чудная.

— По-твоему, нет? А по-моему, еще как. — Миллер качает головой. — По-моему, это просто ужас. Я не просил Ингве…

— Ой, да какая разница. Слушать скучно.

— Эй, ну не надо так, пожалуйста. Я стараюсь вести себя хорошо.

— А ты ничего плохого не делаешь. И никто ничего плохого не сделал. Все прекрасно.

— Меня от всего этого тошнит. Я вообще узнал, что у нас сегодня гости, только когда домой пришел. Обрушилось все, как снег на голову.

— А мне Коул сказал, — говорит Уоллас. — На теннисе. Или после. Сказал, они обо всем договорились вчера, когда мы ушли.

— Вот как? — Миллер вытягивает голые ноги и просовывает их между таких же голых лодыжек Уолласа. Кожа у него такая теплая, что Уоллас мгновенно мысленно переносится во вчерашний вечер, когда они вместе ушли из-за стола. Вернее, ушли порознь, но в итоге оказались вместе. Судя по тому, как темнеют глаза Миллера, он тоже об этом вспоминает. Меж розовых губ показывается кончик языка и облизывает уголок рта.

— Не в этом смысле, — говорит Уоллас, дыхание у него учащается. — Я имел в виду… Ну ты понял.

— Понял, — соглашается Миллер. Наклоняется вперед и кладет руку Уолласу на бедро, чуть выше колена. Прикосновения его огрубевших пальцев Уолласу уже знакомы — по вчерашней ночи и сегодняшнему утру. Он вздрагивает и едва не теряет равновесие. Миллер, улыбаясь, гладит большим пальцем его колено. В ветвях деревьев глухо стонет ветер. — Как настроение? — спрашивает Миллер. — Я про ту девушку из твоей лаборатории. Как ты, отошел?

— Уже лучше, — отвечает Уоллас. И пытается взъерошить Миллеру волосы. Они жесткие от мусса, но Уоллас не сдается, снова и снова запускает пальцы в неподатливые, курчавые

пряди. — Когда я сюда шел, думал, весь вечер буду злиться и дуться.

— Злиться? На кого злиться? На меня?

— Нет. А может, и да, не знаю. Но, в любом случае, больше на себя. И на Ингве.

— Но ты не злишься? Это же хорошо?

— Не уверен, — качает головой Уоллас. — Совсем не уверен, что это хорошо.

— А почему нет?

— Потому что, раз я не злюсь, то, наверное, подспудно считаю, что победил. Получил, что хотел. Но штука в том, что я вообще не должен был этого хотеть. Понимаешь?

— Нет, — говорит Миллер. Он ставит бутылку на траву и обхватывает ноги Уолласа обеими руками. — Объясни.

Уоллас проводит ладонями по волосам Миллера, от затылка до лба, и там нажимает большим пальцем, заставляя разгладиться морщинку меж озабоченно сдвинутых бровей.

— Мне неприятно было бы узнать, что ты хочешь быть с кем-то другим, и теперь я испытываю облегчение. Но я не хочу его испытывать. Не хочу, чтобы меня волновало, хочешь ты быть с кем-то другим или нет.

— Но что, если я хочу, чтобы тебя это волнова-

ло? — спрашивает Миллер.

— Вы, натуралы, вечно чего-то хотите, — смеется Уоллас, — а потом перестаете.

— Это нечестно. Мы же друзья.

— Именно поэтому все это ужасная идея, — говорит Уоллас.

— Я так не считаю.

Кто-то окликает их в сгустившихся сумерках. Пальцы Миллера крепче вцепляются ему в бедра, а затем разжимаются.

— Разговор еще не окончен, — бросает он.

— А о чем тут говорить? — спрашивает Уоллас. Затем они оба оборачиваются на голос. Это Ингве. Стоит в дверях дома, приложив ладонь козырьком к глазам.

— Мы все съедим без вас, — кричит он. — Поторопитесь. И, кстати, Миллер, где наша музыка?

Миллер встает со стула. Они шагают рядом по траве, не глядя друг на друга. Но вскоре костяшки пальцев Миллера задевают костяшки Уолласа, на мгновение устанавливая между ними хрупкую связь. Контакт прерывается тут же, едва успев состояться, они разъединяются так внезапно, что Уоллас еще острее чувствует: в эти несколько секунд по его жилам вместо крови текло расплавленное стекло. Они поднимаются на заднее

крыльцо и снова оказываются в кругу друзей.

* * *

Стол, пожалуй, единственный предмет настоящей взрослой мебели в этом доме. Лукас привез его с собой из Висконсина, из дома бабушки и дедушки. Обычно он стоит в кухне, у стены, заваленный барахлом, иллюстрирующим все аспекты жизни ребят: грязным бельем, книжками, брошюрами, блокнотами, инструментами, посудой, газетами, проводами и остальными вещами, которые часто суешь куда-то на время и забываешь там навсегда. Но сегодня стол вынесли в большую комнату. И Лукас застелил его скатертью, спрятав царапины, ссадины и голубые пятнышки краски. Вся топография жизни стола теперь скрыта от глаз.

Уоллас сидит в центре, между Эммой и Коулом, напротив Романа и Клауса. У одного края стола сидят Ингве и его подружка Инид, рядом с ними Миллер и Зоуи, у другого — Лукас и его парень Нэйтан. Всем немного тесно. Эмма упирается локтем Уолласу в бок, а сам он постоянно наступает на ногу Коулу. Блюда с закусками передают по диагонали. Уоллас накладывает в тарелку немного запеченной курицы, спаржи, брюссель-

ской капусты и еще какой-то мучнистой массы, картофельного пюре, наверное. Кто-то передает ему бутылку вина, и он качает головой:

— Нет, мне не надо, спасибо.

Но Роман продолжает настойчиво совать ему бутылку:

— Наливай, не то хозяева обидятся.

— Уоллас не пьет, — вмешивается Эмма.

— Ты что, за рулем? В этом дело? Да ладно, подбросит кто-нибудь.

— Нет, — говорит Уоллас. — Я просто не пью.

Роман очень хорош собой, волосы у него такие светлые, что Уоллас порой задумывается, не красит ли он их. Правда, ресницы у него тоже светлые, и брови, и борода бледно-желтая, с редкими рыжими вкраплениями. Еще у Романа темно-зеленые глаза и изящно вылепленный подбородок. Уолласу кажется, что он больше похож на исландца, чем на француза. Но нет, он француз, родом из маленького городка в Нормандии. По-английски говорит превосходно, хотя и с заметным акцентом. Его парень Клаус — коренастый, темноволосый и смахивает на какого-то сказочного персонажа. А еще он вечно какой-то напряженный, словно все время тянется вверх, чтобы стать выше. Роман изучает ранние стадии

развития сердца у мышей, тот момент, когда белый сгусток, не больше похожий на нечто живое, чем яичный белок, вдруг начинает трепетать и биться. Держит в руках волосок, на котором висит жизнь крошечных животных.

Выражение, с которым он смотрит на Уолласа, трудно идентифицировать, но Уоллас про себя решает, что это *раздражение*.

Бутылка вина и блюда с едой путешествуют с одного края стола на другой и обратно. Уоллас отламывает куриную ножку и видит выскочившую из сустава белую хрящевую головку. Мясо нежное и темное, но возле костей немного кровит. Курица не дожарена, но Уоллас все равно срезает с костей мясо и отделяет желтую хрустящую корочку. Под ней виднеются мягкие бугорки жира. А вот кукуруза хороша. Сладкая и сдобрена маслом.

— Ты бывал в Йосемити?[5] — доносится до Уолласа. Это Зоуи спрашивает у Миллера.

— Нет, — отвечает тот.

— А у нас с друзьями есть такая игра. Мы стараемся за лето посетить как можно больше национальных парков. Йосемити мне нравится

---

[5] Примечания: 5
Йосемити — национальный парк в штате Калифорния, США.

больше всех. Родители нас с братом каждый год туда возили.

— А я несколько недель назад побывал в Глейшере[6], — вставляет Ингве. — С Инид.

— И как вам? — со смехом спрашивает Зоуи.

— Он, конечно, прекрасен, — отвечает Инид. И Уоллас вдруг замечает, что они с Зоуи чем-то похожи. Только кожа у Инид куда белее. И волосы выкрашены в серо-сиреневый цвет. В носу поблескивает серьга, а на плече татуировка — какие-то черные зигзаги. Не в стиле трайбл, просто чистая геометрия. — Но я ногу поранила, так что вскоре пришлось сойти с маршрута.

— А я еще на три дня остался, — говорит Ингве. Инид кивает, сжав губы в тонкую линию, кажется, это нелегко ей дается. — Ну, просто у меня не так часто выпадают свободные дни, и я очень ждал этой поездки.

— Глейшер замечательный парк, — подхватывает Зоуи. — Я однажды там поднималась на пик. Но не в этом году. В прошлом.

— А я никогда не был в национальном парке, — замечает Миллер.

— И я тоже, — говорит Уоллас. И все обора-

---

[6] Примечания: 6

Глейшер — национальный парк, расположенный в Скалистых Горах в штате Монтана, США.

чиваются, будто только сейчас поняли, что он тоже слышал разговор. Уоллас снова принимается за еду. Старается сделаться незаметным, но уже слишком поздно. Гамбит не удался. Миллер смеется.

— Некоторые их побаиваются, считают, что это дело слишком рискованное, — отзывается Зоуи. — В смысле, услышав *«национальный парк»* ведь не подумаешь, что это какое-то милое уютное место. Но… Не знаю, когда остаешься наедине с природой, в месте, где даже мобильник толком не ловит… Есть в этом что-то невероятное. Все равно что вернуться к истокам.

— Именно поэтому я и пошел в горы, когда дед умер, — подхватывает Ингве. — Там есть только ты и скала. Ты и небо. Ты и *«смогу ли я подняться еще на пять дюймов и не сдохнуть?»*. Поразительно.

— Это чем-то похоже на… Ну, знаете, бывает, вспомнишь какую-то неприятность из прошлого и думаешь: вот же я дура, и чего так переживала, что Тиффани Бланшар не позвала меня на девичник, а Грег Ньюсом не пригласил на вечеринку. И вот когда поднимаешься на вершину или просто гуляешь по холмам и видишь следы вековых геологических процессов, чувствуешь то же самое.

Это как… — Зоуи вертит в руках нож, пытаясь подобрать подходящее слово.

— Сменить ракурс, — подсказывает Эмма.

— Точно. Сменить ракурс. Спасибо, — смеется Зоуи. — Стоишь и думаешь: да из-за чего я так расстраивалась? Из-за *экзамена по гражданскому праву*?

— Но ведь в руках у адвокатов жизни и смерти людей, разве нет? — спрашивает Миллер, и Зоуи морщится.

— Вы поняли, о чем я, — говорит она. — Поняли же, правда? — и смотрит на всех по очереди. Взгляд ее блуждает по лицам собравшихся, и Уолласу хочется спрятаться от него. Неприятно видеть, как ее все сильнее захлестывает смущение. Зоуи откашливается.

— Конечно, — наконец, чуть позже, чем следовало бы, находится Винсент. — Мы как раз об этом вчера и говорили. В жизни есть нечто более важное, чем учеба.

— Не начинай, — просит Коул.

— Вот ты, например, Уоллас, — Винсент наклоняется к нему через стол, и тот кренится. Вздрагивают бокалы. По воде в стакане Уолласа проходит рябь.

— Ты о чем? — спрашивает Уоллас. Голос

у Винсента такой, словно он сейчас вытащит на всеобщее обозрение кролика из пустой шляпы.

— Ты же хочешь бросить аспирантуру. Хочешь уйти. К тому же у тебя недавно отец умер. Вот он, другой ракурс.

Все оборачиваются к Уолласу, взгляды их стучат о кожу, как игрушечные пульки.

— Ну, это все-таки не одно и то же.

— А по-моему, то же самое, — не соглашается Винсент и продолжает свою мысль: — Уоллас вчера сказал, что ненавидит аспирантуру. Просто ненавидит. Это же ужасно, бедный парень. И вот он говорит: «У меня умер отец, и я хочу бросить университет». Понимаете? У него отец умер, и он понял, что оставаться тут незачем. Такие события ведь многое меняют.

— Правда? — Уоллас с ужасом понимает, что произнес это вслух. Он говорит, уставившись в стол. С губ срывается хриплый шепот. — Они многое меняют? А что именно?

— В общем-то… *Все*, — криво усмехается Винсент. — То есть, если бы мой отец умер… Я был бы раздавлен.

Уоллас кивает. Под потолком что-то монотонно шипит. Теперь, когда все замолчали, звук этот слышен очень отчетливо. «Что это, интересно», —

думает Уоллас. Будто бы что-то утекает наружу сквозь узкую щель.

— Да, это меняет все, — наконец выдает он. И улыбается, смеется даже. Вечно он лыбится, идиот безмозглый, всем довольное одноклеточное. В уголках глаз собираются морщинки. Все за столом расслабляются. И только Роман хмурится.

— Это правда? Ты хочешь уйти?

Уолласу тут же приходят на ум три французских глагола: *partir, sortir, quitter*[7]. В школе он четыре года изучал французский. А потом еще в колледже столько же. Но говорить по-французски за пределами кабинета иностранных языков всегда стеснялся. Однако там, в колледже, он сдружился с ребятами из Северной Африки, с которыми вместе играл в теннис. И вот их он иногда — в приливе отваги — решался расспросить по-французски об их увлечениях, об их родных краях и семьях. В той компании был один парень, Питер, пару раз они с Уолласом едва не переспали. Прощаясь с ним, Питер всегда употреблял это слово — *quitter*, говорил: *«Je quitte».* И сейчас оно вдруг вспоминается Уолласу. Так и рвется с языка, но он его не пускает. Это личное слово. Слово Питера.

---

[7] Примечания: 7

Partir, sortir, quitter — уходить, выходить, покидать (*франц.*).

— Я бы не сказал, что *хочу* уйти, — хмыкает Уоллас. — Скорее я об этом подумывал.

— Но зачем? А как же перспективы для… темнокожих?

— Что за перспективы для темнокожих? — спрашивает Уоллас, хотя и понимает: другие сочтут, что он нарывается. Они и так уже смотрят на него оценивающе, отмечая, как напряглись его предплечья, руки, уголки рта. Как опасно он прищурился.

— Ну, — пожимает плечами Роман. — Докторская даст тебе отличные перспективы, хорошую работу, блестящее будущее. А без нее… сам знаешь, что говорит статистика.

— Очаровательно, — отзывается Уоллас.

— К тому же в твое обучение уже столько денег вложено. Бросить будет как-то неблагодарно.

— То есть я должен остаться из благодарности?

— Нет, конечно, если чувствуешь, что не тянешь, действительно, лучше уйти. Но тебя сюда приняли, зная о твоих слабых сторонах, и…

— О моих слабых сторонах?

— Да. О твоих слабых сторонах. Не стану их называть. Ты сам все знаешь. Бэкграунд у тебя не самый благополучный. Понятно, что это не твоя вина, но уж что есть, то есть.

Уоллас ощущает на губах вкус пепла. Отрезает кусок запеканки и принимается вдумчиво его жевать. Слабые стороны у него определенно есть. Он не силен в биологии развития, хотя и старался в последние годы восполнить пробелы в знаниях. Еще поначалу ему не хватало практического опыта, но с этим он тоже разобрался. Однако Роман не об этих слабых сторонах говорит — не о том, что аспиранты-новички часто не представляют, что их ждет, и не могут разобраться в требованиях и правилах аспирантуры. Роман считает его слабыми сторонами недостаточно белую кожу и малую степень внешнего сходства с другими. От этих слабых сторон избавиться невозможно. Как бы он ни старался, сколько бы ни учился, какие бы навыки ни развил, для остальных, даже тех, кто неплохо к нему относится, он все равно останется лишь условно годным.

— Я задел твои чувства? — спрашивает Роман. — Но я просто хотел выразиться предельно ясно. По-моему, ты должен остаться. За тобой должок перед администрацией, согласен?

— Мне нечего тебе ответить, Роман, — с улыбкой произносит Уоллас. Лицо у него горит, руки трясутся. Он сжимает их в кулаки. На костяшках от напряжения выступают светлые пятнышки.

— Подумай об этом, — говорит Роман.

— Непременно, спасибо.

Эмма молча кладет голову Уолласу на плечо, заговорить она не решается. Никто из них не решается заговорить. Как и всегда. Молчание — их способ замять тему. Посидят несколько минут в тишине — и неловкость рассеется, улетучится в вечернее небо, как будто ее и не было. И помнить о ней будет только Уоллас. Вот что бесит больше всего. Что он единственный, для кого все это унизительно. Преодолевая тяжесть в груди, он медленно с трудом выдыхает. Роман что-то шепчет Клаусу на ухо, и они начинают смеяться.

— Эй, кто-нибудь, верните бутылку, — вежливо и в то же время резко выговаривает Лукас. Нэйтан, уткнувшись в телефон, смотрит результаты турнира по бадминтону в Сингапуре.

— Подойди да возьми, — отзывается Ингве, помахивая бутылкой в воздухе.

— Да дай ты ему ее, — фыркает Инид. — Господи.

Но Лукас уже встает, огибает стол и подходит к Ингве. Тянется к бутылке, но тут Ингве вскакивает на ноги.

— Не зевай, — смеется он, а Лукас начинает подпрыгивать, пытаясь дотянуться до вина. Он куда

ниже Ингве. Тело у него ладное, мускулистое, а лицо как у мультяшного персонажа — круглое, большеглазое. Ингве отпрыгивает назад, Лукас наступает. Они будто исполняют какой-то танец.

Нэйтан поправляет очки на носу. И смотрит, как кружатся и выгибаются эти двое. В бутылке плещется вино. На столе стоит еще одна. Инид глаз с нее не сводит. Даже со стороны видно, как напряглась ее шея. Зоуи сидит, облокотившись на стол. Плечи у нее трясутся от смеха. Миллер смотрит куда-то ей за спину, и тут Зоуи оборачивается. Взгляды их встречаются. И Уоллас чувствует — вот она, та химия, что возникает между людьми, которых влечет друг к другу.

Ингве обхватывает Лукаса за талию и отрывает от пола.

— Прости, коротышка. Здесь наливают только тем, кто вот досюда дорос.

— Ингве, — бурчит Лукас. Но, не справившись с собой, заливается краской.

— Ну что за детский сад? — бросает Инид. Хватает вторую бутылку и грохает ею о стол. Та, однако, не разбивается. — Возьми эту.

Ингве опускает Лукаса на пол, и тот берет у него из рук вино. Ингве больше не дразнит его. Тяжело дыша, занимает свое место за столом.

Нэйтан опускает глаза с той чопорной деликатностью, с какой люди обычно застилают колени полотняной салфеткой. Уоллас вдыхает сладкий густой аромат вина.

Коул нервно хихикает.

«Они все время смеются. Вот в чем дело», — понимает Уоллас. Это их способ существования. Смеяться и молчать, молчать и смеяться — и так по кругу. Это дает возможность плавно скользить по жизни, ни о чем не задумываясь всерьез. Ему по-прежнему не по себе, но постепенно неловкость рассеивается. Они с Винсентом ненадолго встречаются глазами. И Уоллас снова утыкается в тарелку.

Безвкусная, пресная, странная по консистенции, уродливая на вид пища белых. Уоллас ест. Сжимает зубы. Под кожей кипит ледяная ярость.

Роман и Винсент переглядываются. И Коул это замечает. Теперь все трое смотрят друг на друга.

Уоллас думает о Питере. О матери. Об отце. О Хенрике. О Дане.

— А вы, ребята, сегодня в теннис играли? — спрашивает Винсент. И банальность этого вопроса обнажает ярость Уолласа, сдирает с нее кожу.

— Да, отлично размялись, — отзывается Коул.

— Поболтали о том, о сем. Здорово было.

— Да уж, не сомневаюсь, — кивает Винсент.

— Так что, Винсент, ты вчера в приложении просто из любопытства лазил или искал, кого бы трахнуть? — спрашивает Уоллас, широко улыбаясь и сверкая зубами.

Все резко замолкают. Коул застывает. Роман оборачивается к ним. А Винсент слегка зеленеет.

— Что? — бормочет он. — Что ты сказал?

— Я вечером увидел тебя в приложении и подумал, ну… может, вы договорились об открытых отношениях? — спрашивает Уоллас так непринужденно, словно интересуется, идет ли ему футболка такого цвета. И переводит взгляд с Винсента на Коула. Произнести это оказалось легко, куда легче, чем сейчас у него на душе, потому что на самом деле ему хочется сдохнуть. И все же приятно, что в кои-то веки врасплох застали не его.

Коул под столом хватает Уолласа за колено и сжимает его крепко, до боли. И этого ощущения Уолласу почти достаточно, чтобы пережить происходящее. Голова раскалывается.

— Я… Я…

— Это правда, Винсент? — спрашивает Коул, не уличая Уолласа во *лжи*, поскольку для него — в отличие от Уолласа — выяснить правду жизненно важно.

— Я не… Я не хотел… Я…

— Вау, — Роман негромко хлопает в ладоши. — Рад за вас. Это здорово.

— Да, отлично, — убежденно кивает Клаус. — Мы вот ни разу не пожалели, что решились.

— Ты пользовался приложением? — Коул дает выход ярости и боли. И разворачивается к Винсенту вместе со стулом. — Мы же пока договорились только подумать об этом. Но ты уже это сделал, у меня за спиной? Почему?

Уоллас наблюдает за Винсентом очень внимательно. На лице его ярче, чем обычно, проступает затравленное, молящее о поддержке выражение. К нижней губе пристали крошки еды. Рот блестит от жира. Выпуклый лоб, нависающий над маленькими глазками, как защитный уступ, прорезают морщины. Есть люди, которые в момент шока становятся более открытыми, распахнутыми настежь, но Винсент не из их числа. Он, наоборот, уходит в себя, как будто бы делается меньше и тверже на вид. И Уоллас вроде как горд за него и в то же время разочарован, что не получил более впечатляющей реакции. «Все верно, Винсент, — думает он, — не показывай никому, что тебя в пот бросило». Но где-то глубоко внутри, в самой низменной части его натуры, начинает

ворочаться гнев. Как так, он поквитался с ними, но не получил удовлетворения. Эта мерзкая, мелочная часть его сущности наслаждается происходящим, трепещет в предвкушении, и очень жалеет, что Винсент не оказался более взрывной натурой.

— Срань господня, — бормочет Лукас. — Срань господня.

— Боже мой, — Ингве вскакивает на ноги и уже хочет броситься к ним, но, подумав, понимает, что не стоит лезть в чужие разборки, и садится обратно.

— Я просто смотрел, Коул. Я не собирался ничего делать. Просто смотрел.

— Но почему ты мне не сказал? Почему не предупредил?

— Не знаю. Боялся, что ты скажешь «нет». Боялся, что мне захочется, чтобы ты сказал «да». Не знаю… Вот дерьмо, — глаза у Винсента мокрые. Он вот-вот разревется. Теперь на Уолласа наваливается чувство вины — тяжкое, неподъемное. Он судорожно сглатывает. Глаза жжет. Коул уже тихонько всхлипывает, все сильнее стуча ладонью по его ноге.

— Почему меня тебе недостаточно?

— Дело не в том, что тебя ему недостаточно, —

пытается вмешаться Роман, но Коул оборачивается к нему и рявкает:

— Заткнись, Роман. Я не с тобой разговариваю.

Роман изумленно поднимает брови. И откидывается на спинку стула.

— Но вы разбираетесь прилюдно. Я предположил, что вы не против стороннего вмешательства.

— А можно ты, блядь, не будешь пытаться сунуть свой член в наши отношения?

— Оу, кто-то, наконец, отрастил яйца, — Роман снова хлопает в ладоши, на этот раз громче. — Кто-то наконец стал мужчиной. Однако позволю себе дать маленький совет. Если не хочешь, чтобы твоего парня трахал кто-то другой, может, будешь делать это сам?

— Винсент, о чем это он?

— Нет-нет-нет, — Винсент прячет лицо в ладонях. — Нет-нет-нет, это невыносимо.

— Винсент, о чем он говорит?

— Блядь, — стонет Винсент. — Блядь.

Клаус, красный от злости, грозно смотрит на Романа, тот же снова принимается жевать.

— Твою бога душу, — ругается Миллер. Кажется, впервые за весь ужин Уоллас слышит его голос. Эмма обнимает Коула, который неотрывно смот-

рит на Винсента.

— Ну-ну, малыш, — говорит она. — Малыш, успокойся. — Она гладит Коула по спине и тянет за руку, призывая встать из-за стола и спрятаться где-нибудь вместе с ней.

Уоллас даже не пытается делать вид, что нисколько не виноват в случившемся. Коул, наверное, никогда его не простит. Но ведь на самом-то деле он всего лишь дал ему то, что ему было нужно и о чем он сам не решался попросить. К тому же, разве не для этого Коул и пригласил его? Да, Уоллас поступил так со злости, из желания кому-нибудь насолить. Но разве в итоге не произошло нечто важное? Покосившись влево, он видит, как Винсент рыдает, уткнувшись в ладони, а Коул смотрит в пустоту, как каменное изваяние. Роман и Клаус ругаются, сыпля сердитыми французскими и немецкими словами.

Ужин испорчен, это очевидно, но Уоллас голоден и продолжает есть. Он съедает суп, несмотря на то что в нем слишком много помидоров. Съедает запеченные баклажаны, салат, картофельное пюре, плов, пасту с оливками, домашние равиоли. Внутри словно открылась бездонная дыра, заполнить которую можно только едой. Он жует и жует, и снова накладывает закуски в опустев-

шую тарелку. Капуста, хумус, хрустящий лаваш, соленые крекеры. И десерты на любой вкус: его фруктовый салат, пирог с пеканом, тыквенный кекс, вишневый тарт, лимонные брусочки и разные виды печенья. Он съедает их все, отправляет в рот кусок за куском, крошку за крошкой. Кроме него за столом никто уже не ест, остальные сидят, разбившись на группки, и тихонько обсуждают случившееся.

Уоллас не поднимает глаз. В первый год обучения — вскоре после того, как Дана убедила Эдит, что он перепутал реагенты — он часто обедал в одиночестве в библиотеке на третьем этаже. Разогревал лапшу быстрого приготовления в кухонной микроволновке, а затем, плотно закрыв коробку крышкой, чтобы горячий бульон не выплеснулся ему на ноги, уходил прочь по коридору и стыдливо прятался в одном из отдельных кабинетов. Там он и обедал, просматривая во время еды видеоролики в телефоне. В узкое окно вползали солнечные лучи и золотым узором ложились на стол. Целый месяц он обедал в одиночестве, пока однажды его не застукал Хенрик. Как-то раз Уоллас поднял глаза и обнаружил, что тот стоит за дверью и смотрит на него сквозь маленькое окошко. Он подпрыгнул от неожидан-

ности и опрокинул коробку с лапшой. Хенрик помрачнел. Уоллас опустился на колени и стал собирать остатки испорченного обеда. И тогда Хенрик распахнул дверь и сказал: «Что это ты тут делаешь? У нас вообще-то кухня есть». А затем скрестил руки на груди — на рубашке от них остались влажные пятна — и так и стоял, пока Уоллас не собрал все и не отправился выкидывать свой обед. После этого случая он долго еще не ел в лаборатории, а Хенрик каждый день, в районе трех часов, доставал свой перекус и, выходя из их отсека, оглядывался на Уолласа через плечо. Теперь Уолласу кажется, что во взгляде его читалось сожаление. Сожаление и что-то еще. Обидно, что сам он ни разу так и не решился предложить Хенрику пообедать вместе. Кто знает, может, в тот раз Хенрик явился в библиотеку вовсе не для того, чтобы отругать его, а для того, чтобы что-то ему предложить — дружбу, например. Но от застенчивости и неловкости все испортил. А может, это Уолласу только кажется.

Все уже встали из-за стола. И вышли на кухню. До Уолласа доносятся их приглушенные голоса. Обсуждают какие-то планы. С ним никто не разговаривает. Да и с чего бы? Он испортил всем ужин.

От морковки у него саднят десны. Во рту чувствуется привкус крови. Челюсти какие-то вялые, словно вылеплены из пластилина.

— Что ты делаешь? — спрашивает Миллер. Уоллас поднимает голову и видит прямо перед собой его лицо. Вид у него слегка испуганный. Уоллас прижимает пальцы к губам и ощущает под подушечками липкую кровь. Ее немного, так, несколько капель. Видимо, он прикусил губу.

— О, — говорит он.

— Выглядишь ужасно, — замечает Миллер. Пододвигает стул и садится рядом.

— Я так себя и чувствую, — Уоллас откидывается на спинку стула и смотрит в приоткрытую заднюю дверь. Во дворе мелькает чья-то рубашка. Все уже вышли и расселись под деревом. — Натворил я сегодня дел.

— Тебе помогали.

— Не стоило этого говорить.

— Скорее всего.

Уоллас, застонав, опускает голову на стол. Хочется плакать, но вместо этого он смеется. Хотя ситуация несмешная. Совершенно не смешная. О чем они сегодня узнали? О неверности Винсента, вернее, о неком туманном, пока не подтвержденном, предположении, что Винсент может быть

неверен. О том, что Нэйтан и Инид в отношениях с Лукасом и Ингве низведены до второстепенных фигур — жуткая трагедия, конечно, хотя и не слишком неожиданная. О том, что Роман, мягко говоря, расист. Еще что-то случилось у Эммы с Томом. Зоуи показалась ему довольно милой — в том смысле, в каком бывают милыми белые, прежде чем оказаться очередным болтиком в секретном механизме, разрушающем жизни черных. Кажется, кроме как смеяться, ему ничего и не остается.

Он все хохочет и хохочет. Теплые слезы подступают к глазам. Капают на белую скатерть. На затылок опускается горячая ладонь Миллера — этакое проявление нежности. Смех внутри скручивается, как полотенце, а раскрутившись обратно, превращается в рыдания.

— Боже, — говорит он, — как я, блядь, все тут ненавижу.

— Знаю.

— Как я, блядь, вообще везде все ненавижу.

— Мне жаль.

— Не знаю, куда податься, не представляю, что делать, — продолжает Уоллас. И поскольку слова эти — чистая правда, главный аккорд, вместивший в себя всю суть его существа, звук их долго

еще подрагивает в воздухе, как камертон.

— Все не так плохо, — говорит Миллер.

— Нет, еще хуже.

— Все образуется.

— Ты этого не знаешь.

— Не говори мне, что я знаю, а что нет, — возражает Миллер и через силу улыбается. Это поблажка, дрянная поблажка, которая вызывает у Уолласа лишь раздражение. Поблажка по доброте душевной. Эта доброта стремится объять будущее, утвердиться в нем, вне зависимости от того, что еще может произойти. Миллер гладит его по затылку, смотрит сверху вниз, как добрый воспитатель в детском саду, шепчет что-то успокоительное, обещает, что все наладится. А от Уолласа требуется лишь поверить его словам и ухватиться за них.

— Вы, ребята, никогда ничего не воспринимаете всерьез, — говорит он и пытается отпихнуть руку Миллера.

Но тут же перестает, как только тот негромко отзывается:

— А, наверное, стоило бы. Мне бы точно стоило. Извини, — решительно заканчивает он. «И это тоже доброта», — думает Уоллас. Правда, немного другого сорта. Чего он не знает — но, может быть,

только может быть, это и не столь важно, — так это является ли доброта Миллера продолжением его дружеских — или иных — чувств к Уолласу, или природа ее для него оскорбительна и унизительна. Из чего вообще возникает доброта? Что заставляет людей по-доброму относиться друг к другу?

— Уоллас? — снова окликает его Миллер. — Ты слышал? Я извинился.

Уоллас кивает, все так же не отрывая головы от стола. Миллер снова начинает водить шершавым большим пальцем по его затылку.

«Доброта — это кредит», — думает Уоллас. Нечто, данное взаймы, за которое потом придется расплачиваться. Доброта — это обязательство.

На плите пронзительно свистит чайник. Кто-то готовит кофе для собравшихся во дворе. Окна открыты, и в воздухе пахнет уходящим летом и наступающей осенью. Во всем чувствуется какая-то ломкость. В кухню вползают сумерки. Миллер открывает было рот, но тут же снова его захлопывает. А затем тоже ложится на стол. Так они и сидят, словно две утки, опустившие головы в воду. Миллеру, с его высоким ростом и длинной шеей, такая поза дается непросто, но все же он справляется. Уоллас бы с радостью над

ним похихикал.

Над головой раздаются шаги. В этом доме, который теперь дышит вечерней прохладой, они не одни. В саду стрекочут цикады. Уоллас нашаривает под столом руку Миллера и крепко ее сжимает.

Со двора доносятся голоса. Кто-то поднимается на крыльцо. В кухню, шаркая сандалиями, входит Эмма, от нее пахнет кизилом и кокосом.

— Я так устала, — говорит она. Язык у нее слегка заплетается. Она немного пьяна. — Но кофе сам себя не сварит. — Эмма принимается суетиться и топать у них за спиной. Миллер медленно моргает и улыбается. Уоллас, кажется, мог бы проспать вечность. — Идете во двор?

На губах Миллера медленно расцветает улыбка, но руку Уолласа он выпускает. Эмма по-прежнему что-то делает у стойки. Кухня наполняется запахом кофе. Аромат глубокий, насыщенный — Эмма готовит пуровер, вкус у него не такой кислый, более мягкий, чем у заварного кофе. Вода, проходя сквозь фильтр, шипит и дождем льется в кофейник. Уоллас наконец выпрямляется. Эмма стоит, прислонившись к кухонной стойке, вид у нее мрачный.

— Выпью, наверно, еще пива, — говорит Мил-

лер. Он встает, и Эмма тут же занимает его стул, садится, подобрав под себя ноги.

— Уоллас, только не злись, — говорит она. Начало многообещающее. Уоллас застывает. Эмма принимается жевать дольку яблока. — Но что это такое было за ужином? На тебя это совсем не похоже.

— А что на меня похоже, Эмма? — тут же негромко спрашивает он. И этот вопрос, и его тон — вовсе не ровный и не дружелюбный — кажется, слегка обескураживают ее. Ее возмущает его возмущение.

— Ты не такой. Это был не настоящий ты.

— А когда он вдруг решил заделаться экспертом по демографии, никто и слова не сказал, верно?

— Это разные вещи. Ты ведь наверняка сделал Коулу очень больно, — говорит она.

— Это я сделал Коулу больно? А не его гулящий бойфренд?

— Уоллас, ты не знаешь их ситуации. Нельзя за других выбирать, как им жить, что для них хорошо, а что плохо. Не тебе это решать, понимаешь? Нужно было спросить его с глазу на глаз.

— О, — отзывается Уоллас, кивая. И тоже берет несколько долек яблока. Сдирает с них тонкую кожицу, пока в руках не остается лишь белая

мякоть, и смотрит, как нежные обнаженные кусочки начинают окисляться. — То есть теперь ты вдруг вспомнила, что такое право на частную жизнь.

Эмма округляет глаза. Встает на колени на стуле и тычет пальцем ему в грудь.

— Какой же ты эгоист, — говорит она. — Я рассказала друзьям о твоей утрате, чтобы тебе помочь. А ты всем рассказал о проблемах Коула и Винсента, чтобы сделать им больно. Это другое.

— А как по мне, не тебе это решать, Эмма, — парирует Уоллас. Под нежной кожей ее шеи пульсирует жилка.

— О, значит, ты тоже считаешь, что я пытаюсь всех контролировать. Великолепно. Что ж, можете с Томом обняться и поплакать по этому поводу. Мне плевать, — Эмма отмахивается от него. Она в ярости. Они спорят тихо, реплики остаются висеть в воздухе между ними. Уоллас смотрит в кухню поверх плеча Эммы, сквозь тонкую пелену ее волос.

— Я этого не говорил, — возражает он. — Я только хотел сказать, что… за меня никогда никто не вступается.

— Это не значит, что ты имеешь право ломать

жизни другим.

— Ну ясно. Я должен был просто проглотить это, так? — отзывается он. Эмма закрывает лицо руками. И содрогается всем телом. У Уолласа начинает болеть желудок. — Кстати, а где Том?

— Не начинай, — говорит она.

— Где он? Что происходит? Могли бы и ваши проблемы обсудить.

— Что касается Тома, он решил остаться дома, — отвечает она. — Прямо стихи, а? Что касается *Тома*, он решил остаться *дома* и почитать *книжку*, потому что ненавидит нашу *компашку*. — Слова ее и правда звучат, как какая-то песенка. Эмма отодвигает стул и встает. Уоллас следует за ней в кухню. Там они подходят к задней двери и выглядывают во двор, где все уже развалились на фланелевых одеялах. Ингве включил увивающую ветви высокого дерева гирлянду, и двор, раскинувшийся под низким черным небом, теперь залит очень мягким, очень белым светом. В руках у всех банки и бутылки с пивом. Из динамиков играет гитарная музыка, вроде какой-то фолк — наверное, Дилан, — думает Уоллас. Ингве лежит на спине, Лукас положил голову ему на живот. Вид у них глупый и влюбленный, но Ингве никогда себе в этом не признается, просто не сможет.

Инид и Нэйтан сидят рядом, объединенные общей печалью, которой никогда не смогут дать выход, потому что это разрушит их отношения: Ингве в любом случае выберет Лукаса, а Лукас — Ингве; им даже озвучивать этого не нужно, все понятно и так. Подобное доверие может существовать лишь в тишине, — понимает Уоллас. Заговоришь — и слова все испортят.

— Вот бы эти двое уже сошлись, наконец, — замечает Эмма. — У меня от них мигрень начинается.

— Да уж. Но, по-моему, это очень мило.

— Чтобы тебя вот так задвигали?

— Никто никого никуда не задвигает. Они оба все там же.

— Как скажешь, — бросает Эмма, обнимает его со спины и прижимается всем телом. Уоллас не вполне понимает, кого из них она хочет успокоить — его или саму себя, должен ли он от ее близости стать сильнее, или она сама напитаться от него жизненной энергией.

— Том нас не ненавидит, — говорит он. — Не может такого быть.

— Ненавидит. Уверена, что ненавидит. Он после каждой тусовки неделями на меня дуется. И разговаривать отказывается. Вот вернусь сегодня

домой, и он таким холодом меня окатит.

— Но почему?

— Он считает, что я постоянно ищу запасной аэродром.

— А это правда?

— Может быть, — признает она. — Но разве не все мы так поступаем?

— Может быть, — кивает он, и они смеются.

— Думаю, поэтому все так на тебя окрысились. Потому что ты сказал это *вслух*. Просто взял и сказал. Что хочешь бросить аспирантуру. Разрушил иллюзию, за которую все мы цеплялись. Что вся наша жизнь вот так и пройдет и что это очень хорошо.

— Но у нас, правда, хорошая жизнь, — Уоллас крепче обнимает себя ее руками. И забрасывает ноги на стоящий впереди стул. Эмма целует его в волосы, потом в ухо. Она его простила. Можно расслабиться.

— А я вот в этом не уверена. Иногда кажется, что у меня есть все, о чем я мечтала. Исследования. Стабильность. Учеба. Но порой я так несчастна, что плакать хочется.

— И я тоже.

— Мне кажется, у всех так. Мы все тут охрененно несчастны. Но услышать, как кто-то произносит

это вслух… Это все равно, как если бы ты начал богохульствовать в церкви.

— В церкви?

— Да брось, ты меня понял. Ты заговорил — и я сразу: «О, нет, о, нет!» Сначала мне обнять тебя захотелось. Потому что на меня тоже иногда такое накатывает. А потом придушить, чтобы заткнулся и не заставлял нас всех об этом думать.

— Разница в том, — рвется у Уолласа с языка, — что у тебя есть возможность об этом не думать. Его несчастье вовсе не уникально. У всех случались неудачные эксперименты, испорченные опыты. Ингве как-то на второй год обучения не смог вырастить кристаллы, потому что неверно рассчитал концентрацию калия в буферном растворе. А Миллер однажды уничтожил в своей лаборатории популяцию бактерий, которая уже лет двадцать переходила по наследству от аспиранта к аспиранту. А все потому, что вытащил из морозильника где температура была -80 °C, сразу весь контейнер и потратил все бактерии на порцию нерабочей вакцины. Был еще случай, когда Эмма забыла загрузить на университетский сервер последние полученные данные, а ее ноутбук сломался, да так, что восстановить ничего не удалось, и пришлось заново проводить экс-

перимент, на который она потратила несколько недель. А Коул как-то раз вылил в канализацию кислоту и попытался смыть ее хлоркой, после пришлось эвакуировать весь четвертый этаж. У всех случались ситуации, когда что-то шло не так, и приходилось задавать себе вопрос, действительно ли ты хочешь тут остаться. Едва ли не каждый день приходилось решать, такой ли жизни ты хочешь, и каждый раз они отвечали: *да, такой, именно такой.* Но все это были привычные несчастья, подстерегающие каждого на пути становления кем-то значимым. Несчастья, с которыми можно смириться, потому что они неизбежны. Однако существуют и другие несчастья. Те, что исходят от людей.

Может, вот что Дана пыталась ему сказать? Что он не единственный, кому порой приходится туго? Что у него нет монополии на несчастье? Но это другое. Так ему хотелось ответить ей тогда, то же он готов повторить и сейчас. Это другое. Как ты не понимаешь? Это разные вещи.

Он мог бы попытаться объяснить это Эмме. Вполне мог бы. Но он отлично знает, что будет дальше. Уоллас расправляет плечи. Если бы он попытался рассказать ей об этом, она бы лишь покачала головой. Отвергла бы его пояснения.

Сказала бы, что он просто себя жалеет, что никакой он не особенный. И что не он один порой чувствует себя в лаборатории самозванцем. И, наверное, доля правды в этом есть. Но эта доля правды для него особенно опасна. Ни один из них не понимает, что им со временем станет легче, а его несчастье будет лишь менять форму. Эмма скажет: «Ну-ну, Уолли, держись», — улыбнется и обнимет его. И будет любить его и изо всех сил стараться понять. Ему же останется лишь принять это и промолчать. Она почувствует, что что-то не так, начнет допытываться, но он ее разубедит. И все вернется на круги своя, они заживут дальше, как будто ничего и не случилось.

— Понятно, — говорит Уоллас.

Возвращается Миллер с пивом и блюдцем претцелей. Эмма отмахивается от него, Уоллас тоже качает головой.

— Отнесу-ка я всем кофе, — говорит она. — Помоги мне.

Уоллас берет поднос, на котором расставлены разношерстные кружки с логотипами футбольных клубов. Есть среди них и та, красивая, вишневого цвета, которую он как-то преподнес одному из парней во время обмена подарками. А сам в ответ получил маленькую резиновую уточ-

ку и со смехом продемонстрировал ее друзьям. Почему-то кажется, что с тех пор сто лет прошло.

На улице стало еще прохладнее, небо над забором окрасилось в темно-синий цвет. Вдали сияет огнями здание Капитолия, все какое-то белое и прозрачное, словно мираж. Уоллас расставляет чашки на стоящем во дворе столике из деревянных ящиков. Эмма приносит кофейник, сливки и сахар. Затем Уоллас садится на край одеяла, Миллер устраивается рядом с ним. Эмму это нервирует, но в итоге она занимает место прямо перед Уолласом, и он обвивает ее руками.

Ингве, склонившись над столиком, разливает кофе, затем поднимает голову и замечает Миллера. Выпрямляется и, ухмыльнувшись, объявляет:

— Отлично, отлично. Наконец-то все в сборе. Идеально.

Лукас и Нэйтан теперь лежат рядом, взявшись за руки. Коул и Винсент негромко разговаривают возле садика. Кругом царит мир и покой.

— Так, Миллер, иди-ка сюда, — Ингве призывно машет ему рукой, и в конце концов Миллер подчиняется. Уоллас смотрит ему вслед. Место Миллера тотчас занимает Роман. Клаус, стоя под деревом, говорит что-то по-немецки в телефонную трубку. Ингве тащит Миллера к Зоуи. На той

теперь надет какой-то жуткий кардиган, темный, бесформенный, с дырой на плече. К тому же он явно ей велик.

— Уоллас, — окликает его Роман. Уоллас поднимает глаза и смотрит, как тот устраивается на месте Миллера. Он кивает в ответ. От Романа пахнет джином. Он переводит взгляд на Клауса, затем снова смотрит на Уолласа и, подмигнув, с улыбкой сообщает: — У меня большие неприятности.

— Бывает, — отвечает Уоллас.

— И эти тоже не отстают, — Роман указывает глазами на Коула и Винсента.

— Такое уж время года, — отзывается Уоллас.

— Ты меня сегодня удивил, — говорит Роман. Эмма выворачивает шею, чтобы взглянуть на него.

— Я сам себя удивил.

— Тшш! — шикает на них Эмма. — Глядите, Ингве заделался сводней.

Уоллас пытается расслышать, о чем говорят Миллер с Зоуи. Та общается, в основном, руками. Жарко, размашисто жестикулирует. Кажется, изображает какие-то альпинистские приемы. Делает вид, что хватается за камень и взбирается на неприступную скалу. Миллер кивает. И тоже

начинает что-то изображать. Ее руки ложатся ему на бедра, исправляют позу, затем сжимают запястья и принимаются двигать его руками. Ингве громко смеется и хлопает Миллера по спине.

— А я и не знал, что ты, Уоллас, пользуешься приложением. Думал, ты выше этого. Я тебя там и не видел-то никогда.

— Я тебя забанил, — отвечает Уоллас, не сводя глаз с Миллера и Зоуи. Подобные парочки он часто видит на пристани, или в кафе, или в парке с колясками. Перед такими весь мир открыт. Миллер скрещивает руки на груди. И подпирает кулаком подбородок.

— Вот сейчас было обидно, — говорит Роман.

— Сомневаюсь.

— Не сомневайся. Не то чтобы прям сильно обидно, но неприятно. Мы ведь все-таки друзья, нет?

— А ты для этого приложением пользуешься, Роман? Чтобы общаться с друзьями?

— Иногда, — отвечает тот. — А ты что там делаешь? Ищешь программы для желающих похудеть?

Уоллас оборачивается к Роману, наконец обращая на него внимание, чего тот и добивался.

— Чего тебе надо, Роман?

— У меня есть теория, — отзывается тот, — есть теория, что ты соврал. Что это не ты видел Винсента в приложении.

— Заткнись, — обрывает его Эмма. — Становится все интереснее.

Уоллас, проследив за ее взглядом, снова смотрит на Миллера и Зоуи. Но те по-прежнему просто разговаривают. Ингве стоит, положив руку Миллеру на плечо, но сам смотрит в сторону, на лежащих рядом Лукаса и Нэйтана. Никаких признаков того, что ситуация как-то переменилась, стала интереснее, нет. Уоллас ничего не понимает. Злится. И щиплет Эмму за бедро. Та взвизгивает от боли.

— Глаза тебе на что, дурачок? Смотри!

И Уоллас смотрит.

— По-моему, ты кого-то покрываешь, — не отстает Роман.

Уоллас смотрит, смотрит и, наконец, видит: видит лицо Ингве. Сначала тот стоял так, что оно было в тени, но теперь меняет позу, лицо попадает в луч света, и сразу становится заметно, как он взбешен. Пожирает глазами Лукаса и Нэйтана, и челюсть его ходит из стороны в сторону. Он все сильнее сжимает плечо Миллера, и в конце концов тот хватает его за запястье.

— Эй-эй, Ингве, чувак, пусти-ка меня, — говорит он. Ингве изумленно оборачивается на него, но тут же приходит в себя.

— Думаю, Коула, — наконец выдает Роман. — Думаю, ты покрываешь Коула, — выдыхает он Уолласу в ухо. Дыхание у него влажное и теплое. Уоллас резко оборачивается, и они сталкиваются нос к носу. Теперь Уолласу отчетливо видны алые волоски в бороде Романа. Его гладкие щеки. Вид у него вблизи почти невинный. А ноздри вдруг раздуваются. Уоллас, как завороженный, следит за игрой света в его глазах. Что в них такое? Желание выкинуть какую-то каверзу? Но и не только оно, есть что-то еще. Уоллас вдруг вспоминает, как всего пару секунд назад язык Романа влажно причмокивал возле его уха, и его пробирает дрожь.

— Что за игру ты затеял? — спрашивает он.

— Это не игра, — отвечает тот. И неожиданно оборачивается к Эмме: — Как там Том?

Та, вздрогнув, отхлебывает кофе из кружки. Кажется, она постепенно начинает трезветь.

— О, прекрасно. Пишет эссе о Толстом.

Снова налетает ветер, и ветви деревьев приходят в движение. Уоллас поднимает глаза. Над головой мелькает белое брюшко — это птич-

ка. Поначалу она летит низко, но постепенно взмывает все выше и вскоре перемахивает через забор.

— О Толстом? Мне больше по вкусу Золя, — улыбается Роман.

Эмма сдержанно кивает. И снова отпивает из кружки с эмблемой «Пэкерс»[8]. Миллер оглядывается назад. Их с Уолласом взгляды встречаются, и Уоллас отводит глаза. Роман неотрывно наблюдает за ним.

— Очаровательно, — фыркает он.

— Тебе бы к окулисту сходить, — замечает Уоллас куда невозмутимее, чем стоило бы.

— Чтобы лучше тебя видеть, дитя мое? — широко улыбается Роман.

— Прошу прощения, — говорит Уоллас. — Эй, Эмма, мне нужно встать.

— Зачем? — недовольно вопрошает Эмма. Она наконец-то удобно устроилась, и тут такое.

— Хочу в туалет, — предельно вежливо отвечает он. Отстраняется от нее и встает на ноги. Идет к дому, поднимается на крыльцо, и все это время Роман глаз с него не спускает. Уоллас чувствует спиной его давящий взгляд.

---

[8] Примечания: 8

«Грин-Бей Пэкерс» — команда по американскому футболу из города Грин-Бей, штат Висконсин.

Ему все же удается добежать до ванны, прежде чем его начинает выворачивать. Все, что он проглотил за ужином, просится наружу. Мерзким месивом оседает в унитазе. Желудок скручивает спазмами, лицо горит. Голова раскалывается, и от каждого нового вдоха где-нибудь начинает ныть. Он ненавидит Романа. Ненавидит так сильно, что готов растерзать его голыми руками.

* * *

Уоллас сидит на краю ванны и сосет кубик льда, когда кто-то вдруг негромко стучит в дверь. Поначалу он думает, что это Эмма, и потому не отзывается. Она либо поймет намек, либо просто войдет. Уоллас перекатывает во рту лед. Пытается прийти в себя. В дверь снова стучат, на этот раз громче. А затем раздается голос Миллера:

— Уоллас, ты еще там?

— О, прости, тебе в туалет нужно? — спрашивает он.

Миллер распахивает дверь, входит. Садится на крышку унитаза.

— Что случилось? Я обернулся, а тебя уже и след простыл.

— Ничего, просто мне стало как-то не по себе, и я ушел.

Миллер прикладывает ладонь к его лбу и хмурится.

— Ты что, заболел? Температура поднялась?

— Ответ отрицательный. На оба вопроса.

— Но лоб у тебя теплый.

— Лето же, — говорит Уоллас. И снова перекатывает кубик льда во рту. Миллер внимательно его разглядывает.

— Хочешь полежать? У меня в комнате прохладно. Вентилятор работает.

Идея спрятаться от всех, побыть одному в темном прохладном помещении звучит очень заманчиво.

— Да, — отвечает он, и Миллер кладет руку ему на затылок.

— Хорошо, — говорит он. — Пошли.

В доме темно. Они поднимаются по лестнице на второй этаж и сворачивают налево. Миллер занимает длинную угловую комнату. С круглым окном, из которого открывается вид на синеющее в отдалении озеро. Стены в ней увешаны картами и открытками, на подоконнике несколько подушек и теплый плед, а под ним — заваленный книгами шкафчик. Широкая удобная кровать застелена лоскутным одеялом. В комнате пахнет Миллером — апельсинами и солью. У шкафа

стоит его велосипед. Половицы поскрипывают под ногами.

— Сюда, — кивает на кровать Миллер. Тут и правда куда прохладнее, чем во всем остальном доме. В другом окне, перегоняя воздух, жужжит вентилятор. Миллер тянется к выключателю, но Уоллас качает головой.

— Не надо, — говорит он. — Так хорошо.

Опускается на кровать, растягивается на спине и смотрит в потолок, который кажется слишком низким для Миллера.

— Хочешь, чтобы я ушел?

— Ты все пропустишь, — говорит Уоллас.

— Я бы лучше остался.

— А как же ледяная девушка?

— Ледяная девушка?

— Ну та, которая колола лед. Она пришла ради тебя. Не стоит ее разочаровывать.

— Ты про Зоуи? О, у нее все хорошо.

— Она сочла тебя забавным парнем. Я видел.

Миллер стоит у закрытой двери и поигрывает дребезжащей ручкой.

— Не знаю, какого ответа ты от меня ждешь.

— Никакого, — говорит Уоллас. Спор отнял у него последние остатки энергии. Он накрывает лицо подушкой. От нее так приятно пахнет —

Миллером.

— Я хочу остаться.

— Так оставайся. Ты у себя дома.

Миллер ложится рядом с ним, на бок. Кладет руку ему на живот, и Уоллас немедленно чувствует себя беззащитным. Хочется отпихнуть его руку, остаться в одиночестве. Миллер подкатывается ближе и утыкается лицом ему в плечо. И ногу забрасывает на ногу Уолласа. Прямо как в тот раз, когда они лежали в его постели.

— А если войдет кто-нибудь? — спрашивает Уоллас.

— Пускай.

— Ты же не хочешь, чтобы о нас узнали.

— Что узнали? Ингве и Лукас постоянно так делают.

— Но мы не Ингве и Лукас. Мы раньше так себя не вели.

— А как мы раньше себя вели?

— Не знаю, собачились? Ты постоянно ко мне цеплялся.

— Ничего подобного. Это ты ко мне цеплялся. Вечно зыркал на меня глазами в коридоре. Я вообще долго думал, что ты меня ненавидишь.

— Как тебя можно ненавидеть? — возражает Уоллас. — Ты же такой милый.

— Стараюсь.

За окном кто-то безуспешно пытается завести машину. По улицам носятся чьи-то дети. Стоят последние летние деньки, скоро ночи станут длиннее. Как можно упускать все это, торча в комнате с кем-то, кто то ли болен, то ли нет?

— Ты пропустишь вечеринку, — говорит Уоллас.

— Мне все равно. Да и по-любому все уже расходятся, — уверяет Миллер, обдавая жарким дыханием его плечо. И Уоллас сдается. Слишком трудно было бы от этого отказаться, слишком трудно было бы остаться одному в темноте после того, как он уже побыл там с Миллером. Чего он по-настоящему боится — этот холодный блестящий страх так и скребет внутри — что никогда уже больше не сможет оставаться в темноте в одиночестве. И, утратив то, что у него есть сейчас, всегда будет снова и снова стремиться его найти.

Миллер гладит его по животу — какой-то давно исчезнувшей части Уолласа знакомо это движение. Белая занавеска колышется на ветру. Где-то внизу, под окном, смеется Ингве.

— По-моему, Роман что-то подозревает. Он такие странные вещи говорил, — замечает Уоллас.

— Да и пусть.

— Тебя это не беспокоит?

— Нет. Не настолько, как я думал.

— О.

— А тебя беспокоит? — спрашивает Миллер так встревоженно, что Уолласу хочется плакать. — Ты, помнится, раньше говорил, что предпочитаешь быть один.

— Ну да, наверное, я бы предпочел быть один, — подумав, отвечает Уоллас. — Но то, что мы вместе, меня не беспокоит.

— Это хорошо, — Миллер, не сдержавшись, смеется. — Хорошо.

— Ты такой забавный, что я уж как-нибудь потерплю.

— Точно. Ты как-то сказал, что я похож на мальчишку в теле взрослого мужчины.

— Правда?

— Да, тогда у костра, когда мы только познакомились. Прямо так взял и сказал мне в лицо.

— Неудивительно, что ты решил, будто я тебя ненавижу.

— Неудивительно.

— Я не хотел тебя обидеть.

— Я понял. Не сразу, но понял.

Они поворачиваются друг к другу. Не как вчера в квартире Уолласа, когда все казалось таким

неопределенным и они, ведомые желанием, просто не знали, что еще делать со своими телами. Сейчас они поворачиваются друг к другу по собственной воле, и все происходит очень просто. Уоллас утыкается лицом Миллеру в грудь, Миллер кладет руку ему на бедро. Так они и лежат.

— И все же ты бы предпочел быть один, — говорит Миллер. — Не хочешь лишних сложностей?

— Я бы предпочел быть один. Или, вернее, я бы предпочел быть человеком, который предпочел бы быть один. Довольно сложно хотеть быть с кем-то, когда люди либо испаряются из твоей жизни, либо умирают.

— Я в ближайшее время умирать не собираюсь.

— Но ведь можешь. Это в любой момент может случиться. И я тоже в любую секунду могу умереть.

— Ты такой пессимист. Жуткий пессимист. Я раньше и не подозревал.

— Мой отец умер внезапно.

— Ох, да, точно, прости.

— Люди умирают, а ты с ними и не познакомился толком. Только и остается гадать: «А что, если бы… А как все могло бы быть…»

— Моя мама… Ну ладно, я тебе уже рассказы-

вал.

— Прости, — Уоллас целует горло Миллера. Кожа здесь колючая, а под ней прощупываются твердые мышцы и хрящики.

— Но, как я и сказал, я в ближайшее время умирать не планирую. Побуду тут еще чуток.

— Но нас двое, — возражает Уоллас. — Слышал же всю эту хрень за ужином.

— Я надеюсь, что ты останешься. Но если ты всерьез хочешь бросить, тогда надеюсь, что ты уйдешь. Оставаться можно только ради себя, не ради кого-то другого.

— Так странно. Говорят: займись наукой, и у тебя всегда будет работа. И кажется, что все так просто. Но никто не объясняет, что есть и другие аспекты, из-за которых ты вскоре возненавидишь свою жизнь.

— Ты правда так ее ненавидишь?

— Вспомни, что Эмма сказала. Порой мы все ее ненавидим.

— Ну да, и я тоже. Но все же больше люблю, чем ненавижу.

— Но из-за мудаков типа Романа, — рычит себе под нос Уоллас, — временами становится совсем невыносимо.

— До сих пор не верится, что он такое тебе

сказал.

— И никто его не одернул, ни один человек.

— Я хотел, но… Наверное, струсил.

Уоллас замирает в объятиях Миллера. Так будет всегда. Рядом всегда будут славные белые, которые любят его и желают ему добра, но предать его боятся чуть меньше, чем вызвать недовольство других белых. Им всегда будет проще промолчать, а после попытаться залечить его раны, чем выступить открыто и внести в ситуацию элемент неизвестности. Какими бы добрыми они ни были, как бы сильно его ни любили, они все равно останутся соучастниками, ожидающей своего часа раной. Как бы сильно Миллер ни любил его, как бы страстно ни желал, они все равно не станут ближе. Между ними всегда будет оставаться прогалина, куда смогут влезть уроды типа Романа и наговорить гадостей. Это то местечко в сердце каждого белого, где пускает корни и расцветает расизм, не широкая поляна, нет, узкая расселина, но большего ему и не нужно.

Уоллас цокает языком и приговаривает:

— Славные белые.

— Извини.

— Все нормально.

В комнате становится все темнее и свежее.

Солнце уже село. В ветвях деревьев шелестит ветер. Во дворе ребята рубят дрова. Разводят костер. На стенах дрожат оранжевые отсветы, порой мимо окна, словно светлячки, пролетают искры.

— Уоллас?

— Да?

— Расскажи мне о себе.

— Зачем?

— Просто хочу знать. Хочу знать о тебе все.

— Да нечего там знать.

— Пожалуйста, — не отстает Миллер. — Пожалуйста.

Уоллас обдумывает его вопрос, пытается разгадать, какие за ним скрываются намерения. Что за странная просьба? Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то в последний раз пытался что-то о нем узнать? Конечно, есть Бриджит, девушка, которой он многое рассказывал, но которая, вероятно, все равно очень мало о нем знает. И Эмма — у той есть собственные способы все разузнать о человеке. И все же людей, которые хоть что-то о нем знают, совсем немного, потому что, обосновавшись тут, он сбросил прежнюю жизнь, как старую кожу. Вот в чем плюсы переезда в незнакомый город. Тут никто не знает тебя прежнего, всем известно о тебе лишь то, что ты рассказал

сам. Здесь, на Среднем Западе, у него появился шанс создать новую версию себя — версию, лишенную семьи, лишенную прошлого, вылепленную именно так, как он считает нужным.

Его никогда еще так прямо не просили рассказать о себе, поведать свою историю. Миллер уже теряет терпение. Уоллас понимает это по тому, каким прерывистым становится его дыхание. Выждать еще чуть-чуть — и он задаст другой вопрос, попроще, вопрос, на который легче будет ответить. Спросит о чем-то менее всеобъемлющем, может, о том, как Уоллас оказался здесь.

Уоллас мог бы в ответ поведать, что приехал сюда на «Грейхаунде»[9]. Рассказать о Мексиканском заливе и горах Северной Алабамы. О белых хлопковых полях и о бобах, при сборе которых ладони окрашиваются в синий или фиолетовый. Он мог бы воскресить в памяти кучу мелких деталей, за которыми померкнет то, другое, огромное и жуткое. Но Миллер спрашивает его не об этом. Не это он просит рассказать.

Собственная история сейчас кажется ему чем-то темным, холодным и далеким, и все же она в нем, осела внутри, словно засохшая кровь. Миллер

---

[9] Примечания: 9

«Грейхаунд Лайнз» — автобусная компания в Северной Америке.

лежит с открытыми глазами. Он не отступит.

— Расскажи мне, — повторяет он.

Голос у него требовательный, но нежный. Таким тоном задают заведомо неловкие вопросы. Что ему сказать, как поступить? Как в такой ситуации в принципе можно поступить? Уйти от ответа уже не получится.

— Даже не знаю, с чего начать, — говорит он.

— С чего хочешь. С любого места, — Миллер явно не ожидал, что ему так повезет. Он блефовал.

Со двора до них доносятся голоса друзей. Все смеются. Похоже, там тоже рассказывают истории.

— Ты уже и так все знаешь, — говорит Уоллас.

— Нет.

— Знаешь, что я из Алабамы.

— Это знаю, да.

— Собственно, вот и все.

— Нет, не все. Не все.

— Зачем оно тебе?

— Потому что я хочу узнать тебя.

— Но мое прошлое тут ничего тебе не даст. Я тот, кем сам себя считаю. Во мне нет ничего загадочного или таинственного. Я это я, а тот прошлый «я» мной не был.

Миллер вздыхает. И Уоллас вздыхает. Так они

ни к чему не придут.

— Ты твердо решил остаться непостижимым.

— Все мы непостижимы.

— Я — нет, — возражает Миллер. — Я что угодно могу о себе рассказать.

— Потому что ты хороший.

— И ты хороший.

— Я — нет.

— Да.

— Нет, я — нет, это факт.

— Ты хороший, — говорит Миллер. Целует Уолласа, ложится на него сверху и снова целует. — Очень хороший.

Он повторяет это снова и снова, и Уолласу кажется, что он с каждым разом все дальше уплывает от Миллера, все глубже погружается в себя и в конце концов больно бьется о твердое холодное дно своего прошлого. Оно где-то там, внизу, колышется, как морская вода под коркой льда. Миллер целует его плечи, шею, губы, целует, потому что так проще, потому что, пока они целуются, можно не разговаривать, не продолжать спор, который грозит привести к разрыву. Уоллас запускает руки Миллеру под рубашку, расстегивает ее и гладит пальцами его живот.

Миллер лежит на нем, устроив голову у него на

груди. «В такой позе секса им не видать», — понимает Уоллас. Миллер пригвоздил его к кровати. Проходит пара минут, и дыхание его становится глубже и ровнее. Миллер задремывает, он такой тяжелый и теплый, что вскоре Уоллас и сам начинает клевать носом. Но ровно в ту секунду, как он уже готов провалиться в глубокий сон, за окном раздается громкий треск, и в воздух взмывает облако оранжевых искр. В первый момент Уолласу кажется, что ударила молния и прогремел гром, — две силы, без которых не обходится ни одно лето на Юге, где погода всегда неистовствует, заряженная какой-то странной магией.

Уоллас, охнув, выкатывается из-под Миллера. Тот тянется к нему в темноте. На несколько секунд они замирают, не произнося ни слова. Только дышат. А потом Уоллас говорит:

— Ладно, я расскажу.

5

В наших краях часто случались бури — гром, молнии, ветрище поднимался такой, что иногда вырывал деревья с корнем. В одно лето лило так сильно, что в земле ничего не удерживалось. Семена вымывало с грядок, и в итоге помидоры и капуста выросли у нас в кустах шиповника. Вот что всегда вспоминается мне первым — запах сырой земли, прибитая ливнем жара и серый туман, что стелется над полями после сильной грозы. Черно-серые и темно-лиловые тучи. Когда буря стихала, они расползались по небу, и сразу становилось понятно, откуда она пришла, потому что в лесу оставалась широкая прогалина от поваленных влево и вправо деревьев, словно сквозь чащобу пробирался огромный дикий зверь. А холм, возвышавшийся над лощиной, ярко вспыхивал: повисшие на листьях капли сияли, словно звездочки, словно пробуждающиеся к жизни крошечные галактики. Вскоре выползали муравьи. Они набрасывались на принесенные бурей дары и деловито уволакивали их в свое логово. Как-то раз к стене дома лив-

нем прибило дохлую крысу. Она валялась там грязным клоком серо-белой шерсти, а у пасти ее кишели муравьи, заползали внутрь, выбирались наружу, и казалось, что крыса дышит, что это составленный из крошечных черных существ воздух сквозит меж ее зубов. В другой раз ураган разорил птичьи гнезда, повыбрасывал на землю птичек с голубоватой, прозрачной, как свежий лед из автомата, кожицей и широко раскрытыми розовыми клювиками. Изящные мягенькие создания с косточками настолько легкими, что поток теплого воздуха мог запросто подхватить их и унести за собой в небо, теперь они валялись в грязи, облепленные муравьями так густо, что их можно было принять за черную змеящуюся птичью кожу. Птицы валялись в тени под кустами, невидимые до поры, однако рано или поздно ты, пробегая мимо, замечал их и вздрагивал всем телом в ужасе от осознания, что прямо тут, рядом с тобой, кто-то умирает или уже умер. Да, такие там были бури, налетали из ниоткуда и исчезали, оставляя после себя облепленных муравьями мертвецов и серый туман, призраком маячивший меж деревьями. Когда начиналась гроза, бабушка и дедушка выключали в доме свет, и мы, обливаясь по́том, сидели в полной темноте,

не смея пошевелиться, и лишь все крепче вцеплялись пальцами в торчащие из ковра нити. Порой мы ерзали, не в силах усидеть на месте, и тогда между пальцев забивались крошки. Над нами кружили жирные черные мухи, иногда с жужжанием проносились возле самого уха, и мы отвешивали друг другу затрещины, стараясь их прихлопнуть, но всегда промахивались, им удавалось ускользнуть в последний момент, но они не отставали, продолжали подлетать к самым глазам и уноситься прочь. Бабушка и дедушка сидели в своих креслах и смотрели на висевшую за окном серую пелену дождя, вода стекала с крыльца и, вскипая белой пеной, встречалась внизу, во дворе, с потоком, бегущим с полей. Постепенно уровень воды поднимался все выше, и вот она уже начинала доходить до птичьей поилки и волнами биться в заросли кустарника. После, когда ливень заканчивался, лужайка оказывалась усыпана сливами и ягодами, птицы слетались к ней и расхватывали лакомые кусочки, торопясь пополнить припасы в разоренных ветром гнездах. Буря выла и колотилась в стекло, и под стоны ее — под дикий рев окружавшего нас мира — бабушка и дедушка пели нам псалмы и рассказывали истории. Библейские предания

о том, как вода хлынула с небес и утопила всех грешников. Нам говорили, что, если мы не будем сидеть смирно, нас ждет та же участь. Говорили, что вскоре миру настанет конец и Иисус снова явится на землю, чтобы испытать нас. В доме у нас всегда воняло мочой и пóтом, а в туалете еще и дерьмом, потому что использованную бумагу мы кидали в стоявшее возле унитаза ведерко. И в этом самом зловонном доме я многое узнал о том, чем человек может расстроить Бога. Ложью, например. Как тот мужчина, что всю жизнь врал и в итоге был убит женой, ударившей его молотком по голове. Но прежде ему во сне явились демоны, принялись лизать ему пятки, щекотать их своими раздвоенными языками, потому он даже и не почувствовал, как череп ему раскроил молоток. Все это с ним случилось, потому что он всегда говорил неправду, лжесвидетельствовал, и несчастная жена его, окончательно запутавшись в его баснях, однажды перестала понимать, что было на самом деле, а чего не было, и пристукнула его, чтобы испытать хоть минутное облегчение. А еще ты можешь расстроить Бога тем, что потянешься в темноте к чему-то нечестивому, в моем случае — к мужчине. Ты потом постоянно будешь этого хотеть, — говорил

дед, — будешь хотеть так сильно, что ни о чем другом думать не сможешь, потеряешь работу, дом, семью, отправишься на поиски желаемого, подцепишь СПИД, тут-то тебе и придет конец, тут-то ты и умрешь. И мне не нужно было включать свет, чтобы понять, о ком он это говорит, кому он это говорит в комнате, освещаемой резкими голубоватыми вспышками молний, нет, мне не нужно было никаких уточнений, я и так знал, что отправлюсь прямиком в ад, потому что в той части души, где должен был помещаться Бог, у меня была лишь пустота, и потому она, моя душа, подобно треснувшему зубу, обречена была рано или поздно начать гнить и превратиться в черную язву. Заговорив, когда Бог занят делом, ты открываешься дьяволу. Открыв окно, когда Бог занят делом, ты приглашаешь дьявола в дом. Включая электричество, когда Бог занят делом, ты указываешь дьяволу дорогу в свое тело. Бури были в моей жизни единственными моментами полного погружения в религию, во время бурь никак не получалось забыть о Боге или проспать проповедь. Слова пастора можно не слушать. Это легко. Но когда гром грохочет, а молния на глазах раскалывает небо, невозможно отрицать существование Божьей ярости, его способности одним

щелчком уничтожить весь мир. Когда бабушка и дедушка, раскачиваясь в креслах, поют тебе песни, которые им пели их бабушка и дедушка, а тем — их бабушка и дедушка, тогда невозможно отрицать существование призраков, которые бродят по земле среди нас, дотрагиваются до всего, забирают то, что понравится, и оставляют то, что не пришлось им по вкусу. Бури налетали каждый день, гремели, сверкали, и я выучился сидеть так тихо, что, казалось, мог бы легко выскользнуть из тела, перестать быть и потихоньку пробраться в новую жизнь, свернуться в ней, как в мягкой уютной постели, — так я себе это представлял. Но даже в такие моменты я не переставал смотреть по сторонам и ждать, наблюдать за узорами, в которые жизнь складывалась перед моими глазами, за отблесками молний в окне. Во дворе у нас стоял большой красный флюгер, и однажды в него ударила молния. Флюгер был в форме петуха — здоровый такой металлический петух, и я всю жизнь думал, что он красный, но оказалось, он был просто покрашен, и когда от удара молнии краска обгорела, облетела начисто, из-под нее показалась чернота, флюгер обратился в нечто новое, в свою противоположность. Был еще мальчик, мальчик, который мне нравился,

он жил в трейлере по другую сторону проселочной дороги. Высокий, темнокожий, сильный мальчик. Однажды я позволил ему отвести меня в лес и там забраться на меня верхом и излиться в меня. А после я вернулся домой, мерзкий, грязный, весь в крови, влез в зеленую бочку, что стояла у нас в уборной, потому что ванна была засорена, и попытался отмыться, очиститься от всего этого. Там еще были птичьи гнездышки на оконном отливе, и иногда птенчики пробирались сквозь сетку, падали в ванну и ломали себе шеи. В тот день я мылся, пытался оттереть синяки с внутренней поверхности бедер — в том месте, где он надавил коленями, заставляя меня раздвинуть ноги, пытался вернуть себе свою кожу — чистую, не отмеченную ссадинами, не выпачканную дерьмом, кровью и спермой, пытался вернуть себе ощущение целостности, которое было у меня до того, как меня взломали, до того, как я позволил ему меня взломать, нарушить ту тонкую мембрану, что не давала внешнему миру в меня просочиться. Нет, все было не так, не так. Сначала был еще мужчина, что ночевал в нашем доме. Он не был мне братом. Не был отцом. Не был дядей. Не был другом. Он был высок, черен, и лицо его было похоже на маску смерти, и однажды ночью

я проснулся и увидел, что оно, искаженное жуткой гримасой, нависло надо мной и опускается все ниже. Он взял меня в рот, и я хотел закричать, хотел заорать, но не смог. И после он стал приходить снова и снова, забираться ко мне в постель, пока как-то его не застукала моя мать. Тогда она вышвырнула его за дверь, а потом развернулась ко мне, отвесила оплеуху и назвала меня педиком, назвала девкой, назвала разными словами, только не сыном, много чего сказала, только не «мне жаль, что с тобой такое случилось» — таких слов она не знала, не знала сочувствия, не знала, как говорить о чужой жестокости, потому что такой уж она была, потому что отец моего брата не был моим отцом, потому что отец моего брата сотворил с ней то же самое, подкараулил ее как-то по дороге из школы, затащил в кудзу[10], повалил и набросился на нее, как животное. Так мне сказали. Другой версии этой истории я не знал. Только эту. От нее самой. Она рассказала мне, что он изнасиловал ее. Что она не хотела детей. А ее мать, моя бабушка, сказала мне, что она получила то, что заслужила. Мол, сама напросилась. Неудивительно, что в тот день, когда она

[10] Примечания: 10

Кудзу — вьющееся растение, похожее на плющ, широко распространено на юге США.

вышвырнула этого человека из моей постели, она ударила меня и сказала, что я сам во всем виноват. Что нужно было головой думать, и маловат я еще такое вытворять. Но еще тем самым она показала мне, что вот так приходит жестокость, вот так она заглядывает погостить, и в нашей семье ей радостно открывают дверь, потому что не умеют иначе. А отец мой тем солнечным днем обернулся ко мне, улыбнулся щербатой улыбкой, обнажив оставшиеся гнилые зубы, и сказал, что, должно быть, я неплохо провел время и что тот человек, что сейчас, вихляя жилистыми плечами, брел прочь по дороге, оказал мне услугу, и что ему лично плевать, что меня тянет к мужчинам. Я стоял на крыльце, избитый, израненный, слишком высокий для своих девяти, и содрогался всем телом. Кожа зудела, и мне хотелось выскользнуть из нее. Хотелось забыть, как ночами этот человек, пахнущий маслом, речной водой и рыбой до того, как ее очистят от чешуи, срывал с меня одеяло, залезал ко мне в постель, трогал меня, совал в меня пальцы. А я лежал весь в поту и смотрел в темное окно, смотрел на качающиеся на ветру деревья и думал, что они похожи на динозавров. Он же смачивал пальцы, ввинчивал их в меня все глубже, готовя для себя место, и

кровать скрипела все громче, и меня обдавало мерзким жаром от ощущения распахнутости настежь. Мне хотелось умереть, каждую минуту хотелось умереть, и я выскальзывал из самого себя и отплывал все дальше и дальше, сжимался, сжимался, сжимался, становился тяжелым, будто камень, и опускался на самое дно внутреннего океана. А надо мной реяло его лицо, жуткий оскал черепа, морда зверя, а не человека. И вот все закончилось. И теперь я ежился на крыльце, стремясь выползти из собственной кожи, как порой делают рыбы, когда их чистят. И тельца их под кожей оказываются гладкими и нежными, как у младенцев. Но я-то после этих ночей уже не был чистым, не был непорочным и нетронутым, я был запятнан. И позже я перешел через дорогу, чтобы встретиться с мальчиком, который мне нравился. И я делал все, о чем он меня просил: трогал его руки, касался губами его шеи и живота, впускал его в свой рот, а сам все думал о том, сколько же раз они позволяли тому человеку войти ко мне в комнату — мать из равнодушия, отец из какой-то извращенной гордости, и вот теперь я в лесу с этим юношей, стою на коленях, позволяю ему взять меня сзади, и в воздухе пахнет жимолостью, и ветерок шелестит листвой, а

кожа его на вкус, как мыло, и я цепляюсь за траву, за гибкие, как хлысты, ползучие растения, и все это я спровоцировал сам, и внутри у меня расцветает желание, которое Бог отобрать не в силах. Я молился, громоздил слова друг на друга, словно надеялся выстроить из них стену, которая меня защитит. И после, когда он повалил меня и принялся бить и пинать, я тоже молился, надеясь, что эта боль очистит меня, что огонь, пожирающий меня изнутри, угаснет. А над нашими головами шумели облитые солнечными лучами деревья. Ты даже не представляешь, сколько там солнца, как оно, подобно воде, пропитывает все вокруг. Золотящиеся капельки пота на коже, искрящаяся роса. И кругом свет, море света, океан света колышется над головой. Он пинал меня снова и снова, а после я пошел домой и попытался смыть царапины, синяки и следы от его укусов, очистить все те места, где он прикасался ко мне, делая меня еще уродливее, чем я был, и втирая в кожу мазь от ушибов, я надеялся, что Господь сжалится и снова сделает меня целым. Я хотел того, чего хотел, но я не хотел этого хотеть. Я мало что знал о Боге и Дьяволе, кроме того, чего не следует делать, если не хочешь призвать кого-то из них, но я знал, что хочу снова стать целым, и если один

из них не может этого сделать, то я обращусь к другому. Если Богу я не нужен, то я выберу Дьявола. Приму его на коленях, как принимал мужчин, дам ему повалить меня в кудзу и трахнуть, чтобы больше не чувствовать себя пустым. Но частичку Бога внутри я сохраню и однажды рухну на землю и позволю муравьям забрать. И когда все закончилось, когда я получил стипендию и уехал учиться, я все это оставил там, потому что, переезжая в другое место, ты не обязан тащить за собой прошлое. Ты можешь бросить его там на съедение муравьям. Потому что время пришло, и отныне ты должен перестать быть тем, кем был, должен оставить прошлое в прошлом, застывшее и бессильное. Должен бросить его, если хочешь двигаться дальше, если хочешь выжить, потому что прошлому не нужно будущее. Грядущее ему без надобности. Прошлое алчно, оно только берет, только стремится поглотить тебя. И если ты его не удержишь… Если не поставишь заслон… Оно выплеснется, захватит тебя и унесет, утопит. Прошлое — это не оставшаяся позади далекая земля. Нет, оно неустанно следует за тобой, догоняет и однажды настигнет, и ты снова станешь таким, как был; когда прошлое настигает нас, мы становимся призраками. Я не могу жить, пока

живо мое прошлое. Тут или оно, или я.

6

Когда, вскоре после полуночи, Уоллас просыпается в постели Миллера один, ему остается лишь сказать себе: «Поделом».

В комнате темно, лишь над полом, расчерченным скрещивающимися полосами света, висит синеватая дымка. Внизу живота свился тугой, давящий на поясницу клубок боли. Мочевой пузырь. Спал Уоллас беспокойно. Лицом вжимался в подушку, и теперь оно отекло. Пахнет по́том Миллера. В окне по-прежнему жужжит вентилятор, и в комнате прохладно. Голосов больше не слышно — ни со двора, ни из коридора. Вверху стены, у самой кромки наклонного белого потолка, змеится трещина. Там слуховое оконце, четырехугольник более темной черноты с забившимися по углам сухими листьями. *«Эти старые дома»* — отголоском давно забытой мелодии всплывает в памяти фраза, вскользь брошенная на устроенной Эдит вечеринке в прошлом году. В последний год Хенрика. Их тогда послали принести стулья из подвала. Эдит стояла на верхней ступеньке лестницы и наблюдала,

как они с Хенриком то ныряют с освещенной площадки внизу в черноту, то вновь появляются на ней со стульями в руках. Хенрик уже выпил джина, губы у него были красные и белки глаз порозовели. От него исходил крепкий хвойный запах. В какой-то момент они одновременно шагнули из света в тень, ухватились за один стул, и руки их соприкоснулись. Хенрик хмыкнул, а Уоллас резко отпрянул. Тот ловким плавным движением поднял стул сам и указал подбородком на другие стулья, стоявшие в темном закутке под лестницей, у стены, по которой вилась едва заметная трещина. «*Эти старые дома,* — буркнул он. — *Дерьмо, а не фундаменты*». Уолласу тогда его слова показались бессмыслицей. Как дом, в принципе, может дожить до старости, если у него дерьмовый фундамент? Он думал об этом, пока они перетаскивали их наверх — по два стула за один подъем — всякий раз, как ступени трещали, грозя провалиться под их весом. Думал об этом, пока слова сами собой не сложились в песенку в голове. *«Эти старые дома»*. Хенрик тут в последний раз. Хенрик тут последний год. *«Эти старые дома».*

Нужно сходить в туалет. Уоллас встает и накидывает на плечи Миллеров фланелевый плед.

Промозглые они, эти старые дома, — думает он. Выходит на площадку, замирает у лестничных перил и ждет. В коридоре темно. Темно и в кухне. Но тишина не абсолютная. Где-то в отдалении слышатся шорохи и шепотки. Слов не разобрать — так, отголоски звуков. Он тут не один. Что ж, вполне логично, что Миллер где-то в доме. И Ингве тоже. Здесь живут люди. Их жизни идут своим чередом. Он не остался в полном одиночестве. От осознания неполноты собственной брошенности Уолласу хочется рассмеяться, и тут же его захлестывает волной головокружительной дурноты. Становится стыдно, что он так раскрылся. И перед кем? Перед Миллером! Пронзает запоздалое желание спрятаться, найти укрытие. В былые времена — продолжавшиеся вплоть до последней пятницы — так разоткровенничаться означало бы совершить фатальную ошибку. Это значило бы, что он до самого окончания аспирантуры будет жить в страхе, постоянно ждать, что все сказанное однажды обернется против него, что ему нанесут неожиданный удар, что нужно вечно оглядываться, чтобы не застали врасплох. В былые времена Уоллас доверял своей подозрительной натуре, рассчитывал, что она убережет его, но вот он совершил глупость, совершил глу-

пость, рассказав Миллеру о себе. И теперь ему остается лишь надеяться на лучшее, а он никогда не был человеком, который живет надеждами.

Ванная очень чистая, все в ней белое и плетеное, словно он оказался в каком-нибудь приморском городке. Уоллас, набросив на плечи пахнущий Миллером плед, стоит над унитазом и наблюдает, как постепенно желтеет вода внутри. Воняет мочой, по ванной расползается аммиачный душок, он сегодня выпил слишком много кофе. Уоллас споласкивает руки, плотнее запахивается в плед и спускается вниз по лестнице.

В воздухе пахнет мускусом и горящей хвоей. Вьется сизая струйка пара. Подойдя к двери, Уоллас замечает их, сидящих в кухне на полу. Видит красный огонек электронной сигареты. Поскрипывает задняя дверь. Ингве и Миллер сидят напротив друг друга, вытянув ноги. Миллер опирается спиной о низкий шкафчик. Ингве привалился к стене. К вейпу они прикладываются по очереди: один затягивается, а другой в это время смотрит сквозь приоткрытую дверь в темный двор, где медленно пропитываются ночной влагой все еще разбросанные по траве одеяла. Они так похожи сейчас, совсем как братья, только у Ингве черты лица более резкие, угловатые, и

фигура словно состроена из прямоугольников, вырезанных из куска толстой кожи. Миллер куда мягче — эти его дурацкие кудряшки, по-детски припухлые щеки и подбородок. Они обсуждают яхты, но что именно говорят, Уоллас не понимает — то ли от того, что не разбирается в вопросе, то ли потому, что шепчутся они очень тихо. А может, по обеим причинам. Но ему отчаянно хочется понять, и он замирает в дверях, вцепившись в косяк так, что начинают ныть ногти. Ему очень нужно узнать, о чем они говорят, потому что он боится — по затылку бежит холодок и в носу жжет от прилива крови — боится, что они обсуждают его. Все его чувства обострились. Он улавливает оставшийся от ужина запашок горелого жира. Слышит, как капает в раковине вода. Как шипит, разгораясь, смола в вейпе. Ощущает жар на кончике языка. Словно в замедленной съемке видит, как шевелятся их рты, как обращаются друг к другу их блестящие взгляды. Уоллас делает последний роковой шаг, пол под ним скрипит, и прежде, чем они успевают обернуться к нему, замечает, как вздуваются мышцы у Ингве на шее — верный признак того, что он *сейчас повернет* голову, и как меняется лицо Миллера, как вздрагивает впадина у него под горлом. В это

мгновение Уоллас видит все, весь мир со всеми его тенями и углублениями, и этих двоих тоже. Он чувствует их, слышит, знает еще до того, как они успеют пошевелиться, что они сделают, как себя поведут, что будет дальше. И успевает подготовиться к этому.

— Уоллас, — радуется Ингве. — Иди сюда, курни с нами.

— Он не курит, — немного натянуто сообщает Миллер. Не то чтобы формально, сухо, но как-то напряженно. Уоллас проходит через кухню и достает из буфета стакан.

— Я посижу с вами, — говорит он. Наливает в стакан воды почти до краев и тут же вспоминает о прошлой ночи, о том, как налил в стакан воды и заставил Миллера его выпить. Его моментально бросает в краску. От этих неуместных воспоминаний. От того, как все внезапно повторяется, но, взглянув на Миллера, он понимает, что ему происходящее ни о чем не напоминает. И это становится для него одновременно и облегчением, и разочарованием. Уоллас садится на пол рядом с Ингве. Тот натягивает на себя край его пледа, прижимается к нему плечом и локтем. Ингве сидит возле приоткрытой двери и совсем замерз. Миллер посасывает кончик вейпа. Глаза

его теперь закрыты.

— Хватит, хватит, — резко бросает Ингве и жестом просит передать ему вейп. От него пахнет паром и пивом. И еще чем-то, может, каким-то более крепким алкоголем. И терпким запахом пота. На Миллере желтый свитер швами наружу. Уоллас рассматривает его пальцы — толстые крепкие костяшки, приплюснутые кончики. Ингве скрещивает ноги. На коленке его белеет тонкий серповидный шрам с поперечными следами от швов. Уоллас дотрагивается до него большим пальцем. И чувствует рукой напряженный взгляд Миллера так остро, словно от его глаз до ладони Уолласа протянута нить. Ингве невольно вздрагивает. Миллер отдает ему вейп. Нога Ингве покрыта толстыми светлыми волосками. Уоллас проводит по шраму пальцем, и Ингве снова вздрагивает.

— Откуда это? — спрашивает Уоллас.

— Да он у меня уже давно, — отвечает Ингве. — Заработал прямо перед самой аспирантурой. Много лет в футбол играл, вот сустав и воспалился, — из уголка его рта вырывается серебристая струйка пара. Ингве прислоняется затылком к стене. — Мне его вскрыли и все вычистили.

Уоллас продолжает поглаживать шрам, затем

поднимает голову и замечает, что Миллер глаз с него не сводит. Он убирает руку. Ингве передает вейп Миллеру.

— Больно это?

— Нет, — отвечает Ингве. — Не больно. Вот *до того* больно было адски. А сейчас совсем не болит, — словно в доказательство своих слов, он сжимает колено рукой. Уоллас отпивает из стакана.

— Ну и ночка сегодня, — говорит Миллер.

— Ну и ночка, — отзывается Ингве. Уолласа пробирает дрожь.

— Вы об этом тут говорили? Пока я не появился?

— Нет, — быстро отвечает Ингве и тут же начинает смеяться. — Хотя, наверное, в каком-то смысле и об этом тоже.

— Я понятия не имел, что у Коула и Винсента все так сложно, — говорит Миллер.

— И я тоже. Хотя, наверное, можно было бы и догадаться.

— Конечно, они и раньше ссорились, но чтоб вот так, — хмурится Миллер. — Наверное, мы никогда до конца не понимаем, что там творится у других. Что они чувствуют.

Ингве толкает Уолласа в бок. Зачем, непонятно.

То ли хочет напомнить, что это Уоллас заварил всю эту кашу, то ли намекает, что знает про них с Миллером. Оба варианта приводят Уолласа в ужас. Он пожимает плечами, а Ингве снова смеется. Но смех у него не злобный, не ехидный. И вскоре Уоллас понимает, что он просто потешается над Миллером.

— Вы только послушайте, — говорит он. — Каков мудрец!

— Заткнись, — огрызается Миллер, но все же криво ухмыляется.

— Думаете, они разойдутся? — спрашивает Уоллас, мучимый чувством вины. — Думаете, они реально расстанутся?

— Да нет, это же тупо, — заверяет Миллер. — Все будет хорошо, я не сомневаюсь. И домой они ушли вместе.

— Правда? Когда? — спрашивает Уоллас. — Боже! Блин! Жаль, я не успел с ними поговорить перед уходом.

— Ты и так уже сказал достаточно, — все еще улыбаясь, говорит Ингве. Закидывает руку Уолласу на шею и притягивает его ближе. — Думаю, хватит с малыша Уолли на сегодня.

Миллер хмыкает в знак согласия, и Уолласу на мгновение становится обидно. Но он знает,

что они правы. Что бы он ни сказал, это бы дела не поправило. И все же вместо того, чтобы попытаться разрулить конфликт, он ушел с Миллером. Позволил, чтобы его увели и утешили. Но стало ли это утешением? Весь этот разговор с Миллером, во время которого ему с каждым произнесенным словом становилось только хуже? Вот в чем странность, думает он. Он решил рассказать обо всем, потому что думал, что ему станет лучше, станет легче, потому что думал, что все в его руках, и еще потому, что Миллер его попросил, и казалось правильным дать ему то, чего он хочет. Но в итоге ему вовсе не стало легче от того, что он все рассказал Миллеру. Он вовсе не стал спокойнее или счастливее. Так что, может, в конце концов все вышло честно. И он получил по заслугам.

— Когда они ушли? Вообще, когда все ушли?

— Да вот недавно. Пока ты спал.

— Ага, точно, вы двое куда-то испарились, — вспоминает Ингве.

— Мне стало нехорошо, — говорит Уоллас.

Ингве смотрит не на него. А на Миллера.

— Так все было?

— Ага, и я был перед ним в долгу за прошлый вечер. Он же мне помог.

— Вы в последнее время прямо не разлей вода, — замечает Ингве.

— Я его ненавижу, — говорит Уоллас, и Ингве щиплет его за шею.

— Не ври. Совершенно незачем врать. Мы же друзья. Мы все здесь друзья.

— А Лукас здесь?

— Да, наверху, — машинально выпаливает Ингве, но тут же поправляется: — А, нет, он с Нэйтом.

В голосе его сквозит что-то — не грусть, назвать это грустью или сожалением было бы слишком просто. Нет, по тому, как он это произносит, по тому, как оборачивается к лестнице, чувствуется, что он убедил себя — Лукас там, наверху, мирно похрапывает, и каким-то чудом сам в это поверил. Этакий фокус, ловкость рук, но теперь, когда Ингве вывели на чистую воду, голос изменяет ему, садится, будто он вскидывает вверх руки, сдаваясь. Глаза его покраснели и влажно блестят. Радужка синеет, словно камешки или осколки льда в речной воде.

Неудивительно, что в доме так тихо.

Уоллас протягивает Ингве стакан, и тот с улыбкой берет его. Миллер сердито хмурится, но лицо его тут же разглаживается, словно он одергивает

себя — да что за детский сад, пускай пьет. И Ингве, как приговоренный, осушает стакан до дна. А затем произносит:

— Ладно, я пошел спать.

— Хорошо, — отзывается Миллер. — Сладких снов.

Ингве произносит что-то по-шведски, наклоняется, целует Уолласа в щеку и уходит. Они сидят и слушают, как стучат на лестнице его шаги, раздаются через равные промежутки времени, постепенно становясь все тише, пока звук этот не сливается с остальными шумами дома. Миллер кивает на место возле себя, и Уоллас переползает к нему. Миллер, как раньше Ингве, натягивает на себя край его пледа.

Уоллас вытягивает ноги поверх ног Миллера, а тот накрывает рукой его колено.

— Ты меня бросил, — говорит Уоллас.

— Я оставил записку.

— Правда?

— Нет, — смеется Миллер.

— Ну, я все равно не смотрел.

— Хорошо поспал? — спрашивает Миллер. — Теперь тебе лучше?

— Да. И да, — заверяет Уоллас, несмотря на то что уже снова начал нервничать. — Я боялся, что

отпугнул тебя.

— Нет, — отзывается Миллер. — Ты не можешь меня отпугнуть.

— А я вот в этом не уверен. Если ты в ужасе или типа того, это нормально. Я понимаю, что такое непросто переварить.

— Я не в ужасе, — говорит Миллер. Говорит, не глядя на Уолласа и накручивая на палец край пледа. Шея у него красная и щеки тоже. Его ребячество, та часть его натуры, что всегда сомневается, всегда мнется, сейчас видна, как на ладони. Уоллас целует его в плечо.

— Ладно, — говорит он. — Это хорошо. Я рад. Просто ты после ничего не сказал.

Он решает играть в открытую, кладет свою тревогу к ногам Миллера, чтобы тот либо признал ее, либо проигнорировал. Можно поверить Миллеру на слово, принять его заверения, что это молчание ничего не значило. Он не станет давить. Не станет допытываться. Будет беспечным. И спокойным.

Миллер не отвечает. Все так же смотрит в окутанный темнотой двор. Ничего, кроме смутных очертаний предметов, разглядеть там невозможно. Он сжимает ладонь в кулак, крупные твердые костяшки проступают отчетливее. Напряжение

бежит вверх по руке, и вскоре Уоллас начинает чувствовать, как пульсирует его налитое плечо. Это не злое молчание. Вовсе нет. Но есть в нем что-то, что-то жесткое и неподатливое, какая-то становящаяся все отчетливее скованность.

Неужели это Уоллас в нем виноват? Неужели это он вызвал такую реакцию? Нужно было быть тверже, решительно отказаться рассказывать о своем прошлом. Нужно было держать рот на замке.

— Что ж, я, наверно, лучше пойду, — с напускной легкостью объявляет Уоллас. Миллер нашаривает его руку под пледом.

— Нет, оставайся. Поздно уже.

— Тут недалеко, — возражает Уоллас. — Я и так уже тебе надоел.

— Ничего подобного.

— Нет, надоел. А я этого не хочу. Не хочу быть обузой.

— Было бы здорово, если бы ты остался, — твердо говорит Миллер. — Я очень этого хочу.

— Это ты из вежливости. Не нужно. Все в порядке.

— Да вовсе нет, — не соглашается Миллер. — Это я из эгоизма. Я хочу, чтобы ты остался, — теперь Миллер смотрит на него. Что бы ни означало его

молчание, сейчас в его взгляде и голосе столько искренности, что Уоллас смягчается. Миллер целует его.

— Ладно, — говорит Уоллас. — Я останусь.

Миллер берет его за руку, Уолласу нравится ощущать прикосновения его пальцев, их тепло, текстуру кожи. Он опускает голову Миллеру на плечо. Хочется спать, он бы с радостью вот так и вырубился.

— Если ты устал, можно подняться наверх.

— Нет, тут хорошо.

— Точно? Ты не обязан оставаться внизу из-за меня.

— Разве ты сам только что не просил меня остаться?

— Просил, но…

— Вот и ладно, — перебивает Уоллас. Миллер смеется. Тревога постепенно унимается, вместе с ней отступает и тошнота, и муторное подозрение, что он стал темой для сплетен. «Ты должен научиться доверять людям», — убеждает себя Уоллас. Не стоит думать, что каждый желает тебе зла.

— Прости, — помолчав, говорит Миллер. — За то, что я не нашелся, что ответить.

— Все нормально, — отвечает Уоллас. Он уже

забыл о том, как тяжело ему далось это молчание. Уже переступил через боль. Уже выжил.

— Мне очень жаль, что с тобой такое случилось. И что я заставил тебя об этом рассказать.

— Ты не сделал ничего плохого. К тому же, мне кажется, я только и ждал, когда меня кто-нибудь спросит.

— Правда?

— Не знаю, — отвечает Уоллас. — Может, мы все только того и ждем?

— Вчера ночью, когда я рассказывал тебе про маму… Я не знал про твоих родителей… и того мужчину. Таким идиотом себя почувствовал, — признается Миллер.

— А, — говорит Уоллас. — Так вот из-за чего это все. Из-за того, что ты почувствовал себя идиотом. Понятно.

— Боже. Я не то имел в виду, Уоллас. Не то. Что ты такое говоришь.

— А по-моему, именно то, — возражает Уоллас, потому что просто не может удержаться, а еще потому, что такая уж у них с Миллером сложилась манера общения. Привычные упреки и препирательства как-то успокаивают. Миллер, крепко стиснув зубы, тяжело дышит. На крыльях его носа виднеются скопления черных точек.

— Чего ты от меня хочешь? — спрашивает он.

— Ничего. Я ничего от тебя не хочу.

— Ладно, хорошо, прекрасно, — сухо кивает Миллер. Снова откидывает голову, упираясь затылком в шкафчик. И закрывает глаза. — С тобой так трудно. Просто невыносимо.

— Тогда я лучше пойду домой.

— Если ты пытаешься заставить меня тебя выгнать — не дождешься. Хочешь уйти, иди. И не ищи себе оправданий.

— Ты только что сказал, что со мной невыносимо.

— Потому что это *правда*, — говорит Миллер. И крепко зажмуривается. Уоллас нажимает большими пальцами на его сморщенные веки. Такие теплые. Чуть влажные от того, что из приоткрытой двери тянет холодом с улицы, но теплые. Грудь у Миллера широкая. Рука Уолласа скользит вниз, к шее. Под кожей сильно, мерно бьется пульс. Не стоило ему так поступать. Уоллас это прекрасно знает. Незачем было пререкаться из-за пустяков, из-за чего-то невидимого.

— Если со мной так невыносимо, почему ты меня не вышвырнешь? — спрашивает он и забирается к Миллеру на колени. Садится верхом, всем весом навалившись тому на бедра. — Если

со мной так сложно, просто скажи, чтобы я прекратил, — Уоллас нажимает пальцем на гладкий твердый хрящик под адамовым яблоком Миллера. Веки его мелко вздрагивают и мгновенно поднимаются, будто это Уоллас, надавив на горло, привел их в движение. Славная механическая игрушка. В одном месте нажмешь — в другом откроется. Миллер облизывает губы. И подается вперед, пытаясь дотянуться до лица Уолласа, но тот не дается. Сильнее давит ладонью на горло, чтобы Миллер ощутил его сопротивление. И чем настойчивее тянется вперед Миллер, тем крепче рука Уолласа сжимается вокруг его шеи. Они словно угодили в ловушку, как ни вывернись — все равно между ними остается небольшое расстояние. Миллер рычит. Уоллас чувствует ладонью, как он сглатывает.

И вдруг Миллер расслабляется. Все тело его обмякает, и Уолласа пронзает страх, что он сотворил чудовищную глупость. Он ослабляет хватку, и в то же — крошечное, как булавочная головка — мгновение Миллер внезапно перехватывает его запястья и тянет руки вниз, к животу, чтобы они придвинулись друг к другу вплотную. Уоллас моргает, и вот лицо Миллера уже совсем близко от его лица, так близко, что они соприкасаются

носами, щеками и губами. Так близко, что Уоллас словно видит алые полумесяцы на внутренней поверхности век Миллера, так близко, что слышит ток крови в его теле и может случайно спутать его с собственным.

— Дешевый трюк, — шипит Уоллас, но высвободить запястья не может. Миллер держит его крепко. Он начинает вырываться яростнее, но Миллер все равно его не отпускает. Он выдирается изо всех сил, но все напрасно. Миллер сильнее. Однако чувство, которое Уоллас сейчас испытывает, — это не страх. Нет у него дикого противного привкуса страха. Это что-то другое, возможно, сожаление. Миллер смотрит на него из-под набрякших век.

— Если хочешь чего-то, попроси, — говорит он.

— Да пошел ты.

— Будь хорошим мальчиком.

Хорошим мальчиком.

— Я никогда не был хорошим.

— И я тоже, — отзывается Миллер.

— Да уж конечно, — говорит Уоллас, но тут лицо Миллера слегка мрачнеет, и он вспоминает, что тот ему рассказывал. О своей матери, о том, как между ними не все было гладко, а потом она умерла. — Прости. Я не то хотел сказать.

— О, нет, как раз то. Именно это ты и хотел сказать.

— Мы просто разговаривали.

— Просто разговаривали, — передразнивает Миллер. — Вот чем мы занимались. Кто бы мог подумать?

Он слегка ослабляет хватку, и Уоллас, воспользовавшись шансом, вырывается. Миллер так крепко держал его, что запястья теперь горят огнем. На внутренней стороне, там, где кожа светлее всего, остались темно-красные следы от пальцев. Уоллас скатывается с Миллера на пол. Тот снова прикрывает глаза. Кажется, что этих последних минут никогда и не было.

Интересно, думает Уоллас, значит ли это, что ему пора уходить? Рука Миллера лежит на полу ладонью вниз, он нажимает на нее большим пальцем. Впивается ногтем в кожу, и Миллер вздрагивает всем телом, снова возвращается к жизни. Прямо как Ингве недавно. Уоллас гадает, что с ним такое. Что заставляет его вот так провоцировать людей? Что это за странное свойство характера?

«Если хочешь чего-то, попроси», — сказал ему Миллер. Что ж, наверное, в этом-то все и дело. Это его способ попросить. Просто сказать, чего хочет,

он не может. Потому что сам этого не знает.

— Уоллас, не задирай меня, — говорит Миллер. — Не то пожалеешь.

— Я не задираю, — заверяет Уоллас. Но внутри у него уже все поет. И что-то теплое стремительным потоком рвется наружу. — Никого я не задираю.

Почему-то кажется необходимым ответить Миллеру именно так, хотя он и подозревает, что это неправда. Он наклоняется к нему, прижимается губами к его шее и втягивает носом воздух. Чувствует, как Миллер сглатывает. Как горит его кожа. Как напрягаются и расслабляются мышцы. Как тонкие волоски щекочут нос. Словно мех какого-то изящного животного. По шее Миллера от его дыхания бегут мурашки. Дрожь жизни. Он вонзает зубы Миллеру в шею и тут же зажмуривается, перед глазами все белеет, его откидывает назад и пригвождает к полу. Миллер теперь сидит на нем верхом. Руки Уолласа вздернуты за голову, в которой, словно желток в яйце, плавает мозг. И это тоже кажется необходимым. Миллер нависает над ним.

— Я сказал, не задирай меня, — произносит он, но голос его не слушается, дрожит. Будто цепляется за что-то. В висках у Уолласа больно

пульсирует. — Я же предупреждал.

— Я не задирал, — говорит Уоллас. Миллер борется с собой. Пытается подавить что-то внутри. Уоллас прежде никогда за ним ничего подобного не замечал, хотя теперь ему внезапно вспоминается, что Миллер иногда и раньше демонстрировал эту сторону своей натуры. Например, в первый год обучения, когда он случайно захлопнул дверцу ледогенератора ровно в тот момент, когда Миллер потянулся к нему со своим контейнером. Это, правда, вышло случайно. Просто стечение обстоятельств, неверно рассчитанное время и превратно понятые намерения. Уоллас набирал лед, придерживая дверцу бедром, тут подбежал Миллер, сказал ему что-то, Уоллас обернулся, дверца сорвалась и едва не отрубила Миллеру руку. Миллер замер, уставившись на собственную кисть, будто ее и в самом деле только что оторвало. Уоллас пришел в ужас. Затем встретился глазами с Миллером и понял, что тот едва удерживается, чтобы не засветить ему кулаком в лицо. Он видел, как сжимаются его ладони. Видел, как медленно и торжественно, словно голова молящегося, взмывает кулак. И вдруг что-то переменилось. Вместо того, чтобы ударить его, кулак Миллера обрушился на захлопнувшуюся

дверцу. *«Черт возьми, Уоллас*, — выругался он и пнул автомат. — *Думаешь только о себе!»* А был еще случай на втором году обучения, за обедом. Они тогда сидели по двое на бетонных стенах лабиринта — Миллер с Ингве, Коул с Уолласом, Лукас с Эммой. И вдруг Миллер и Ингве из-за чего-то повздорили. Поначалу просто дружески пикировались, но потом Ингве чем-то зацепил самолюбие Миллера, и тот толкнул его, сильно толкнул, так, что тот влетел в стену и рухнул на каменный пол. Несколько секунд Миллер не двигался, смотрел на Ингве, высоко вздернув подбородок, словно гордился своим поступком. А затем резко вскочил и бросился к нему, за ним подоспели и остальные. Все кончилось хорошо. Ингве отправили домой с сотрясением мозга, и Лукас вызвался за ним ухаживать. Уоллас даже подозревал, что именно в тот день у них все и началось. В общем, сейчас он не удивляется, что Миллер швырнул его на пол. Его это вовсе не шокирует. В конце концов, он ведь этого и добивался, верно? Иначе зачем бы он его доводил? Уоллас вскидывает ногу и упирается коленом Миллеру в грудь.

— Уоллас, зачем ты меня провоцируешь?

— Не знаю, — отвечает он. — Наверное, чтобы

ты меня выгнал.

— А я не выгоню, — говорит Миллер.

— Даже после такого?

— Да мне почти не больно. Ты дитя.

Эти слова задевают гордость, о существовании которой Уоллас до этой минуты и не подозревал. Теперь же он со стыдом осознает, что считал себя способным причинить Миллеру вред. Разве он не сделал ему больно, рассказав о своем прошлом? Разве не для того он все это начал, чтобы тот выплеснул на него свою злость? Он думал, что способен ранить его, способен что-то у него отобрать. А теперь выясняется, что против Миллера он всего лишь дитя.

— Расскажи мне *о своих* травмах, — просит Уоллас.

— Тебе о них знать не нужно.

— А, по-моему, ты хочешь, чтобы я о них знал, — говорит Уоллас. — Ведь в этом все дело, верно? Ты хочешь мне о них рассказать.

Уоллас ерзает, придавленный Миллером. Болит спина. И в голове гудит. Мир по-прежнему дробится на кусочки. Словно кто-то небрежно сгреб в кучку осколки разбитого зеркала. Образ Миллера, как в калейдоскопе, распадается на черные, серые и серебристые фрагменты. Лицо его

— темный зеркальный коридор. Буйство форм.

— Я кое-кого покалечил, Уоллас. Сильно покалечил, — говорит Миллер.

Оглушенный этим признанием, Уоллас пытается отдышаться.

— Родители после услали меня из города. Отправили в какое-то место, типа детского лагеря. Но тот мальчишка — у него была остановка сердца. По крайней мере, так говорили. Что в «Скорой» у него трижды останавливалось сердце.

— Миллер, погоди… Почему?

— Сам не знаю. Наверное, из-за травмы случилась аритмия. Я ударил его по голове, это вызвало кровоизлияние. В мозг долго не поступал кислород.

— Нет, — шепчет Уоллас. — В смысле… Я не о том спрашивал.

Миллер слезает с него. Уоллас садится на полу. Миллер поднимается на ноги. Встает и Уоллас. Берет его за локоть и пытается развернуть к себе.

— За что ты его избил?

Миллер мрачно смотрит себе под ноги. Отворачивается от Уолласа. Случайно задевает стакан. Холодная вода льется им на ноги. Растекается по полу. Стакан не разбивается, но по стеклу ползет трещина.

— Черт, — говорит Миллер. Уоллас часто дышит. На улице ветер шелестит листвой. За дверью темно и холодно. — Закрой ее, а?

Уоллас кивает. Захлопывает дверь, а Миллер тем временем подбирает стакан. Теперь, когда дверь заперта, в кухне вдруг становится очень тихо.

— Это твой ответ? — спрашивает Уоллас.

— У меня нет ответа, — отвечает Миллер, привалившись к стойке. — У меня нет ответа, Уоллас. Он был просто местный мальчишка. Таскался повсюду за мной и моими друзьями. У нас все было не так. Я не Ингве. Не Лукас и не Эмма. Я не из *этого мира*, — он делает размашистый жест рукой. Словно пытаясь объять сразу и дом, и двор, и сладко похрапывающих соседей, и Капитолий, и площадь, и озера, и деревья, и весь их безмятежный мирок. — В общем, его отец был инженером на заводе, где работал мой отец. И этот мальчишка только и твердил о том, как поступит в Пердью[11]. Уже в ноябре документы послал. — Вид у него становится отстраненный, наверное, события из прошлого проносятся перед глазами. — Обычный малолетний придурок,

---

[11] Примечания: 11

Пердью — общественный университет, расположенный в городе Уэст-Лафайетт, штат Индиана.

понимаешь, Уоллас? Но такой уверенный в себе.

— И ты набросился на человека за то, что он был *уверен в себе*?

— Нет, — качает головой Миллер. — Нет, не за это. А, может, и за это, черт его знает. Наверное, в итоге все действительно к тому и свелось. Он был невероятно уверен в себе. А я? Какое меня ждало будущее? Всю жизнь детали на заводе штамповать, как мой старик? Этот пацан только и делал, что задавался: *«Я поступлю в Пердью. Стану инженером!»* А *я* бесился, потому что никому на хрен был не нужен. И все, чего я желал, было мне недоступно.

— Я понимаю, — кивает Уоллас.

— Правда? Ну и вот, как-то мы стырили пачку сигарет. Стояли за магазином, курили и трепались. Как обычно. И этот пацан — ростом-то метр с кепкой — вдруг взял да и выдернул сигарету у меня изо рта. — Миллер улыбается, словно до сих пор ощущает на языке совершенный наждачный вкус ярости. И вдыхает поглубже. — А сам говорит: *«Я так буду скучать по вам, ребята»*. Понимаешь, он стоял, смолил *мою* сигарету и втирал, как будет по нам скучать. И я такой — ну все, пацан, ты доигрался. И решил поквитаться.

Перед глазами плывет. Уоллас пытается вспом-

нить, не ударился ли он головой. Рассказ захватил Миллера. Он проводит языком по зубам, облизывает губы. Слегка ухмыляется, довольный собой, вернее, словно на миг переносится в того себя, который был очень доволен собой, очень доволен тем, что отдубасил обидчика. Отделить ту версию Миллера от него нынешнего сейчас почти невозможно. «Поквитаться», — думает Уоллас. Вот он, извечный вопль слабых, которым никак не выторговать себе у мира поблажек. Интересно, что это значит? Ведь Миллеру-то в этой истории никто ничего не сделал. Миллер оборачивается к нему и меняется в лице. Глаза его расширяются. Уоллас пугается, что его застукали, что Миллер прочел его мысли и знает теперь, о чем он думает. Нет, успокаивает он себя. Миллер просто боится. Вот и все. Боится, что он плохой и никому не нужен.

— Ты решил поквитаться, — тихо повторяет Уоллас.

— Я просто хотел, чтобы он почувствовал то, что чувствую я. Что еще мне оставалось делать? — срывающимся голосом спрашивает Миллер. Это не какое-то случайное воспоминание из тех, что редко всплывают в голове. Оно все это время было тут, совсем рядом. «*Что еще мне оставалось*

делать?» «Да что угодно, — хочется ответить Уолласу. — *Не обязательно было избивать этого пацана».* Но Миллер не ждет от него ответа. На самом деле, нет. Ему нужен человек, который станет на его сторону.

— Это было невыносимо, — говорит Уоллас. — Ты оказался в невыносимом положении.

Какая же мерзость.

Вот теперь Миллер поворачивается к нему. Притягивает Уолласа к себе и утыкается лицом ему в шею.

— Я не хотел, — бормочет он. — Я не хотел этого делать. Я пытаюсь быть хорошим. Пытаюсь быть хорошим. Пытаюсь.

— Ты хороший, — отзывается Уоллас.

Миллер ошарашенно смотрит на него. Уоллас удивляется сам себе. Миллер же холодно смеется.

— Даже и не знаю, Уоллас. Судя по тому, что я тебе только что рассказал, я очень, очень плохой человек.

— Плохих людей не бывает, — пожимает плечами Уоллас. — Люди совершают плохие поступки. Но проходит время, и они снова становятся просто людьми.

— То есть своих родителей ты простил? —

спрашивает Миллер и своим вопросом будто наотмашь ударяет Уолласа по глазам. — Что-то я сомневаюсь. — Он ненадолго замолкает. — Нет, Уоллас, плохие люди бывают. Пока ты рассказывал мне о том, что с тобой случилось, у меня так и стояло перед глазами лицо того мальчишки. Все, что я тогда видел. Я чувствовал, как трещат его кости. Как трещат мои кости. Но все равно не останавливался. Потому что был в ярости. Я просто больной урод, верно?

— Ты пытался сбежать от своей жизни, — говорит Уоллас.

— Искалечив жизнь кому-то другому.

Уоллас на это не отвечает. Чего бы Миллер от него ни хотел, ответа он сейчас явно не ждет. Миллер берет его за руку.

— Пойдем в постель, — говорит он. Уоллас кивает и идет за Миллером к лестнице. В мире столько несчастья. На земле постоянно кто-то страдает. В каждую отдельно взятую минуту. Интересно, существуют ли вообще по-настоящему счастливые люди? И что человеку остается делать со всем этим? Разве что попытаться украдкой выскользнуть из своей жизни в то серое нечто, что ждет впереди всех.

В комнате Миллера все по-прежнему. Он за-

крывает дверь, а Уоллас забирается обратно в постель. Здесь прохладнее, чем внизу. Миллер тоже залезает на кровать, они растягиваются под лоскутным одеялом. Скоро наступит осень, и под ним станет слишком холодно, но к тому моменту Уоллас, возможно, уже будет за сотни миль отсюда. В каком-нибудь теплом краю. Или где-то еще. А Миллер останется здесь, в этой комнате, достанет из шкафа зимнюю одежду и теплое одеяло. От этого контраста, от того, как непрочна его связь с этим местом, Уолласу становится не по себе. Миллер закидывает на него руку, и Уолласу начинает казаться, что он хоть ненадолго заземлился, встал на якорь.

— Надеюсь, ты не станешь меня ненавидеть, — говорит Миллер. — Ну и идиот же я. Сначала рассказал такое, а потом — *надеюсь, ты не станешь меня ненавидеть*.

— Я тебя не ненавижу, — говорит Уоллас.

— Хорошо. Я рад.

Уоллас поворачиваются к нему, и они снова целуются, на этот раз более страстно. Когда Миллер входит в него, Уоллас закрывает глаза, чтобы не видеть, как тот на него смотрит. Внутри разрастается какое-то неопределенное чувство, и он не доверяет себе. Миллер просит его перевернуться

на живот, и Уоллас слушается, обрадовавшись, что больше не нужно будет так крепко зажмуриваться. Миллер целует его плечи, спину. Очень нежно. Но трах остается трахом, это все равно больно, однако Уоллас принимает боль, как благословенный дар, ведь она тоже помогает ему заземлиться, ощутить себя привязанным к чему-то. Когда все заканчивается, Миллер выходит в коридор и возвращается с теплым полотенцем. Уоллас вытирается, а Миллер смущенно отворачивается, до сих пор не в силах примириться с тем фактом, что трахается с мужчиной. Уоллас смеется, и Миллер резко оборачивается.

— Что смешного?

— Ничего, — отвечает Уоллас и забирается обратно под одеяло. — Просто смеюсь.

— Надо мной?

— Нет, скорее над собой. Забавно. У меня так долго не было секса, и вот поди ж ты.

— Тебе понравилось?

— Ага, — отвечает Уоллас. — Все было здорово.

— Здорово? — хмурится Миллер. Уоллас целует его.

— Не терзайся, — говорит он. — Ты слишком много думаешь.

— А ты?..

— Что — я? — спрашивает Уоллас, Миллер глазами указывает на его пах. — А-а. Да все нормально.

— Точно?

— Точно, — отвечает Уоллас. Он не врет, сейчас у него при всем желании не встал бы. Дело не в Миллере, не в том, что он не хочет его. Нет, от него словно отделили какую-то часть, необходимую для того, чтобы трахаться и кончать. — Я устал.

— Я тоже, — говорит Миллер. А затем они просто лежат рядом и дышат. «Как прошлой ночью», — думает Уоллас. Не считая того, что теперь они лежат в кровати Миллера, не считая того, что они в другом районе города, не считая всего остального; все, как вчера, не считая того, что в мире что-то изменилось — он будто развернулся под другим углом, стал собственным зеркальным отражением. Уоллас по-детски радуется этому открытию, тому, что распознал эти изменения. Но рассказать об этом ему негде, нет на свете места, где он смог бы расположить свою находку и показать ее Миллеру.

Когда Миллер засыпает, Уоллас расцепляет его руки и вылезает из кровати. Тихонько одевается. Мечется в темноте, подбирая футболку,

свитер, ботинки. В комнате холодно, мир за окном посерел, наступает утро. Одевшись, Уоллас выскальзывает в темный коридор и спускается вниз. Миску свою он сейчас искать не станет. Оно того не стоит. Уоллас выходит на крыльцо и плотно прикрывает за собой дверь.

Сейчас, должно быть, четыре или пять утра. По дороге проносится пара машин. Светает. Уоллас сует ноги в ботинки и обхватывает плечи руками. Улица круто забирает вверх. Слева и справа виднеются знакомые дома, почти не отличающиеся друг от друга фасады. Бежевые, синие и защитного цвета. Накрепко закрытые двери. Террраски с деревянной мебелью или уродливыми диванами. Реденькая городская трава. Дерево странной формы. Аккуратно припаркованные возле домов машины. Уоллас идет вверх по улице, и в воздухе разносится негромкий стук его шагов. Кругом прохладно и сыро. Тело ноет, словно все расцарапанное изнутри. Впереди виднеется шпиль Капитолия, а за ним — серая масса озера. Он почти дома.

Неужели Миллер действительно едва не убил человека? Колотил кого-то, пока не затрещали кости, потому что не знал, куда себя девать? Да, ярость на такое способна, она передается от че-

ловека к человеку, как чума. Он и сам поступил жестоко за ужином, запустил в Винсента гранатой в ответ на сказанные не им слова. Рассказал Миллеру об Алабаме и тем самым побудил его рассказать об Индиане. Выходит, они обменялись жестокостью, передали ее друг другу, как вейп? Может, дружба и есть не что иное, как контролируемая жестокость? Может, этим они и занимаются — калечат друг друга, надеясь в ответ получить хоть немного доброты? А может, все дело в том, что у Уолласа в дружбе нет никакого опыта.

Но что такое жестокость, он знает. Может, в дружбе он и профан, но в насилии точно нет. Точно так же, как предчувствует перемену погоды, он может по малейшим признакам предсказать, что грядет насилие. Это его стихия, его родной язык, — он знает, как люди умеют мучить друг друга. И, задремывая в постели рядом с Миллером, он почувствовал именно это — что, если он останется, случится что-то ужасное. Может, не прямо сейчас и даже не завтра. Но рано или поздно на них обрушится что-то жуткое. Потому он и не остался. Зачем? Он уже ощутил это ноющей болью в животе, нарастающей тяжестью под веками.

Уоллас поднимается на вершину холма. Здесь улица выравнивается и впадает в примыкающий к Капитолию переулок. Вокруг много кафе и пекарен, только пока все они закрыты. Уоллас торопливо проходит мимо маленького дворика, где, развалившись на разрисованных скамейках, спят люди, укрытые отсыревшими одеялами. Пахнет мочой и протухшими объедками. Как легко он мог бы стать одним из них; оказаться бездомным — тут или в Алабаме. И ведь это тоже жизнь, один из вариантов кривой дорожки, на которую человек может свернуть.

Дойдя до дома, Уоллас понимает, что забыл мобильный у Миллера. Досадно, но не более того. Завтра понедельник. Они с Миллером встретятся на работе, в здании биологического факультета. Он попросит занести ему телефон во вторник или любой другой день — так, небольшая услуга, дружеская взаимовыручка. Просто и эффективно — и никаких попыток проникнуть в чужую жизнь, взболтать прошлое, как сырое яйцо.

Уоллас пускает горячую воду и забирается в глубокую белую ванну. Голубая вода доходит ему до груди, она такая горячая, что сидеть в ней почти невыносимо. В ванной тихо, яркий свет режет глаза. Он бы с удовольствием выключил его,

но боится, что, оказавшись в темноте, уснет. Не хотелось бы в одиночестве утонуть в собственной ванне. Интересно, кто его обнаружит? Сосед? Хозяин квартиры? Когда другие жильцы поднимут тревогу — отчего это в коридоре воняет трупным запахом? Или, может быть, Миллер заскочит и найдет его здесь?

Уоллас сдвигает колени. По воде идет рябь. Он все глубже погружается в невыносимый жар. Тело его теперь стало цвета глины, кожа, обожженная горячей водой, раскраснелась и зудит. Он намыливается, затем ополаскивается, вода в ванне сереет от пены, грязи и омертвевших частичек кожи. От него по-прежнему пахнет дымом — от костра, от вейпа, от рассказа Миллера о том, как тот в кровь избил курившего его сигарету мальчишку. Уоллас опускает лицо в воду, чтобы промыть от дыма глаза. Погружается все глубже, пока вода не начинает доходить до подбородка. Ноги покачиваются где-то сверху. Утонуть было бы так просто.

* * *

Позже Уоллас просыпается от настойчивого стука в дверь. Он пинками выгоняет себя из кровати, где провел последние несколько часов, то

проваливаясь в сон, то просыпаясь. На нем голубые хлопковые шорты и зеленый свитер. Жалюзи опущены, но квартира все равно залита слепящим светом. Уоллас открывает дверь. На пороге стоит Миллер с мокрыми после душа волосами и докрасна растертой кожей. Вид у него какой-то опрокинутый.

— Ты ушел, — говорит он. — Просто ушел. Я рассказал тебе всю эту хрень, а ты взял и ушел.

— Знаю. Прости. Я просто не хотел быть обузой.

— Я сказал тебе, что ты не будешь обузой. Сказал, что хочу, чтобы ты остался. А ты все равно ушел. *Ушел*, Уоллас.

Уоллас от всего этого уже устал. Они что, так и будут бегать друг за другом? Из одного района в другой, из одной кровати в другую? Он прислоняется к дверному косяку. Миллер протягивает ему мобильный.

— Ты забыл.

— Спасибо. Я думал, завтра попрошу тебя его занести.

— Завтра? — переспрашивает Миллер. В голосе его звенят обида и злость. Уоллас вздыхает.

— Да, на работе. Ничего страшного. Мог бы не приносить.

— Ты ушел, — повторяет Миллер. На нем расстегнутая кофта, а под ней какая-то короткая маечка. От спортивного костюма. Видно, как сокращаются мышцы живота. Миллер совсем запыхался. И взмок. Уоллас понимает, что он весь путь до его дома проделал бегом. И смягчается.

— Хочешь зайти?

Миллер жадно целует его в губы, затем переступает через порог и захлопывает за собой дверь в квартиру. У его губ свежий привкус. Ну, конечно, зубная паста. А сами они теплые и настойчивые. Миллер прижимает его к стене и продолжает целовать, Уоллас не противится. Они задевают метлу, и та с грохотом падает на пол.

— Я не знал, захочешь ли ты теперь вообще со мной разговаривать, — говорит Миллер. — Когда это успело стать для меня так важно? Не знаю.

Уоллас мог бы в ответ рассмеяться или надуться, но он просто не в силах. Миллер так искренне, так неприкрыто растерян, что насмехаться над ним было бы подло. Вместо этого Уоллас осторожно высвобождается из его объятий. И с ногами забирается на стоящий у окна диван. Миллер устраивает какую-то возню с барным стулом, передвигает его с одного места на другое.

— Что ж, спасибо, что принес телефон, — гово-

рит Уоллас. — Мне очень приятно.

— Мы сегодня все вместе завтракаем, — выпаливает Миллер. — Ну не все, но кое-кто будет. Давай с нами.

Уоллас уже готов отклонить предложение, но тут Миллер добавляет:

— Мне бы хотелось, чтобы ты пришел.

Небольшие услуги, думает Уоллас. Ничего, выходящего за рамки нормальных дружеских одолжений. Облизнув губы, он произносит:

— Ладно.

— Отлично, — отзывается Миллер. — Отлично.

* * *

На встречу они отправляются вместе. Завтракать условились в одном из открытых кафе на площади, столики в нем отделены от проезжей части живой изгородью. Они приходят первыми и занимают квадратный стол. Миллер беспокойно мнет его колено. Уоллас сидит, уставившись в свою чашку кофе. Мир вокруг слишком яркий, слишком насыщенный. Он бы с огромным удовольствием вернулся в постель. По площади медленно движутся машины. В воздухе звенит среднезападный акцент — это гомонят семьи, приехавшие поглазеть на Капитолий. Издали до-

носятся обрывки мелодии — уличные музыканты разогреваются перед долгим трудовым днем. Чашка у Уолласа оранжевая, пластиковая. На свитере нарисована утка. Солнце жжет затылок.

Вскоре появляются их друзья. Миллер тут же выпускает его колено. Лукас, Ингве, Том, Коул, Винсент и Эмма. Теперь, когда все собрались, они пересаживаются за длинный стол. От ребят все еще пахнет алкоголем. У всех на носу темные очки. Коул и Винсент держатся за руки. Должно быть, у них все наладилось. Уоллас вздыхает с облегчением. Эмма кладет голову ему на плечо. Уоллас ловит собственный взгляд в отражении очков Винсента.

— Умираю с голоду, — говорит Ингве. — Лукас, что ты будешь?

— Наверно, блинчики, — отвечает тот, внимательно изучая меню. Слово это он выговаривает этаким брезгливым тоном — Лукас вообще довольно привередлив. Коул целует Винсента в щеку, затем в макушку. Винсент смотрит сквозь Уолласа. Вернее сказать, стекла его очков устремлены прямо на него. Но куда смотрят спрятанные под ними глаза, остается загадкой. Официант приносит напитки. Эмме капучино, Тому двойной эспрессо, Уолласу воду, а Коулу и Винсенту,

которые, очевидно, настроены праздновать воссоединение, — две мимозы. Лукас и Ингве берут черный кофе. Миллер не пьет ничего. На плече его кардигана красуется дырка.

В итоге все они, словно загипнотизированные, заказывают блинчики. И даже Уоллас, хотя ему-то вообще есть не хочется.

— Слышал, я вчера пропустил все веселье? — начинает Том. — Что там у вас стряслось? — выспрашивает он, азартно блестя глазами. Том уже сообщил им, что всю ночь читал Толстого, выискивал аргументы для какой-то странной статьи. Что до Уолласа, он бы с куда бóльшим удовольствием поговорил о Толстом, чем о вчерашней вечеринке. Он бы о чем угодно сейчас с бóльшим удовольствием поговорил.

— Ничего, ничего, — заверяет Коул с улыбкой. — Так, пустяки.

— Ага, — подтверждает Винсент. Но не улыбается, и голос у него вовсе не веселый. Смотрит он при этом в сторону. Уоллас отпивает кофе.

— А я слышал другое, — ухмыляется Том и облокачивается на стол, который тут же начинает шататься под его весом. — Слышал, там были просто бои в грязи.

— Да нет, ничего серьезного, — отмахивается

Лукас. — Ингве, сахар нужен? — он передает Ингве несколько пакетиков. Ингве берет их, разрывает и высыпает содержимое в чашку. Том обводит собравшихся растерянным взглядом и оборачивается к Эмме:

— Детка? Ты вроде сказала, у вас вчера настоящий бедлам творился?

Эмма поднимает голову с плеча Уолласа и пожимает плечами:

— Да не о чем там рассказывать. Я же тебе говорила.

И Уоллас догадывается, что у этих двоих ничего не наладилось.

Том очевидно все не так понял, решил, что эпизод, о котором обмолвилась Эмма, — это некий забавный случай, который все с радостью обсудят. Что на вчерашней вечеринке кто-то перебрал, или отмочил глупость, или затеял какой-нибудь идиотский конкурс. Он не думал, что слово «бедлам» означает нечто плохое. Том смущенно горбится, и Уолласу становится его жаль. Вечно с ним так. Вечно он оказывается не в курсе событий. Но потом он вспоминает, что Эмма и Том поссорились, и жалость его испаряется. В конце концов, у него и своих проблем по горло.

— Даже не верится, что выходные уже заканчи-

ваются, — говорит Коул. — Правда, ребята?

— Точно, — отзывается Лукас. — Нужно сегодня сходить в лабораторию, подготовить все на завтра. Трудная будет неделька.

— Та же история, — кивает Ингве. — Очистка белков.

— Расщепление генома.

— Это самое сложное, — сочувственно кивает Эмма, снова укладывая голову Уолласу на плечо.

— А мне пассаж клеток нужно сделать, — говорит Коул. — А это… ну, сами понимаете.

— Чувствительных к свету?

— Ага, — кивает Коул. — И работать придется в холодной камере. Несколько часов.

— Захвати куртку, — советует Лукас.

— И долго ты завтра там пробудешь? — спрашивает Винсент, и Коул оборачивается к нему, уже натягивая на лицо виноватое выражение.

— О, малыш, не допоздна. Скорее всего часов до пяти.

Губы Винсента сжимаются в тонкую линию. Уолласу не нужно видеть его глаз, чтобы понять, что в них плещется разочарование. Хрупкое перемирие, которое заключили парни, уже под угрозой. Хочется пнуть Коула под столом, чтобы тот был начеку, но это не его дело. Солнце уже

стоит прямо над головой. Приносят блинчики, все такие мягкие, румяные и поджаристые. Уоллас взял без начинки, — на кухне их посыпали сахарной пудрой и украсили клубникой. Ему очень нравится сочетание сахара и терпких ягод, почему-то от этого вкуса он успокаивается. Уоллас, не отрывая глаз от тарелки, тщательно пережевывает пищу. Методично отрезает от блинчика мелкие кусочки и неторопливо отправляет их в рот. Иначе его после снова вывернет.

Миллер наблюдает за ним с противоположной стороны стола. Ингве и Лукас негромко спорят.

— Ты не говорил, что не придешь ночевать, — твердит Ингве. — Сказал, проводишь Нэйтана и вернешься.

— Ингве, я вчера устал. И вообще, куда делась Инид? Разве она не должна была остаться у тебя?

— Ей пришлось провожать до дома Зоуи.

— Что ж, очень мило с ее стороны.

— Ты не отвечал на мои сообщения.

— Я спал.

— Ну и прекрасно.

— Замечательно.

— Просто я не понял, что ты не вернешься. Ждал тебя. И мы с Миллером накурились.

Лукас пожимает плечами, а Миллер смеется,

чтобы разрядить обстановку. Ингве с Лукасом никогда не ссорятся всерьез. Это так, круги на воде. Волосы Лукаса пламенеют на солнце, кожа от обилия веснушек кажется загорелой. Он словно весь сделан из меди. Миллер толкает его локтем в бок.

— Ты что-то сегодня молчаливый, — говорит Уолласу Эмма, и у него все обрывается внутри.

— Просто ем.

— Все в порядке?

— Угум, — улыбается он, но Эмму не обманешь. Она кладет руку ему на ногу. И снова спрашивает, понизив голос, чтобы не услышали другие:

— Правда в порядке?

Что ему на это ответить? Что все одновременно в порядке и не в порядке, что он как бы с ними, но в то же время и нет, и вообще предпочел бы оказаться у себя в комнате?

— Устал просто, — говорит Уоллас.

— А когда ты вчера ушел? — спрашивает Винсент. Уоллас, даже несмотря на очки, чувствует, что тот сверлит его взглядом, и понимает, что на чем-то попался.

— Я ушел утром, — отвечает он, не успев придумать ничего другого.

— Ясно, просто мы все сидели во дворе, а ты в

какой-то момент взял и испарился, — говорит Винсент. — Что довольно забавно, учитывая… что это ты кашу заварил.

Уоллас слизывает сахарную пудру с уголка рта и переводит дыхание, стараясь успокоиться.

— Правда? Я? А я-то думал, это вы с Коулом.

— О, нет, Уоллас, это сделал ты.

— Винсент, — пытается унять его Коул.

— Это ты распустил свой длинный язык, а потом решил… Черт, не знаю, что ты там решил, но в итоге ты просто исчез. Как же так, Уоллас?

— Я не хотел затевать скандал, — оправдывается Уоллас. — Мне очень жаль, что все так вышло, но я не хотел.

— Серьезно? — продолжает нападать Винсент. — То есть ты не пытался подгадить другим из-за того, что сам несчастен? Из-за того, что злишься? И сам не знаешь, чего хочешь? Не так все было?

— Нет, — отвечает Уоллас, но произносит он это очень тихо.

— По-моему, Уоллас, не стоит тебе совать нос в чужие дела. Не то однажды сломаешь кому-нибудь жизнь.

— Это несправедливо, — вступает Миллер. — Перестань.

— А в чем дело, Миллер? Он влез, куда не просили.

— Малыш, — увещевает Коул. Щеки его горят. Он виновато смотрит на Уолласа, но тот лишь качает головой. В конце концов, он сам все это начал. Он заслужил.

— Нечестно винить Уолласа. Мы же друзья. Все иногда лажают, хорош уже, — вмешивается Ингве.

— Ничего, Ингве, пускай, — пожимает плечами Уоллас. — Винсент явно очень зол на меня. Все нормально.

— Все нормально, — повторяет Винсент. — Знаешь, Уоллас, если у тебя нет парня, это не значит, что мы все тоже должны страдать за компанию.

— Верно, — говорит Уоллас. — Ты прав.

— Винсент, — встревает Эмма. — Успокойся уже.

— Нет, Эмма. Я должен это сказать. А то он просто не понимает. Не понимает, что чужие отношения — это ему не игрушки. Что он не имеет права гадить другим. Это настоящая жизнь, Уоллас. Понял меня? Настоящая жизнь.

Уоллас медленно кивает, стараясь, чтобы кивок вышел безупречным, чтобы в нем чувствовалось искреннее раскаяние. У него получится. Каяться,

покаянно склонять голову — это важные жизненные навыки.

— Извини, — говорит Уоллас. — Прости за то, что доставил тебе столько неприятностей. За то, что обидел тебя. Я просто не подумал.

— Ты просто не подумал, — фыркает Винсент. — Просто не подумал о последствиях. О том, что кто-то пострадает. А это не игра, Уоллас. Это моя жизнь. И жизнь Коула. В следующий раз, уж будь добр, думай о других.

— Обязательно. Прости, — тихо отзывается Уоллас. В горло словно влили расплавленный асфальт. Миллер и Коул в панике переглядываются. Эмма гладит его по колену и лепечет что-то успокаивающее. Винсент снова принимается хлебать свою мимозу.

— Уоллас, — начинает Коул, но Уоллас поднимает на него глаза и улыбается.

— Все хорошо, Коул. Все в порядке.

Все потрясенно молчат, но вскоре тишину нарушает бренчание ножей и вилок. Прямо как вчера за ужином, когда Роман унизил его, а все, как ни в чем не бывало, вернулись к еде, вежливо отказываясь замечать, что ему нанесли удар. Уолласу не грустно. Ни скорбь, ни отчаяние его не переполняют. В конце концов, он был к этому

готов. Со вчерашнего вечера ожидал ответного удара. Даже удивительно, что Винсенту на это потребовалось так много времени. Уоллас вытирает губы салфеткой и отправляет в рот еще кусочек блинчика.

Старательно жует, хотя вкуса почти не ощущает. Миллер смотрит на него с тревогой, словно ждет, что он в любой момент испарится. Уоллас запивает блинчик кофе.

— А ты, Эмма, чем сегодня будешь заниматься? — спрашивает он.

— Ой, наверно, просто посплю, — смеется она. — Или почитаю.

— Я тоже, — подхватывает Уоллас. — Взял вчера в библиотеке книгу, про которую Том говорил. Пока нравится.

— Правда? — криво усмехается она. — Не говори Тому, не то он постоянно будет тебе что-нибудь советовать.

— А я совсем не против, — заверяет Уоллас. Том их не слушает, слишком занят своими блинчиками и беконом. Заедать стресс явно вошло у него в привычку. Он всегда свирепо набрасывается на еду, когда что-то его нервирует. Уолласу это знакомо. У него и самого от волнения разыгрывается зверский аппетит. — Что ты сейчас читаешь?

— Ой, я на строгой диете, одна Джуди Блум, — отвечает Эмма. — Классика, сам понимаешь.

Они невесело смеются. Глаза у Эммы красные. Она снова злится из-за того, как с ним обошлись, но, как и все остальные, не произносит ни слова.

— О чем это вы там шепчетесь? — спрашивает Ингве. — Расскажите всем, мы тоже хотим посмеяться.

— Мы обсуждаем книги, — с вызовом заявляет Эмма. — Ну, знаешь, настоящие взрослые книги.

Ингве смотрит на них с любопытством, наклоняется поближе и произносит заговорщицким шепотом:

— Обожаю настоящие взрослые книги.

Эмма не знает, как на это реагировать. Уоллас смеется. А Лукас объясняет:

— Вообще-то он не врет. Он очень любит русскую литературу. А еще Мьюра — по неясным причинам.

Эмма хмурит брови. А Том, внезапно заинтересовавшись разговором, вскидывает голову.

— Русская литература? Я сейчас как раз работаю над ее критическим анализом, — сообщает он. — Там столько измен, — от последнего слова Коул и Винсент вздрагивают. Уоллас наблюдает за ними — за тем, как они вдруг меняются в лице,

напрягаются, застывают. — Ну знаете, эти русские. У них очень строгие моральные нормы.

Ингве кивает и смущенно ерзает, осознавая всю неловкость ситуации.

— Да, милый, точно, — подхватывает Эмма. — Очень строгие моральные нормы.

— Некоторые считают, что Толстой…

— Пойдем сегодня на яхте? — спрашивает Миллер у Ингве.

— А ты хочешь? Можно.

— Я бы с удовольствием, — говорит Эмма.

— И я, — подхватывает Лукас.

— Хочешь с нами, Уоллас? Можем взять яхту побольше, — предлагает Ингве. От перспективы провести день на озере, под солнцем, среди всего этого мельтешения, Уолласа начинает подташнивать. Больше всего ему хочется вернуться в свою прохладную спальню, забраться в постель и уснуть на веки вечные.

— Нет-нет, спасибо. Я лучше побуду дома.

Миллер явно разочарован, но Уоллас этого просто не вынесет. Не сможет заставить себя так долго пробыть во внешнем мире. Ему отчаянно нужно спрятаться, уйти в себя.

— Как жаль, — говорит Ингве. — Мы бы отлично повеселились.

— Ну нет, давай с нами, — уговаривает Эмма, вцепившись ему в руку. Уоллас смотрит на нее в ответ, очень надеясь, что взгляд вышел жалобный и виноватый. Хватит с него на сегодня людей. Он сыт по горло. И минуты лишней не продержится. Так больше не может продолжаться.

— Не могу, — говорит он. — Ну, мне пора.

Прямо как в пятницу. Все повторяется. Уоллас целует Эмму в щеку.

— Я тоже пойду, — заявляет Миллер.

Уолласу хочется заорать. Похоже, эти выходные он не переживет. Не переживет этих постоянных повторов. И все же он не орет. Заталкивает крик поглубже в горло.

— Но мы-то на яхте выйдем? — Ингве торопится вырвать у Миллера обещание, пока тот не ушел.

— Да. Часа в три.

— Отлично. Я позвоню, забронирую лодку.

— Здорово. Спасибо, Ингве.

— Да ладно, — отмахивается тот. Уоллас уже вылезает из-за стола, и Миллер бросается за ним. Они заворачивают за угол. Из кафе их теперь не видно, и Миллер берет его за руку. Уоллас не противится.

— Все хорошо? — спрашивает он.

— Да, нормально, — отвечает Уоллас. — Но я

устал и хочу пойти домой. Хочу побыть один, если ты не против.

— Не против, — говорит Миллер. — Мне очень жаль, что Винсент так с тобой обошелся.

— Я сам напросился, — говорит Уоллас и смотрит мимо него, на уходящую вдаль улицу. Миллер сжимает ему руку, что, вероятно, должно его успокоить, внушить уверенность. В чем же Миллер пытается его убедить? Что он пытается сгладить, что исправить?

— Неправда, — возражает Миллер. — Ты такого не заслужил.

— А кто вообще что-то заслужил? — спрашивает Уоллас.

— Да брось.

— Все нормально, — заверяет Уоллас. — Все в порядке.

— Нет, не в порядке.

— Миллер, я не могу снова вести этот разговор, — быстро перебивает Уоллас. И выдергивает у него руку. — Просто не выдержу. Я не злюсь. Не бешусь. Но я не могу опять об этом.

— Уоллас.

— Нет, Миллер. Просто не могу.

Наверное, это самые правдивые слова из всех, что он произнес за утро. Он отказывается про-

должать, отказывается повторять все тот же сценарий, не хочет больше говорить на языке, по вине которого мир напрочь лишается честности. Уоллас не хочет, чтобы он вновь его поглотил — этот способ существования, когда ты смотришь, но не видишь, когда произносишь слова, но не говоришь. От того, что скажешь «мне жаль» или «ты этого не заслужил», сам факт случившегося никуда не денется. Уоллас просто устал.

— Чего не можешь? — спрашивает Миллер. — Чего ты не можешь? Не хочешь со мной разговаривать? Отлично. Не хочешь быть рядом? Превосходно. Давай иди. Все о'кей. Пока.

— Я не то имел в виду.

— А что тогда?

Что хочет побыть один. Что ни с кем сейчас не хочет разговаривать. Ни с кем не может быть рядом. Что все это его вконец измотало. Что больше всего на свете ему хочется выскользнуть из этой жизни в следующую. Что он в ужасе. Что жаждет рухнуть на землю и никогда больше не шевелиться. Что он сам не знает, чего хочет, но точно не этого, не двигаться дальше по дороге, вымощенной словами, которые они уже произносили, и поступками, которые они уже совершали. Уж лучше разрушить все и начать сначала.

— Не знаю, — говорит он и добавляет: — Я просто хочу побыть дома один. Может, лечь поспать.

— Ладно, — говорит Миллер. — Хорошо.

Порывшись в карманах кофты, он достает пачку сигарет, закуривает, затягивается и выпускает изо рта струйку дыма. Затем приглаживает рукой волосы.

— Черт, — бормочет он. — Черт.

— Я не злюсь, — говорит Уоллас.

— Знаю. Все хорошо. Просто все это так задолбало.

— Что именно?

— Не знаю, Уоллас. Ты, я, вся эта хрень с Коулом и Винсентом. Я даже на яхте не хочу идти. Предложил просто потому, что надоели все эти драмы.

— Знаю. Я догадался. Очень сочувствую, правда.

— Но теперь мне придется, — Миллер снова затягивается. — Придется кататься на гребаной яхте с Ингве и остальными.

— Я не могу с вами, Миллер.

— Знаю, что не можешь. Но потом мы увидимся? — спрашивает он тихим, вкрадчивым голосом. Уоллас просовывает руку под край его кардигана и касается пальцами обнаженного

живота.

— Не знаю, Миллер. Может быть.

— «Может быть» меня не устраивает, Уоллас, — из уголка его рта вырывается струйка дыма. — Мне нужно хоть что-то. Да. Нет. Но не «может быть».

— Зачем тебе вообще со мной видеться?

— Выходные еще не закончились, — отвечает он и улыбается. Улыбка выходит прежняя, застенчивая, та, из-за которой и начались все их неприятности. Уоллас отводит глаза.

— Позвони, — говорит он. — Там видно будет.

— Принимается, — отвечает Миллер, притягивает Уолласа к себе и обвивает руками. От него пахнет дымом, пеплом, но и апельсинами тоже. Уоллас обнимает Миллера за талию, и тот не пытается высвободиться. Сколько бы Уоллас ни твердил, что хочет побыть один, теперь, прижавшись к теплому телу Миллера, он понимает, что больше всего на свете хотел бы, чтобы его удержали. Но он не может заставить себя попросить об этом, к тому же позже он все равно пожалеет — пожалеет ровно в тот момент, как получит желаемое.

— Ладно, я пошел, — говорит он.

— Как скажешь, — отзывается Миллер. Уоллас

смеется и высвобождается из его объятий.

— Увидимся, — говорит он.

— Увидимся.

Уоллас идет по улице, но время от времени оглядывается, смотрит назад. И каждый раз видит, что Миллер стоит на том же месте, курит и смотрит ему вслед. Прохожих стало больше. И солнце светит. Яркое. Жаркое. И вскоре различить Миллера среди снующих по улице, спешащих к Капитолию и прочь от него людей становится невозможно. В конце концов, все они просто люди. Живут себе, ходят по магазинам, едят, смеются, спорят, делают то же, что и все на земле. «И это тоже настоящая жизнь», — думает Уоллас. Не только постановка целей и выполнение задач, но и столкновение с жизнями других людей. Когда смотришь на них в массе, каждый отдельный человек кажется таким незначительным.

Остановившись на углу, он прислоняется к стене дома и закрывает глаза. Земля покачивается под ногами. Впереди новая рабочая неделя, со всеми ее планами и обязанностями, а совсем скоро начнется новый учебный год. Можно и дальше идти той же дорогой, и тогда все это в конце концов поглотит его, он станет просто частью громады, и различить в ней его отдельную

жизнь будет не проще, чем разглядеть человека в толпе снующих по улице людей. Так все будет? Это с ним произойдет?

Уоллас отталкивается от стены, собирается с силами и плетется домой. Сейчас он ляжет на кровать, уснет и будет спать долго-долго.

7

На ступенях биологического факультета Уоллас обнаруживает умирающую птичку. Наверное, ударилась об оконное стекло на лету. Небо по-прежнему безоблачное и переливчато-синее, того оттенка, что увидеть можно лишь в конце лета. Заметив птичку, Уоллас застывает. Он их с детства боится. Это одна из тех не имеющих названия пичуг, что водятся на Среднем Западе. Серые перышки, белое брюшко. Голова ее почти целиком вдавлена в тельце, а длинные вытянутые ножки похожи на веточки кустарника. Временами она дергается и пытается развернуть крылышки. Из-под ближайшей скамейки к ней уже тянется ниточка муравьев, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что здесь вскорости произойдет.

Явление смерти в образцовом северном городе — такое внезапное, такое нежданное — выбивает его из колеи не меньше, чем сама птичка. Уоллас не помнит, когда в последний раз кто-то умирал у него на глазах. Не считая, конечно, тех червей, которых он сам же и сжигает, поддев титановой

проволокой. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз сталкивался с ясной и наглядной иллюстрацией того, как все в мире устроено, того, что отдельная жизнь конечна, но жизнь в целом всегда продолжается? Этого времени явно хватило на то, чтобы привыкнуть, что здесь смерти нет, она осталась где-то там, в прошлом. Впрочем, возможно он все еще взбудоражен своим рассказом об Алабаме и потому реагирует чересчур остро, придает этому происшествию слишком большое значение.

Интересно, как на смертном одре выглядел его отец? И после, на похоронах? А день был такой же, как сегодня? Да нет, наверняка было жарче, ведь это случилось несколько месяцев назад, в начале лета, а, значит, стояло жуткое пекло, и цикады орали, как бешеные. Уоллас переводит дыхание. Разворачивается. Поднимается по ступенькам и входит в здание. С него хватит.

Его встречает знакомое жужжание приборов, и он тут же расслабляется. Здесь, в помещении, куда прохладнее, чем на улице, промокшая от пота футболка постепенно высыхает. Уоллас поднимается на лифте на третий этаж и, шагая по галерее, ведет пальцами по гладким деревянным перилам. Пол внизу выложен фиолетовой плиткой,

на который нарисованы молекулы различных химических веществ. В одном из рисунков кроется ошибка — на нем изображен углерод с пятью химическими связями, они тут называют его «техасским углеродом» из-за того, что молекула по форме напоминает пятиконечную звезду с флага Техаса. Услышал об этом Уоллас в день своего знакомства с университетом и долго еще пытался отыскать этот неверный рисунок, а окружающие лишь смеялись и пожимали плечами. Им не нужно было видеть картинку, чтобы понять шутку. Позже кто-то объяснил ему, в чем тут соль — ведь углерода с пятью связями не бывает. Он улыбнулся и кивнул. Ну конечно, углерод может образовывать лишь четыре ковалентных связи. Он в курсе. Он ведь изучал химию.

В своем небольшом колледже в Алабаме Уоллас даже выбрал химию основной дисциплиной. Темой его дипломной работы были реакции присоединения органических веществ: в своем исследовании Уоллас пытался разобраться, как и почему в контексте химии окружающей среды две или более молекулы реагирующих веществ соединяются в одну. Его научный руководитель, высокий жилистый мужчина, страдавший тремором и ходивший враскачку, был уважаемым,

хотя и не слишком известным исследователем кислотных дождей. В своих работах он описывал процесс накопления в воздухе различных частиц, впоследствии образующих токсичные соединения, которые с дождем попадают на землю, загрязняют реки и разрушают городские здания. Задачей Уолласа было наблюдать за тем, как профессор готовит в пробирках различные растворы, а затем помещает их в спектральный прибор.

В то время, подробно описывая эксперименты своего руководителя, он еще не мог вникнуть в суть, однако старался запоминать все детали. Наука тогда интересовала его исключительно как способ уехать с Юга навсегда. И в тот день, когда сотрудник, проводивший экскурсию по университету, рассказал им об углероде, Уолласу оставалось лишь тупо моргать. Он в жизни не слышал ничего подобного. Учебные пособия, по которым он изучал химию, простора для юмора не оставляли. Ему и в голову не приходило, что углероду — даже в шутку — можно пририсовать пятую связь. Химию он штудировал, как другие учат французский — зубрил, заучивал наизусть правила, что, разумеется, не является лучшим способом получить знания, которые впоследствии намерен использовать.

Дверь в лабораторию открыта. Уоллас бросает сумку у стола. Включает компьютер. В почте уже ждет письмо — от Эдит, наверняка по поводу его конфликта с Даной. Можно на него не отвечать. И даже не читать. Но все равно ведь придется, верно? Это лишь вопрос времени. К тому же, если он не ответит сейчас, за этим письмом придет следующее, потом еще. Письма обрушатся на него шквалом, будут вонзаться, как ножи, пока он, наконец, не ответит.

Птичек за окном сегодня не видно. Уоллас открывает письмо и, прикусив губу, проглядывает текст. По большей части тут комментарии к его последнему отчету, но две помеченные красным строчки буквально выпрыгивают на него с экрана: «*Нужно поговорить. Я беспокоюсь*».

Уоллас тут же закрывает письмо. Внутренности завязываются узлом. Он крепко зажмуривается, и из темноты на него выплывает лицо Эдит, эти ее проницательные голубые глаза, невозмутимо его разглядывающие. Что она скажет ему в своем безупречном кабинете с линейной графикой на стенах и изящными датскими статуэтками? Что это вообще значит — «я беспокоюсь»? С Уолласа уже хватит чужого беспокойства и озабоченного внимания к своей персоне. Все это с самой

пятницы преследует его, как сухой навязчивый кашель.

— Привет, Уоллас, — слышится слева. Это Кэти с видом очень решительным подходит к его столу. — Хотела справиться у тебя насчет последних результатов. На какой ты стадии?

— О, Кэти, — отзывается он. — Я как раз принимаю меры, чтобы спасти ситуацию. Делаю все, чтобы восстановить штамм, — что за мерзкая неуверенность дребезжит в его голосе. Уоллас пожимает плечами.

— Отлично, но мне хотелось бы понять, на какой мы стадии в целом, в рамках всего проекта.

— Прости, я не совсем понимаю вопрос, — отвечает Уоллас, вверх по позвоночнику ползет страх. Кэти уже теряет терпение, глаза ее сужаются, мелкие черты лица заостряются. Опершись бедром о стол, она скрещивает руки на груди.

— Ты должен был заняться экспериментами с окрашиванием образцов, так? — Уоллас кивает. — Вот я и спрашиваю, как, по-твоему, эти результаты вписываются в проект. Я тут собираю материал для статьи и только что поняла, что вообще не в курсе, чем ты занимаешься.

— Предполагается, что окрашивание подтвердит предыдущие результаты, — помолчав,

медленно произносит он, тщательно обдумывая каждое слово, пытаясь вспомнить, чего ради он вообще затеял этот опыт. — Результаты твоей прошлогодней работы. Мы должны повторить их, и, собственно, этим я и занимался… повторял…

— И это заняло у тебя месяц.

— Да, Кэти. Это заняло у меня месяц.

— Просто, знаешь ли, у меня ощущение, что мне быстрее было бы самой все сделать, чем дожидаться результатов от тебя.

— Что ж, возможно, но это мой проект.

— Но статья не твоей фамилией подписана, не так ли, Уоллас? Это не твоя научная работа.

— И моей тоже.

— Твоя в списке авторов значится третьей.

— Верно, и все же она там есть. И проект по-прежнему мой.

— Но ты не… Не… — Кэти не то чтобы хмурится. Не то чтобы смотрит сердито. Нет, кажется, она пытается сформулировать суть того, что ее смущает и чего она никак не может понять. У нее взгляд человека, который судорожно копается у себя в голове, ворошит разрозненные мысли. Уоллас знает, она хочет сказать, что он работает недостаточно усердно, что ему недостает упорства. И старается подобрать для этого самые

мягкие и вежливые выражения.

— Это моя работа, — негромко, но твердо произносит он. — Моя работа, Кэти. Я стараюсь изо всех сил. Извини, если тебе кажется, что все идет слишком медленно.

— Ладно, хорошо, но ты не можешь прохлаждаться, пока другие трудятся, Уоллас.

— Я не прохлаждаюсь. Я делаю свою работу, — отвечает он. — Делаю все, что могу.

— Что ж, наверное, в тех случаях, когда твоих усилий недостаточно, лучше отойти в сторону. Ну, объективно, если ты сам не можешь справиться, эгоистично стоять на пути у других.

— А разве я стою у тебя на пути, Кэти? Так ты считаешь?

Кэти не отвечает. Даже не смотрит на него. Теперь она всем весом наваливается на стол и скрещивает ноги. Из другой части лаборатории доносится монотонный стук, звон лабораторной посуды. Шум воды. Уолласу становится холодно. Пальцы немеют.

Если он стоит у Кэти на пути, он отойдет в сторону. Если он стоит у нее на пути, он даст ей то, чего она хочет. Но она не хуже его знает: тот факт, что она может провести тот же эксперимент быстрее и эффективнее, не означает, что у нее есть время

им заниматься. Крупный проект не просто так поделили между несколькими сотрудниками: он взял на себя техническую часть, чтобы Кэти могла полностью посвятить себя более сложным экспериментам, потому что со всем сразу ей не справиться. Иногда приходится признать, что и у тебя есть пределы, что быть способным что-то сделать не означает иметь возможность это сделать. И Кэти этим страшно недовольна. У нее на лице написано, как все это ее бесит.

Вздохнув, она говорит:

— Ладно, давай уже просто побыстрее разделаемся с этой фигней. Я устала ждать, — развернувшись, она добавляет: — Выполни свою часть работы, Уоллас.

— Хорошо, — отвечает он. Ее слова неприятно жалят. У Уолласа болит голова. В лаборатории слишком светло. Что ему теперь делать? Впрочем, времени подумать над этим у него не остается, потому что из комнаты отдыха выходит Эдит. И, заметив Уолласа, направляется прямиком к нему.

— Уоллас, — голос у нее скрипучий, в нем неожиданно слышится южный акцент. — Есть минутка?

— Конечно, — отвечает он. — Конечно.

— Отлично, — теперь она улыбается. — Пройдем в мой кабинет.

Кабинет у Эдит угловой. Из окон его открывается вид на высящийся в отдалении мост и крепкие приземистые деревья. Еще из него видно заросли можжевельника, теннисные корты и даже кусочек озера. Сама комната просторная и светлая. На письменном столе множество книг и бумаг, но все они аккуратно разложены, и потому кажется, что на столе царит идеальный порядок. Эдит высокая. Любит прямые четкие линии. У нее стильная короткая стрижка и строгие очки, как у библиотекарши из мультфильма. Она придвигает Уолласу стул, а сама садится напротив, скрестив ноги.

— Итак, Уоллас, — начинает она и слегка разводит руки в стороны, — слышала, тебе в последнее время туго пришлось.

Уоллас не торопится отвечать на этот пробный выпад. Если он сразу с ней согласится, следующий удар она нанесет прямо в грудь. Если же попытается все отрицать, она уличит его во лжи, призвав на помощь сведения, полученные от Даны, Кэти и других, от его коллег, от профессоров — от всей своей армии шпионов, тайно наблюдающих за каждым его шагом. Эдит ждет его ответа с выра-

жением милостивого сочувствия на лице.

— Да, было жарковато, — с улыбкой признает он, стараясь поддержать заданный ею тон легкой озабоченности.

— Расскажи мне об этом. Очень жаль, что меня не было в городе.

А где, кстати, она была? В Копенгагене или в Лондоне? Еще у них с мужем, Жаном-Мишелем, американцем французского происхождения, есть квартира в Париже. В течение года случаются довольно долгие периоды, когда Эдит отсутствует в его жизни. Она много путешествует, часто выступает с лекциями о своих исследованиях — о тех, что ведет тут, в лаборатории, — и о науке в целом. В каком-то смысле ее можно назвать миссионером. И Уоллас даже понимает, почему так. В разговоре с Эдит легко почувствовать себя центром вселенной, поверить, что твои заботы — какими бы мелкими и обыденными они ни были — стоят внимания. Проблема в том, что с тем же вниманием она подходит и к твоим недостаткам — даже самым незначительным. Это касается всех, кроме Даны, у той словно бы есть врожденный иммунитет против этой стороны характера Эдит.

— Просто как-то все навалилось. Мои экспе-

рименты…

— Да, знаю, на чаши попала грязь.

— Точно. И я потерял все летние результаты.

— Это прискорбно, — хмурится она. — Жаль слышать, что тебе пришлось так нелегко.

— Все нормально, — машинально отвечает он. Она опускает руки на колени и несколько раз медленно кивает.

— Я вчера получила мейл от Даны, и должна сказать, у меня волосы встали дыбом, Уоллас.

— Да? — спрашивает он. — И что в нем было?

— Пожалуйста, не надо, Уоллас. Не притворяйся, что не знаешь, о чем было письмо.

— Ясно, — отвечает он. — Ясно, я понял.

Эдит хмурится, на щеках ее играют желваки. Затем она продолжает:

— Меня беспокоит, что вы грызетесь и создаете в лаборатории нездоровую атмосферу.

— Я понимаю, почему вам так показалось, — говорит Уоллас. — Но я такого не хотел.

— В моей лаборатории не может работать мизогин, Уоллас, — резко бросает она и смотрит Уолласу прямо в глаза, от чего ему внезапно хочется разрыдаться. Веки жжет от нахлынувших слез, но ему все же удается сдержаться. Уоллас старается дышать медленно и глубоко.

— Я не мизогин, — говорит он. — Не мизогин.

— Данино письмо… Уоллас, я ничего более ужасного за всю жизнь не читала. И подумала, что это не может быть правдой.

Проблеск надежды, короткая отсрочка. Уоллас кивает.

— Но я должна отнестись к этому очень серьезно. Должна подумать о том, как будет лучше для тебя, для Даны и для всей лаборатории. Как ты знаешь, я скоро ухожу на пенсию, и не могу позволить, чтобы тут царил такой разлад, — она разводит руки в стороны, словно на одной из ее ладоней лежит желание оставить его, а на другой — что ж…

Уоллас чувствует, как под ним разверзается пропасть. Он мог бы пересказать ей слова Даны. Мог бы заявить, что она расистка и гомофобка. Мог бы высказать все, что вертелось у него в голове с тех пор, как он попал сюда, — о том, как здесь с ним обходятся, как на него смотрят, каково это — работать в месте, где единственные похожие на тебя люди — уборщики, да и те относятся к тебе с подозрением. Он много чего мог бы порассказать, но знает, что все это не будет иметь значения. Ни для нее, ни для всех остальных. Потому что никому из них не интересно, что он чувствует, до

тех пор, пока это не касается их напрямую.

— Я понял, — снова тупо повторяет он.

— Я не прошу тебя уйти из лаборатории, Уоллас. Но прошу тебя очень серьезно подумать над тем, чего ты хочешь.

— Чего я хочу?

— Да, Уоллас. Подумай над этим. Ты действительно хочешь именно этого? Хочешь быть ученым? Посвятить жизнь исследованиям? Я должна быть с тобой предельно откровенна, это моя обязанность. Ты мне нравишься. Но когда я смотрю на тебя, мне не кажется, что ты этого хочешь. Как Кэти. Как Бриджит. Как Дана. По-моему, нет.

— Но я хочу, — возражает он. — Правда, хочу. Хочу быть здесь.

— Ты действительно хочешь быть здесь или… или просто не хочешь быть где-то еще?

Уоллас опускает взгляд на свои лежащие на коленях руки. Горло и губы у него пересохли. Он снова думает о той птичке, что билась в агонии на крыльце, а муравьи уже подползали, чтобы сожрать ее заживо. Шорты у него из синего хлопка, ткань выцвела от множества стирок. Он тычет пальцем в колено. В самом деле, чего же он хочет?

— Я не знаю, — наконец выдает он.

— Я так и думала. Может, не будешь торопиться и как следует над этим поразмыслишь?

— Ладно, — отвечает он. — Хорошо.

— Хорошо? — она опускает руку ему на плечо. Он не плачет, ничего такого, но отчего-то его сотрясает дрожь. Мир снова сместился, словно неожиданно выстроился по другой оси. Рука у Эдит теплая и твердая. Она гладит его по плечу. Вероятно, этот жест должен его приободрить.

— Это все? — спрашивает он.

— Все, — отвечает она и снова улыбается, демонстрируя свои зубы, не идеальные, потемневшие от старости, от кофе и от жизни, прожитой — пускай и лишь отчасти — за пределами их круга избранных.

* * *

Проходя по берегу озера, Уоллас слышит, как гудит, приближаясь к станции, поезд. Заслышав этот звук, он всегда останавливается, в какой бы части города ни находился. Словно одинокий крик, словно донесшийся из леса собачий лай — Уоллас как-то по-особенному на него настроен. В детстве, будучи впечатлительным ребенком, Уоллас верил в рассказы дедушки о призрачных

собаках, которые прибегут и заберут тебя, если будешь без дела слоняться по лесу и околачивать груши. Заслышав вдалеке собачий вой или скулеж, он в ужасе мчался вперед, не разбирая дороги, зная, что с какой бы стороны леса ни выбежал, все равно окажется в безопасности — либо у дома тетушек, либо у бабушки с дедушкой. Но иногда, расхрабрившись, замирал среди раскачивающихся сосен, расправлял плечи и, запрокинув голову, тоже принимался выть в чистое синее небо. В такие минуты в нем просыпалось что-то дикое, оно отчаянно рвалось на свободу, и он выл во все горло, его тоненький голосок постепенно слабел, начинал дрожать и наконец стихал совсем оттого, что в легких не осталось воздуха, а в груди сделалось пусто-пусто.

Пара минут — и поезда уже не слышно.

Уоллас снова идет по дорожке вдоль озера, но на этот раз сворачивает направо и обходит лодочную станцию, возле которой по-прежнему кучкуются парни, натирающие маслом лодки. Все они в низко сидящих на бедрах купальных шортах, все загорелые, с чистой, блестящей от пота кожей. Просто живое воплощение здоровья. Временами они хлопают друг друга по спинам свернутыми полотенцами. У доков дремлют жир-

ные утки. Уоллас проходит мимо общежития. Народ на балконах танцует, радуясь выходным. На фасаде здания полощется белый флаг с эмблемой университета, рядом, на лужайке, компания ребят играет во фрисби. Один из них, высокий, белокожий, наклоняется и, странно изогнувшись, бросает тарелку. Та поначалу вихляется, но затем, выправившись, по четкой дуге пролетает над головами сидящих на цветастом диване людей, и тут другой игрок, загорелый и коренастый, подпрыгнув, ловит ее в воздухе. Почему-то от этого зрелища на Уолласа снисходит некое подобие умиротворения.

Шум внутри стихает. Кажется, теперь он может рассуждать здраво. Уоллас останавливается на песчаной тропинке, развернувшись к озеру спиной. Мимо проносятся велосипедисты, движутся они так быстро, что глаз успевает ухватить лишь темные размытые силуэты. В зарослях ежевики тоненько пищат какие-то зверушки, по глади озера скользят яхты. На одной из них сейчас, возможно, катаются его друзья, понимает Уоллас. В конце концов, они ведь так и собирались — провести на озере последние солнечные часы воскресенья.

Он представляет себе, как Ингве и Миллер вы-

водят маленькую компактную лодочку в центр озера и там ненадолго ложатся в дрейф, чтобы все могли хлебнуть пива и виски, слегка разогреться, расслабиться, опьянеть. Чем четче Уоллас представляет себе эту картину, тем спокойнее становится у него на душе. Эмма с развевающимися на ветру волосами, должно быть, сидит на корме, скрестив ноги. Том читает или пытается читать, но куксится оттого, что его укачивает. Миллер глядит на воду, он всегда смотрит куда-то вдаль. Ингве, скорее всего, сидит, тесно прижавшись к Лукасу, — эта парочка, как всегда, вместе. А ветер, ровный, чистый, по-летнему теплый ветер уносит лодочку все дальше и дальше. Может, они пристанут к противоположному берегу, сойдут и отправятся обедать где-нибудь в той респектабельной части города. А потом вернутся сюда, потолкаются на пристани, загорелые, обветренные, опаленные солнцем. Вечером станет прохладнее, как бывает всегда в это время года. Куда же они направятся после? Может, на площадь? Или заскочат к Ингве и Миллеру — еще выпить и покурить. О нем они вряд ли будут часто вспоминать, это Уолласу известно. Вот разве что Миллер. Его отсутствия никто и не заметит, но винить в этом он может лишь себя. Надо было

сказать за завтраком, что он хочет с ними.

Оказаться сейчас с ними было бы проще простого, если бы он сам не разорвал эту связь, не сказал, что пойдет домой, отлично зная, что не сделает этого, что, распрощавшись с друзьями, сразу же отправится в лабораторию, а в квартиру заскочит лишь на минутку — взять сумку. Если бы он сам не принял меры, чтобы остаться один. И ведь это он тоже предвидел, верно? Обнимая Миллера на прощание там, на углу, он уже знал, что пожалеет о своем решении; и все же лучше быть здесь и жалеть, что не присоединился, чем быть с ними и жалеть, что не остался. Лучше издали представлять, как его друзья сейчас счастливы, чем наблюдать вблизи их несчастье. А в том, что они несчастны, нет сомнений, — это он за прошедшие выходные уже усвоил. Ведь именно оно, это неизменное несчастье, и есть единственное, что их связывает. И в ограниченном мирке аспирантуры они остаются лишь потому, что их пугает перспектива стать еще более несчастными.

Уоллас выходит на примыкающую к дорожке песчаную полянку и садится на скамью под деревьями. Ноги он подбирает под себя. Нагретые солнцем металлические рейки жгутся, но это приятно. Отсюда открывается потрясающий вид

на озеро. Голубые и темно-синие полосы тянутся до самого полуострова, который, формой напоминая сфинкса, вдается далеко в воду. Вдали видны лодки. Покрытые мхом ветви деревьев нависают над головой, даря блаженную тень. Но откуда-то издали уже набегают тучки, да-да, темные тучки. Будет дождь, — понимает Уоллас. А после сильно похолодает. Осень так близко, что в воздухе уже чувствуется ее привкус.

Внезапно его охватывает острое желание позвонить брату. Они не разговаривали уже несколько месяцев, ни разу с тех безумных недель, когда брат каждый день звонил ему, чтобы подробно рассказать о том, как там продвигается смерть отца. Поначалу врачи давали благоприятные прогнозы, и голос у брата был веселый, исполненный надежд. Но дальше… Перспективы все хуже, остановить рост опухоли не удается, незначительные победы, удачно установленный зонд для питания, вода в легких, отеки, органы начинают отказывать один за другим, и на каждый приходится отдельный звонок: сначала печень, потом почки и, наконец, сердце. Разговоры с братом напоминали те молитвы, что они в детстве произносили перед тем, как лечь в постель. Слова их уже тогда казались Уолласу бессмысленными, но

отчего-то проговорить их было необходимо. Так и теперь, Уоллас сразу понял, к чему все идет, знал, что брат просто обманывает себя, и, тем не менее, когда все закончилось, его это поразило, несмотря на то что именно такого конца он и ожидал. Потому что брату все же удалось заронить и в него искру надежды, крошечную частичку веры, что все еще может наладиться.

Вот и сейчас его тянет позвонить брату, чтобы ненадолго обмануться, убедить себя в том, что конец не близок, что отведенные ему часы жизни в этом городе у озера вовсе не истекают. Он может позвонить брату в Джорджию — тот живет там и работает плотником на государственном предприятии — и обрисовать ему факты. Это так просто. И, возможно, брат снова сможет подарить ему веру в лучшее, надежду, что мир еще может пойти на попятный. Уоллас достает телефон и смотрит на него. Он может это сделать. Просто позвонить и ненадолго стать чуть менее одиноким.

«Глупость», — думает он. Глупость какая, Уоллас. Убирает мобильный, встает со скамейки и идет по огибающей озеро дорожке обратно к пристани, где народ уже собирается на вечерний променад. Вечер еще не наступил, но все уже здесь, занимают места за знаменитыми разно-

цветными столами. В этой части города всегда много студентов и тех, кого Уоллас и его друзья называют настоящими людьми — местных, не имеющих никакого отношения к университету. Удивительно, как быстро он отвык жить среди них. Люди эти, с их одутловатыми лицами и щербатыми оскалами, теперь кажутся ему грубыми и уродливыми. Они идут по жизни с какой-то неуклюжей легкостью, не волнуются о том, что принесет им завтрашний день, потому что вариантов не так много. Ни один из них не станет тратить время на размышления о мельчайших переменах в своей судьбе. И похожи они на счастливых раскормленных рыб, живущих в рыбных хозяйствах. Появляются на свет и растут в ограниченном пространстве садка, а затем становятся чьим-нибудь ужином.

Уоллас сворачивает от озера к серой каменной лестнице и поднимается на верхний ярус набережной. До дома отсюда близко. Можно вернуться, но эта идея ему не нравится. Он слишком взвинчен, чтобы возвращаться домой. Тут рядом библиотека. Можно было бы пойти туда и провести пару часов в тихом прохладном уголке. Мимо, взявшись за руки, пробегают мальчик и девочка. Лет семи-восьми на вид, маленькие, белокожие,

резвые. Они смеются и мотают на бегу белокурыми головками. За ними следуют их родители, привлекательный мужчина средних лет — Уоллас вспоминает, что видел его в приложении, и темноволосая женщина с узким злым лицом, зелеными глазами и усеянной веснушками кожей, похожей на кожуру переспелого банана.

На нижнем ярусе набережной начинает рассаживаться оркестр — пухлые белые студентики в темных толстовках и потертых джинсах. Инструменты у них на вид очень дорогие. Уоллас замечает у столиков и нескольких чернокожих, но они не вместе, каждый сам по себе. Одна — молодая женщина с длинными косичками и кожей такой темной и гладкой, что он от одного взгляда на нее ахает — оборачивается на него и улыбается. Мгновенное узнавание — и внутреннее напряжение слегка отпускает. Она здесь с компанией белых девушек, все они одеты в яркие цветастые летние платья. На темнокожей девушке желтый сарафан. Она самая красивая в компании, но все они разговаривают, словно не замечая ее, обращаются к парням в карго-шортах и толстовках, что толпятся на нижнем ярусе. Один из них задирает ногу на площадку, где стоят девушки, сует пальцы в шлевки на шортах и

принимается горячо кивать. Темнокожая девушка оправляет сарафан, перебрасывает косички через плечо и улыбается, хотя по лицу видно, что ей скучно.

Уолласу становится жаль ее, а потом и себя — потому что с тех пор, как он сюда переехал, ему живется точно так же, как этой девушке. Такая уж она, жизнь среди белых. Его снова бросает в жар. На лбу выступают капли пота. Озеро колышется серыми и бирюзовыми волнами, и это слегка успокаивает. Над столами в поисках объедков снуют маленькие коричневые птички. Можно занять один из столиков и посидеть немного. Просто побыть на пристани. Позвонить Бриджит и позвать ее провести с ним пару часов у озера. От мысли о встрече с Бриджит, которая, наверное, сейчас как раз направляется в лабораторию, а, значит, находится где-то поблизости, на душе сразу становится легче. Это вполне можно устроить, и Уоллас, пока не иссяк запал, набирает ей сообщение. Вскоре она отвечает, что действительно тут недалеко и рада будет немного с ним потусить. «Вот и договорились», — пишет он и оглядывается в поисках свободного столика.

* * *

В итоге они занимают стол подальше от оркестра. Это нарочно. Играют тут всегда очень громко и не слишком хорошо, словно надеются децибелами компенсировать низкое качество музыки. На Бриджит снова надето что-то мягкое, волосы кое-как заплетены в косу. Они берут пакет соленого попкорна на двоих. Уоллас пьет воду. А Бриджит — слабоалкогольный эль из пластикового стаканчика. Ноги они забрасывают на свободный стул, а руки некрепко переплетают.

— Как прошли выходные? — спрашивает она.

— Да так, нормально, — отвечает он, думая о том, что они виделись только вчера и даже тогда он не был с ней до конца откровенен. — В целом, все хорошо.

Она смотрит на него искоса, но ничего не говорит. Катает в пальцах кукурузину. Солнце садится, и вода в озере становится все темнее. Воздух теперь свежее, ветра нет. К пристани начинают причаливать лодки, но часть еще скользит по озеру в сгущающихся сумерках. Вдоль берега расцветают огни. Уоллас подносит стаканчик к губам и кусает пластиковый ободок.

— У меня отец умер, — признается он. Бриджит,

вздрогнув, охает и разворачивается к нему. — Подожди, не психуй, это случилось несколько недель назад. И я в порядке, правда.

— Боже, Уолли, какой ужас, — лепечет она.

— Извини, что не сказал раньше. Извини.

— Не извиняйся, что ты. Ты как вообще, нормально? Господи боже.

Он уже готов сказать ей, все в порядке, ничего страшного, но в итоге не произносит ни слова. Бриджит смотрит на него в ожидании ответа, и он знает, что может дать его ей, может дать тот ответ, от которого им обоим станет проще, с которым им легче будет пережить эту секунду. Вот только он не хочет этого делать. Не хочет давать ей приемлемый ответ. Нет, его так и подмывает рассказать ей об отце, об Алабаме, о Миллере, о Дане, об Эдит. Так и тянет признаться, что он едва держится, что с него будто содрали кожу, что его все глубже и глубже затягивает в водоворот. Но с чего же начать, как заявить об этом миру, который так старательно отгораживается от всех жизненных невзгод? То, что он хочет сказать, слишком честное, слишком настоящее. У такого нет параметров. Когда человека вот так оглушает, ему не пытаются сделать еще больнее, его обычно успокаивают.

— Ага, — кивает он и давится этим словом. — Ага.

— Что это значит, Уолли? Ага? Что ты хочешь этим сказать?

— Просто… это нелегко. Нелегко мне пришлось, — произносит он, не вполне уверенный, что так тяжко ему именно из-за смерти отца, из-за этого странного горя, а не из-за всех остальных неприятностей. Так отчего же тебе нелегко? Уточни. Конкретизируй. Определи. Укажи. Что сказать? Как это выговорить? — Но я жив, — собственный голос кажется ему влажным и болезненным. — Жив.

Бриджит крепко обнимает его. Прижимается лицом к его взмокшим от пота волосам и долго не разжимает рук. У нее по этой теме тоже кончился словарный запас. Она не знает, как утешить его в том, что он не умеет высказать, и в итоге они просто теснее прижимаются друг к другу. Уоллас слышит, как гулко стучит ее сердце. От нее пахнет чем-то сладким и еще немного попкорном. Бриджит такая мягкая и теплая. Над ними, взмывая вместе с воздушными потоками, кружат чайки, и Уолласу от этого как-то не по себе.

— Ну вот, теперь ты знаешь. Извини, что не сказал раньше.

— Боже, Уоллас. А когда были похороны?

— Несколько недель назад.

— И ты не поехал.

— Нет, все случилось слишком внезапно. Да и далеко это. Оно того не стоило.

Бриджит ничего не отвечает, за что Уоллас ей благодарен. Она снова начинает жевать попкорн. А он прихлебывает уже нагревшуюся воду. Оркестр принимается, не попадая в ноты, наигрывать печальную мелодию.

Ну вот, об отце он ей рассказал, а обо всем остальном рассказывать как-то не тянет. Кажется, что этого достаточно, что из этой малой части можно достроить и все остальное.

Бриджит склоняется к нему, они сползают ниже на стульях, влажные бедра скользят по металлу, издавая забавный звук. И они хохочут. Хохочут, куда веселее и громче, чем того требует такой ничтожный повод, и вскоре смех их сменяется захлебывающимися рыданиями. Уоллас некрасиво всхлипывает и икает, словно забывшийся, давший себе волю маленький мальчик. Плачет, вместе со слезами выплескивая тяжесть и разочарование. Корчится, дрожит, шмыгает носом, прижимает ладони к горячим мокрым глазам. Бриджит рыдает, уткнувшись ему в плечо, с губ

ее срываются отрывистые спотыкающиеся звуки, похожие на те, что издавали зверюшки в зарослях ежевики.

В тот день, в Алабаме, когда тот человек уходил из их дома, Уоллас тоже плакал. И отец подошел к нему, схватил за талию и спросил: «Чего ревешь? Чего ты ревешь?» Причина казалась Уолласу вполне очевидной, но чем больше отец спрашивал, тем сильнее он начинал сомневаться в том, что знает, из-за чего плачет, и в итоге вскоре замолчал. Такой вот фокус сотворил его отец — сумел превратить уверенность в сомнение одним лишь вопросом: «Чего ревешь?» Почему он так поступил? Почему?

Но сегодня, с Бриджит, он отлично знает, отчего плачет, причины его слез пугающе отчетливы. Он рыдает, потому что не узнает себя, потому что путь вперед темен и неясен, потому что не способен сказать или сделать что-то такое, что принесло бы ему счастье. Он плачет, потому что застрял между этой жизнью и следующей, и впервые не знает, как лучше поступить — остаться или уйти. Уоллас плачет долго, плачет до тех пор, пока не понимает, что выплакал все слезы, что внутри у него образовалась полость, зияющая пустота, и теперь он весь гудит на ветру, словно

колокол.

* * *

К тому моменту, как они заканчивают разводить сырость, обоим немного стыдно. За то, что дали волю эмоциям. «Вообще это очень по-американски», — замечает Бриджит. За все приятное непременно должно быть стыдно.

— Это все потому, что мы протестанты, — продолжает она свою мысль.

— Разве ты не в католическую школу все детство ходила? — спрашивает Уоллас, а она смеется в ответ.

— Верно, но это ничего не меняет.

Потом они отправляются в павильон за мороженым. Уоллас заказывает ванильное в вафельном стаканчике, и Бриджит поднимает его на смех. А сама берет шоколадное в рожке — тоже, на взгляд Уолласа, не слишком-то смелый выбор. Стена в павильоне украшена чем-то вроде фрески на историческую тему — на ней изображен какой-то белый мужчина, занятый благотворительностью. Он раздает конфеты до странности похожим на чертенят темнокожим детям. Картина выглядит одновременно и жутко сентиментальной, и пугающей. В павильоне людно, народ слоняется

туда-сюда, болтает, ест мороженое и хот-доги. Музыка здесь слышна громче, на этот раз оркестр играет кавер какой-то рок-композиции.

Чуть поодаль Уоллас замечает незнакомца, который ест что-то из пластикового ведерка. Лицо у него худое, и когда он отправляет в рот очередной кусок, видно, как движутся жевательные мышцы. Как они сокращаются и растягиваются под оливкового оттенка кожей. Когда мужчина сглатывает, начинают работать мышцы горла, они проталкивают пережеванную еду все ниже и ниже, отправляют в черноту внутренностей. Совершенно обыденный примелькавшийся процесс, на него никто и внимания не обращает, и все же любой привычный процесс, если внимательно к нему присмотреться, начинает казаться невероятно странным. Вот, например, движение век над глазными яблоками — моргнешь, и весь мир на мгновение исчезнет. Или дыхание. Мы дышим постоянно, это не требует от нас никаких усилий. И все же, если подумать, воздух, вторгаясь в наше тело, совершает над ним почти насильственный акт — толкает, сжимает, раздвигает ткани, а уж сколько крови со всем этим связано. Если глянуть на самый обычный процесс вблизи, выясняется, что тень он отбрасывает

жутко странную.

Ко всему прочему, этот мужчина вызывает у Уолласа сексуальное желание, правда, акт желания не связан для него с сексуальными фантазиями. Для Уолласа в плотском влечении есть как бы два уровня — сам он всегда останавливается на первом, самом поверхностном: заметить объект, разглядеть фетиш, считать знаки. Но под этим верхним уровень есть и другой, более глубокий, — процесс желания, выраженный в десятках открывающихся возможностей. Трахать, сосать, щипать, лизать, кусать, пробовать на вкус, тереться, толкаться, прижиматься; влечение подразумевает, что тебя могут хватать, заваливать, прижимать к стенке, шептать что-то тебе на ухо. В нем есть куча подробностей — географических, физиологических, прочих. И потому за идентификацией сексуального объекта обычно следуют фантазии. На самом деле сам объект — это всего лишь тень открывающихся перед нами возможностей; сталкиваясь с человеком, мы понимаем, что хотим его, осознав, какие перспективы перед нами откроются, если подойдем к нему и скажем: *«Эй, посмотри на меня»*.

Но стоит Уолласу взглянуть на таких людей, людей, вызывающих у него желание, как ему тут

же становится паршиво. Любуясь их телами, он неизменно вспоминает, что и у него тоже есть тело, и тело это является одновременно и неким материальным объектом, и носителем, на который записана его история. Это и некое осязаемое «я», и в то же время его депрессия, его тревога, его расстройство пищевого поведения, его боязнь собственной крови. Тело — это «я» и «не я», образ и послеобраз. Глядя на красивого, сексуального человека, он чувствует себя несчастным, потому что осознает, какая пропасть их разделяет, какая пропасть лежит между его телом и телами других. Перед глазами тут же проносятся все те случаи, когда тело его подводило, и он особенно остро понимает, сколь несовершенен сосуд, в который он был помещен.

Дело даже не в том, что Уоллас хотел бы сам быть этими прекрасными людьми — хотя в гомосексуальном желании есть и такой аспект, так что, наверное, лучше было бы сказать: дело *не только* в том, что он хотел бы сам быть этими людьми. Суть в том, что он хочет не быть собой. Не страдать от депрессии. Не испытывать тревоги. Хочет быть тем, у кого все хорошо. Хочет быть хорошим.

Да, тело можно изменить, но только когда дело

касается физических параметров, того места, что оно занимает в пространстве. А как бороться с его неосязаемыми частями? Как оспорить хранимую телом историю, если она от него неотделима и день ото дня становится лишь длиннее? Как изменить эту часть? Он несовершенен. Некоторые его составляющие так и норовят выпасть. И — да, пускай это звучит, как нытье, но что делать, если это правда. Встретившись с разгуливающим по миру идеальным телом, он не может отвести глаз ни от него, ни от самого себя. Вот чем ужасна красота — она напоминает нам о собственном несовершенстве. Она безжалостна и жестока. Берет правду, оттачивает ее до невероятной остроты и вонзает нам прямо в сердце.

Идеальное тело чудовищно, оно преследует нас и бьет в самые слабые места. Вырывает из нас самые болезненные признания. Видя идеальное тело, Уоллас испытывает жажду, но вместе с ней и боль — это красота пробивает себе путь вовнутрь.

У Миллера тело некрасивое — по крайней мере, не такое совершенное, как у этого мужчины — и потому Уоллас способен воспринимать его как сексуальный объект. Это его уровень. В его теле, во всей этой долговязости, угловатости, редких

прослойках жира — есть что-то очень человеческое. В том, как оно твердеет или расслабляется, вдруг неожиданно оказывается упругим, гибким и сильным. Оно несовершенно, а потому доступно и понятно. Мужчина доедает, выбрасывает ведерко в мусор и уходит. Мороженое готово. Бриджит вручает ему стаканчик, и они выходят из павильона в сгустившиеся сумерки.

Стемнело, озера теперь почти не видно. Небо затянули те пухлые фиолетовые тучи, приближение которых Уоллас заметил еще пару часов назад. Дует промозглый ветер. Дождь, очевидно, все ближе. Где-то в отдалении уже ворочается гром. Определенно будет гроза.

Когда они возвращаются, столик их уже занят. Приходится сесть за другой, к несчастью, он прямо рядом с оркестром — все ближайшие к нему столы, как нарочно, свободны. На пристани уже собрались сотни людей. Возможно, это последние теплые выходные. Вскоре вечерами уже нельзя будет прогуливаться по набережной. Пара недель — и всему конец.

Теперь они сидят за столом желтого цвета. Бриджит, поджав под себя ноги, задумчиво облизывает мороженое. Уоллас ест медленно. В животе по-прежнему крутит, ноет желудок. Над

столом кружат осы, привлеченные мороженым и лужицей пролитого кем-то пива. Уоллас грозно смотрит на них, словно надеется, что это их отпугнет. Бриджит смеется.

— Можешь себе представить, что завтра уже понедельник? — спрашивает она, со стоном запрокинув голову. — Мне даже не верится.

— Понедельник каждую неделю бывает. Это что-то вроде тренда.

— С юмором у тебя не очень.

— Знаю. У всех нас есть свои сильные и слабые стороны.

— Злой ты, — отзывается она сухо, но не сердито. — Слышала, у вас с Кэти был разговор.

— Кто тебе сказал?

— Сама Кэти.

— О, можно было догадаться, — говорит он.

— Если хочешь… Ну, сам понимаешь.

— Понимаю, — отвечает он. — Понимаю, спасибо. Но думаю, деваться некуда, нужно просто взять и сделать все.

— Ладно, — кивает Бриджит, однако убедить ее, кажется, не удалось. Она беспокойно хмурит брови. «Интересно, что именно сказала ей Кэти, — думает Уоллас. Как она все это подала». — Кстати, она была не в восторге от того, что ты

сегодня ушел.

— Ага, я заметил, что она разозлилась. Впрочем, она всегда злится.

— Это верно. Все потому, что у нее скоро защита. Вот уедет она, и все снова станет хорошо.

— А после нее уедешь ты, — тихо произносит Уоллас. — Ты следующая.

— А потом *твоя очередь*! — жизнерадостно объявляет Бриджит, и Уоллас съеживается и замолкает. Мороженое отличное, такое холодное. И хорошо, что он выбрал ванильное — ненавязчивый вкус. Уоллас водит ложкой по губам, пока не чувствует, что те онемели. Салфетка, которой обернут стаканчик, размокла. Бриджит, догадавшись, что чем-то его задела, смотрит виновато. Но за что она просит прощения? В чем смысл перед ним извиняться?

— Эдит, — начинает Уоллас, глядя на воду, но прижимает язык к зубам. — Эдит велела мне очень серьезно подумать над тем, чего я хочу. Действительно ли я хочу остаться тут. В аспирантуре.

— Боже, — Бриджит закатывает глаза. — Вот же претенциозная пизда.

— Бриджит, — укоряет он.

— Но это правда. Что за вопрос вообще?

— Очень серьезный. У меня вышли кое-какие терки с Даной. Рассказывать особо нечего, но Эдит не на моей стороне.

Посерьезнев, Бриджит уточняет:

— Она что, хочет тебя выставить?

Уоллас не отвечает. Набирает в ложку побольше мороженого и сует его в рот, наслаждаясь тем, какое оно идеально холодное. Бриджит сжимает его руку.

— Ну так как?

— Она просит очень серьезно подумать над тем, чего я хочу, — отвечает он. — И это справедливо. Я ее понимаю.

— А я нет, — отзывается она. — Я вообще не понимаю.

— Не прикидывайся, Бриджит. Ты же знаешь, что мне было нелегко.

— Всем нам нелегко.

— Тебе — нет.

— Неправда, — возражает она. — И мне было сложно. Охрененно сложно.

— Серьезно? — спрашивает Уоллас и моментально понимает, что задел ее чувства. Сначала она смотрит на него изумленно, затем — негодующе.

— Уоллас, ты иногда такой эгоист. Представь

себе, мне тоже непросто приходится. Думаешь, очень приятно работать среди белых, которые примерно раз в час дают тебе понять, что ты полная идиотка? Ты не в курсе, что Эдит просила меня поделиться с ней рецептами японских блюд?

— Но ты же не японка, — пытается пошутить Уоллас, однако Бриджит в ответ лишь морщится от отвращения.

— И все-то я делаю недостаточно хорошо. Да я могла бы лекарство от рака изобрести, а Эдит бы этак на меня посмотрела, типа, ох, ну конечно, чем таким, как ты, еще заняться. Я для них не личность, Уоллас. Не Бриджит. А «та азиатская девушка». Только лицо — да и то в лучшем случае.

— Извини, — говорит он. — Мне правда очень жаль.

Его и самого бесит эта машинальная реакция. Это *«извини, мне так жаль»* настолько бесполезная штука, что предлагать ее в качестве ответа почти оскорбительно. Хочется проглотить собственные слова, затолкать их обратно. И пока она впитывает эти бессмысленные фразы, он замечает в ее глазах разделяющую их стену. Пусть ближе, чем Бриджит, у него в лаборатории никого нет, все равно она есть между ними, эта

стена. Они прижимаются к ней, каждый со своей стороны, но проникнуть сквозь нее, увидеть друг друга по-настоящему, не могут. И сейчас Уоллас как раз припадает к этой внутренней стене.

— Бриджит.

— Да все нормально.

— Бриджит.

— Уоллас.

Они оба на взводе. Подтаявшее мороженое стекает по ее пальцам, она поднимает руку и слизывает его. В уголках глаз блестят слезы. Похоже, он недооценивал глубину ее переживаний.

— Если ты уйдешь, — говорит Бриджит, разглядывая свой рожок, — если уйдешь, просто не знаю, что я буду делать. Правда. Но если оставаться здесь для тебя так мучительно, тогда лучше уходи.

— Я не хочу тебя бросать, — отзывается он. — И неудачником быть не хочу.

— Но ты и не будешь, — возражает она. — Бросить аспирантуру не означает стать неудачником. Тем более, если это сделает тебя счастливее.

— А как же ты?

— Придется как-то с этим примириться, — смеется она. — Но я буду за тебя рада.

— Давай сбежим вместе, — предлагает он чу-

точку серьезнее, чем собирался. — Уедем куда глаза глядят и ни разу не обернемся назад.

— Звучит, как сладкий сон, — отвечает она, но затем качает головой: — Понимаешь ли, Уолли, каким бы сладким сон ни был, все равно рано или поздно приходится просыпаться.

— Мне ли не знать, — кивает он. И все же не может перестать мечтать о жизни с Бриджит, такой простой и понятной, выстроенной согласно их представлениям о счастье. Можно было бы поселиться в ее маленьком домике с садиком в Ист-Сайде, варить вместе джемы и соусы, валяться с книжкой ленивыми солнечными вечерами. Спрятаться от всего мира и жить только вдвоем.

Доев мороженое, они поднимаются из-за стола. Разминают затекшие тела. Бриджит крепко обнимает Уолласа на прощание, ему ужасно не хочется ее отпускать.

— Останься, — просит он. — Пожалуйста.

— О, Уолли, — она целует его в щеку. — С тобой все будет в порядке. Береги себя, ладно?

Он провожает ее до верхнего яруса, машет рукой. А затем долго смотрит ей вслед, смотрит, как постепенно растворяется в темноте ее белый свитер. Все остальные ему абсолютно не важны. Не

имеют значения. Не имеют значения. Не имеют значения.

* * *

Уоллас идет домой. Он сильно устал, мысли еле ворочаются в голове. Днем он так долго торчал на солнце, что его клонит в сон. Хочется наполнить ванну и долго валяться в ней в полудреме. Жаль, нельзя просто взять и телепортироваться в свою квартиру. Хорошо хоть, идти недалеко. В белом свете фонарей он шагает по обсаженной деревьями улице. Вчера в это время он был в другой части города, с Миллером. С тех пор прошло только двадцать четыре часа — один оборот земли, одно перемещение во времени и пространстве.

Есть теория, согласно которой каждое мгновение нашей жизни совершается постоянно, и все они происходят одновременно. Он снова вспоминает ту строчку из «На маяк»: «Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли, как лес шумят, как листопад». Каждое мгновение. И ночь, проведенная с Миллером, и все события его жизни, что к ней привели, и тот мужчина в темной комнате — его костистое лицо теперь навсегда останется у Уолласа в памяти, и разрывающая на части боль от вторжения в тело — все это происходит

вечно и непрерывно. И тот пацан, на которого набросился Миллер, которого он так отчаянно избивал, и его горячая кровь, оросившая грязный заводской пол, — все это происходит одновременно, существуют каждую секунду.

Уоллас останавливается, придавленный тяжестью этого осознания. Хватается рукой за кирпичную стену, наклоняется, и его выворачивает. Двое крупных парней, шагавших мимо по тротуару, замирают и смотрят на него.

— Эй, чувак, ты в порядке? — спрашивают они, по-среднезападному четко выговаривая слова. — Все нормально?

Уоллас отмахивается, и те, не требуя больше никаких объяснений, идут дальше своей дорогой. Народу на улице много. Одни окликают друзей. Другие толпятся возле бара в конце переулка, кто-то курит. В воздухе пахнет дождем, сигаретами, пивом и мочой. Уоллас утирает рот. Глаза жжет.

Вернувшись домой, он, как и утром, залезает в ванну. Воду на этот раз делает не настолько горячей, чтобы казалось, что мясо слезает с костей, но все же довольно теплой. Он лежит, привалившись затылком к кафельной стенке, уровень воды постепенно поднимается. Внутри все бурлит и пылает. Плитка в ванной желтая, лампочка над

зеркалом слишком яркая, но Уоллас накинул на нее голубой шарф. Так, конечно, можно и пожар устроить, но он не собирается надолго тут задерживаться. Интересно, чем сейчас занят Миллер? Он обещал позвонить, но так и не объявился.

Наверное, он уже дома, с Ингве и Лукасом. Может, и Эмма с Томом к ним зашли, и Коул с Винсентом — вся компания собралась. Уоллас плещет водой в лицо, трет глаза, пытаясь побороть неуверенность. Останься он утром в кровати Миллера, и все могло бы сложиться иначе.

Но думать об этом нет смысла, нет смысла хотеть, чтобы все было по-другому, не так, как есть. Когда из этого выходило что-то хорошее? Когда это ему удавалось изменить мир, подогнав его под свои желания и нужды? Жизнь несется вперед, оставляя его позади; не дано ему получать удовлетворение от текущего положения вещей. Теперь он опускает голову на край ванны и смотрит вниз, на коричневый коврик, весь усыпанный волосами.

Насидевшись в ванне, Уоллас выбирается из воды и замирает перед зеркалом. Одной рукой трогает нависающий над бедрами живот, второй проводит по вялому пенису. Сжимает его и, не отрывая взгляда от собственного тела, пытается

придумать сексуальную фантазию. Пытается вызвать у себя эрекцию, отыскать где-то глубоко внутри тлеющую искру желания, но ничего не выходит. Что-то абсолютно необходимое для этого то ли умерло в нем, то ли не желает показываться. Ему не удается даже заставить член отвердеть достаточно, чтобы можно было подрочить. Желание накатывает на мгновение и тут же отступает. Уоллас заворачивается в полотенце и идет в темную прохладную спальню.

Тут работает вентилятор. Уоллас накрывает голову подушкой и старается уснуть, начинает обратный отсчет от какого-то гигантского числа, но все напрасно. Сон к нему не идет.

Тогда он достает мобильный и листает контакты, пока не останавливается на номере Миллера. Еще ведь не поздно, думает он. А затем нажимает на кнопку вызова и ждет. В трубке слышны длинные гудки. Ответа нет. Он ждет. Снова набирает номер. И снова ничего. Уоллас ложится на спину и вытягивает руки вдоль тела. Опять нажимает вызов и смотрит на свою тень на противоположной стене. Ответа нет, вскоре включается автоответчик, а затем наступает тишина. Уоллас дает отбой. И набирает номер снова, на этот раз сильнее давя на кнопку вызова, словно это заста-

вит Миллера снять трубку. Ничего.

Разве не говорил он раньше, что не переносит этих постоянных повторов? И что же, теперь он сам с маниакальным упорством снова и снова набирает все тот же номер, повторяет одно и то же действие, чтобы вызвать Миллера и повторить их сегодняшнее утро. Секунды бегут, а он все надеется, что Миллер ответит, скажет: «Привет, я сейчас приду». Но в трубке лишь тишина. Где он? Чем сейчас занят? Внутри все дрожит.

Уоллас идет на кухню, готовит кофе. Потом проходит в гостиную, ложится на пол и принимается пить, медленно, размеренно прихлебывает горячий черный кофе. Смотрит в телефон, экран светится в темноте, и отчего-то это успокаивает. Он читает в интернете статью какого-то безвестного поэта из Канзаса о новом квир-искусстве, новой поэтике тела — очень мало что в ней понимая — и вдруг текст пропадает с экрана, сменяясь изображением телефонной трубки. Мобильный вибрирует. Высвечивается номер Ингве.

— Алло? — произносит он.

— Алло, — говорит Миллер. — Привет, Уоллас.

— Миллер? — переспрашивает Уоллас, изумленный и счастливый. — Привет, как оно?

— Все нормально, слушай, я телефон в озере уто-

пил. Прости, что раньше не позвонил. Ты дома?

— Да, конечно, — отвечает Уоллас. На заднем плане шумно, слышна громкая музыка, болтовня, какие-то выкрики.

— Отлично, я скоро заскочу, о'кей? — спрашивает Миллер.

— О'кей, — повторяет Уоллас.

— Замечательно, прекрасно, превосходно, тогда увидимся, — говорит Миллер, а затем голос его тонет в шуме. Он пьян, понимает Уоллас. Видно, набрался с друзьями в каком-нибудь баре на набережной. Или где-то еще. Но он придет, или по крайней мере собирается прийти — за эту надежду можно ухватиться. Уоллас прижимается лицом к чашке и пытается отдышаться. Предстоящая встреча с Миллером его не страшит. Между ними уже слишком многое произошло, чтобы так нервничать. Однако внутри зудит что-то — не то чтобы острая потребность увидеть его как можно скорее, но какое-то дикое нетерпение.

Уоллас ставит чашку на стол и ищет, чем бы занять руки, чем бы заняться вообще. Затем садится на край постели и ждет. За окном, в переулке, снова орут — как и в пятницу, в тот день, когда он впервые был с Миллером. Раздается стук в дверь, и Уоллас призывает на помощь всю свою

выдержку, чтобы не броситься к ней бегом. Он открывает, на пороге стоит Миллер и смотрит на него пьяными глазами. На нем та же одежда, что и утром, — короткая серая маечка и распахнутая кофта. Пахнет от него пивом и озерной водой. Он сильно загорел. Щеки красные и обветренные.

— Уоллас, — сорванным голосом произносит он. — Как ты?

— Хорошо, — отвечает Уоллас. Они закрывают дверь.

— Уоллас-Уоллас, — нараспев повторяет Миллер.

— А ты как? — спрашивает Уоллас.

— Прекрасно, великолепно, превосходно, — Миллер прислоняется к стойке. Барабанит пальцами по животу. — Мы ходили на яхте. Жаль, тебя не было.

— Я был занят.

— Правда? — щурится Миллер. — Занят был?

— Правда, — слишком уж решительно заверяет Уоллас. Миллер, хмыкнув, прикусывает ноготь на большом пальце.

— Ясно. Ясно. Ясно, — повторяет он. Глаза у него налиты кровью. Костяшки пальцев ободранные и красные. Теперь, взглянув на него повнимательнее, Уоллас понимает, что ошибся и принял

за следы ветра и солнца ссадины и царапины. Его бросает в жар.

— Что с тобой стряслось?

Миллер обдумывает его вопрос, медленно растягивая губы в улыбке. Они тоже распухшие и потрескавшиеся.

— Ничего, — неспешно тянет он. — Ничего со мной не стряслось.

— Какой-то несчастный случай?

— Нет. Нет. Нет, — Миллер грозит ему пальцем, а затем снова прикусывает ноготь. Уоллас замечает под ним присохшую кровь. — Никаких случайностей.

— Что же тогда произошло?

Миллер смеется и качает головой. А затем хватает Уолласа за плечо. Внезапно испугавшись, тот пытается отпрянуть, но Миллер не отпускает его, не разжимает руку. Хватка у него железная. Пальцы до боли впиваются Уолласу в кожу. Миллер все смеется, только теперь с закрытыми глазами. И притягивает Уолласа к себе. От него так и пышет опасным жаром. Наклонившись, он припадает губами к его губам, и Уолласу жжет язык от привкуса пива, пепла, железа и крови. Он пытается высвободиться, но Миллер сильнее. Он разворачивает Уолласа спиной к себе, закиды-

вает руку ему на шею — не душит, нет, но почти — и прижимает к себе.

— Я подрался, — шепчет он. — Подрался в баре. Понимаешь?

— Что тут понимать?

— Понимаешь теперь, что меня надо бояться?

— Нет, — отвечает Уоллас. — Я тебя не боюсь.

Миллер давит ему на горло все сильнее, Уоллас уже трудно дышать.

Прижавшись лицом к его уху, он смеется низким мрачноватым смехом и спрашивает едва слышно:

— Уоллас, ты знаешь сказку про серого волка?

8

В квартире темно, Миллер жарко дышит ему в шею, и Уолласу от этого не по себе. А еще от того, что рукой он сильно давит ему на горло, — ощущение такое, будто Уоллас болтается над пропастью, подвешенный на гибких тоненьких тросах. Уоллас чувствует подбородком огрубевшую кожу на его костяшках. На самом деле Миллер не душит его, просто давит на шею, но из-за того, что он выше и сильнее, даже случайное сокращение мышц его руки может быть опасно. Все происходит так внезапно, что Уоллас теряется и на секунду зажмуривается, чтобы восстановить равновесие. И замирает, безвольно свесив руки.

— Помнишь ее? — спрашивает Миллер. — Сказку про серого волка и поросят?

— «Три поросенка»? — спрашивает Уоллас. — Ты про нее?

— Да, — смеется Миллер. — Про нее.

— И что? — спрашивает Уоллас. — При чем тут эта сказка?

Миллер прижимается щекой к его шее, кожей к коже, щетина колется и царапается. От него

пахнет алкоголем — виски, кажется. Он прижимает Уолласа к себе, почти баюкает. Можно было бы решить, что это он так нежничает, если бы не удушающий захват. Наверное, Уолласу такое объятие даже могло бы понравиться, если бы в нем не ощущалась толика насилия — по-настоящему Миллер ему не угрожает, но Уолласу уже случалось оказаться в таком положении с людьми, которые были больше и сильнее его, и те действительно хотели причинить ему вред.

— Ты впустил меня, — говорит Миллер. — Я постучался к тебе среди ночи, и ты меня впустил. А вдруг за дверью оказался бы волк?

— А ты волк? — спрашивает Уоллас.

— Не знаю. Возможно.

— Что с тобой стряслось, Миллер? Почему ты весь избитый?

— Я подрался в баре. А потом пришел сюда.

— Из-за чего подрался?

Миллер цокает языком и обхватывает его шею второй рукой, поверх первой. Подбородком давит Уолласу на макушку.

— Это не ответ, — говорит Уоллас и слегка расслабляется, потому что эта новая поза уже не такая угрожающая. И все же он по-прежнему не может двигаться свободно, что, по идее, должно

тревожить его чуть больше.

— А я и не отвечал, — говорит Миллер.

— Почему?

— Да какая разница? — вздыхает Миллер. — Кому, блин, какое дело? Теперь-то я здесь.

Голос у него до нелепости усталый. Но зачем тогда он спрашивал о волке и поросятах? К чему все это было? Уоллас обхватывает руки Миллера своими и принимается медленно нежно гладить их.

— Мне есть дело, — произносит он, сам понимая, что вышло слишком серьезно. — Я бы хотел понять, что с тобой случилось. В смысле, все ли с тобой в порядке.

— Правда?

— Да.

Миллер не отвечает. Уоллас ждет от него хоть чего-нибудь, но в тишине слышно лишь их негромкое дыхание.

— А что-то не похоже, — наконец выдает Миллер. — Не похоже, что тебе на меня не насрать.

— О чем ты вообще, Миллер? О чем ты говоришь?

— О том, что было утром, после завтрака. Да и ночью тоже. Я рассказал тебе ту хрень, а ты просто взял и сбежал посреди ночи. А еще раньше ты вообще говорил, что тебе все это не нужно.

Нужно было прислушаться. И почему только я не поверил?

— А какое все это имеет отношение к случившемуся? И к тому, в каком ты состоянии?

— Ну и вопрос, — пораженно отзывается Миллер. А потом смеется. — Охренеть вопросик.

Он разжимает руки и мягко подталкивает Уолласа в спину, чтобы тот от него отодвинулся. Уоллас нехотя шагает вперед и разворачивается. Упреки Миллера сильно его задели, внутри ноет, будто наливается синяк. Он понимает, что, даже если просто спросит сейчас, что Миллер имеет в виду, тем самым только докажет наличие в себе каких-то качеств, о которых пока и не подозревал. В окно глядят фонари, и фигура Миллера окутана темно-синим отсветом. Глаза можно различить в темноте лишь по блеску белков. Лицо кривится — то ли от злости, то ли это смутные тени создают такой эффект. Вид у Миллера пугающий, оскаленные зубы блестят во тьме.

— Что я тебе сделал?

— Ты наебал меня, — отвечает Миллер. — Влез мне в голову и все там на хрен перевернул. Я никогда никому такого не рассказывал. Никогда никому не позволял узнать себя с этой стороны. Но тебе рассказал. А ты просто взял и ушел.

— Прости, — отзывается Уоллас. — Мне показалось, если я останусь, случится что-то ужасное.

— Что-то ужасное, — пронзительно вскрикивает Миллер, и голос ему изменяет. — Это я, что ли, должен был сделать с тобой что-то ужасное? И какого же хрена, по-твоему, я собирался сделать, а, Уоллас?

— Нет-нет, не в этом смысле, — заверяет Уоллас. — Просто показалось, что надвигается какая-то катастрофа. Сам не знаю… Прости.

— Прости, — повторяет Миллер. — Вечно ты извиняешься, да, Уоллас? Интересно, тебе никогда в голову не приходило, что у других тоже есть проблемы? Другим тоже бывает страшно.

— И чего ты боишься? — спрашивает Уоллас, не успев прикусить язык. Вопрос выпархивает изо рта, как маленькая резвая птичка.

Челюсти Миллера движутся, словно он жует, перемалывает зубами нечто невидимое. Растягиваются и сжимаются сухожилия. На лице проступает жесткое выражение.

— Того же, чего и все, Уоллас. Что меня бросят. Задвинут подальше. Что меня окажется недостаточно. Что я гребаное чудовище. Представляешь, каково мне было, когда ты ушел?

— Нет. Расскажи, — просит Уоллас.

— Я почувствовал себя серым волком из сказки. Мне почудилось, будто я только что кого-то убил. Проснулся, увидел, что тебя нет, и такой — черт, Миллер, да ты просто монстр, настоящий монстр.

— Я не нарочно, я не думал, что ты так это воспримешь, — уверяет Уоллас.

— А ты всегда не нарочно. Как с Коулом и Винсентом, как с той девчонкой из твоей лаборатории. Ты вроде как никогда не хочешь ничего плохого, а в итоге выходит нечто ужасное. Тебя только *собственные* чувства волнуют, только *собственные*. И ничьи другие. Уж точно не мои, — Миллер сквозь стиснутые зубы втягивает воздух и пожимает плечами. — Уж точно не мои.

— Это неправда, — возражает Уоллас, но невольно задумывается: что, если Миллер прав? Тот стоит, скрестив руки на груди, и смотрит на него со смесью изумления и раздражения во взгляде.

— И вот вечером я пошел в бар, — начинает рассказывать он. — Вернее, мы отправились туда с Лукасом и Ингве. Пили, болтали… Но я никак не мог сосредоточиться на разговоре. Все думал о том, что случилось утром. О том, как я проснулся и обнаружил, что ты исчез. И о том, что мне понравился парень — парень, бля, охренеть

можно! — да, мне очень понравился парень, но тут вдруг оказалось, что я для него недостаточно хорош. Так, дрянь какая-то. Он просто использовал меня и ушел. А я-то думал, что знаю его. Я рассказал ему такое, чего раньше никому не говорил, и он рассказал мне такое, чего раньше никому не говорил. И я-то, дурак, думал, это хоть что-то значит. Ну вот, а остальное ты знаешь.

Уоллас не отвечает. Просто стоит и смотрит в разделяющее их пространство. Он не может заставить себя признать правоту Миллера. Днем, когда они прощались, все между ними было непросто, но, в целом, нормально, понятно. И верно, он даже не представлял, что Миллер так на него злится, так переживает. Они распрощались мирно, и он принял это за знак, что все в порядке. Но Миллер прав, он волновался только о себе, о том, что он Миллеру не подходит, о том, что он порченный товар. И даже не подумал, каким уязвимым чувствует себя Миллер, только что рассказавший ему о том, какую форму в его жизни приняло насилие. Не подумал, каково будет Миллеру уже во второй раз проснуться в одиночестве. Как же он оказался чудовищно близорук, думает Уоллас, и это осознание обрушивается на него всем весом.

— Но зачем ты в драку-то полез? — продолжает расспрашивать он. — Уж в этом я точно не виноват.

— Верно, — кивает Миллер. — Верно, Уоллас, в этом ты не виноват. Просто какой-то парень налетел на меня, и я ему: «Под ноги смотри», а он в ответ обозвал меня педиком. Можешь себе представить? — он коротко невесело смеется. — Обозвал меня педиком. Пришлось ему язык-то укоротить. Потому что я не педик, Уоллас. Не педик, — Миллер буквально выплевывает это слово, швыряет его Уолласу в лицо. Пронзает насквозь.

— Ладно, ты не педик, — кивает Уоллас. — Я уяснил.

— Отлично, — говорит Миллер. — Я рад.

— Зачем тогда пришел? Чтобы наорать на меня? Обозвать эгоистичным педиком? Меня тоже хочешь ударить? — Уоллас смотрит на него снизу вверх, округлив глаза и слегка приоткрыв рот. Так делать он научился в Алабаме, когда бродил по лесам, нарываясь на внимание и жестокость от встречных мужчин. Он расправляет плечи и чуть подается вперед. — Меня тоже хочешь ударить? Ты для этого пришел, чтобы хорошенько меня отделать? Так?

На шее Миллера пульсирует жилка, извивается под кожей, словно червячок. На его плечо и шею падает луч света, и потому жилка отчетливо видна в распахнутом вороте кофты. Он нарочно его доводит, и Миллер ведется, задыхается от ярости, раздувает ноздри.

— Не нарывайся, — рычит он. — Не нарывайся, Уоллас.

— Ну так давай, — говорит Уоллас. — Сделай это, если хочешь.

Рука Миллера взмывает так быстро, что Уоллас не успевает за ней уследить. На горло ложится шершавая ладонь. В кожу впиваются пальцы — не до крови, нет, но давят довольно сильно. Миллер наклоняется к нему с лицом, застывшим, как бесстрастная каменная маска.

— Ты этого не хочешь, — выплевывает он. — Ты не хочешь этого, Уоллас.

Уоллас, опустив руку, прижимает ладонь к его паху, сквозь джинсы сжимает член, чувствуя, как тот набухает кровью.

— Зато ты, по-моему, хочешь, — говорит он, и Миллер крепче сжимает ему горло, заставляя Уолласа вздернуть подбородок.

— Пошел ты, Уоллас, — шипит он. — Пошел ты.

И тут же впивается ему в рот, притягивает Уолласа к себе и до крови прокусывает губу. И Уолласа мгновенно затягивает, отпускает, перед глазами все плывет, тело становится невесомым. Миллер разворачивает его спиной к себе, сдирает шорты и втыкает в него пальцы. Это так больно, что Уоллас едва не плачет, но все же сдерживается. Лишь часто дышит, стараясь справиться с диким жаром, с грубым вторжением в его тело. Миллер, надавив на затылок, валит его лицом в скользкую холодную столешницу. Толкает так резко и сильно, что мир на мгновение проваливается в черноту, а затем снова выныривает из нее, посеревший по краям.

Грубые, толстые, твердые пальцы Миллера хозяйничают в нем, их приплюснутые кончики в любую секунду могут попросту его разорвать. По лицу и шее разливается мучительный жар, пахнет по́том, кожей, мылом и пивом. Глаза щиплет. Миллер вытаскивает из него пальцы, и Уоллас, внезапно содрогнувшись от холода, судорожно выдыхает. Слышно, как за спиной скрипят ботинки. Уоллас натягивает шорты, но не выпрямляется и не оборачивается, все так же лежит головой на стойке. Тело слишком тяжелое, чтобы шевелиться.

— Я не хотел, — говорит Миллер. — Не хотел, — голос у него холодный и колкий, как мокрый гравий на огибающей дом дорожке. — Я не хотел.

У Уолласа во рту привкус крови. Тело в том месте, где в него вонзались пальцы, жарко пульсирует, словно там открытая рана. Он с трудом выпрямляется и тут же, пронзенный острой болью, сгибается пополам и хватается за край стойки, чтобы не упасть.

— Черт, черт… — шепчет он.

— Уоллас, — Миллер трогает его за бедро, но Уоллас отшатывается, отпрыгивает в сторону. Теперь они стоят лицом к лицу. Уоллас хватается за спинку стула. Миллер тянется к нему, лицо его скрывает густая тень.

— Все нормально, я в порядке, — говорит Уоллас. Кураж уже выветрился, оставив после себя лишь тлеющие угольки, которые в дело никак не пустишь. Остается лишь вот так смотреть на Миллера.

— Прости, — говорит Миллер. — Прости. Не понимаю, почему я это сделал. Не понимаю.

— Потому что ты серый волк, — отвечает Уоллас и раздувает ноздри, пытаясь рассмеяться, но с губ срывается лишь судорожный всхлип. —

Потому что ты гребаный волк. — Миллер часто дышит, и живот его то надувается, то опадает. Он сжимает кулак, и Уолласа передергивает. Та ли это рука, что была в нем?

— Уоллас, — начинает Миллер, но ясно, что сказать ему нечего. Что вообще можно сказать после такого? «Он должен уйти», — думает Уоллас. Один из них определенно должен уйти. Ни тот, ни другой не двигаются с места, словно вообще потеряли способность ходить. Из переулка доносится ужасающий скрежет — видимо, кто-то из работников бара на углу тащит по асфальту мусорный бак. Шум нарастает, нарастает и, наконец, заглушает все остальные звуки. И все это время Миллер, не отрываясь, смотрит на Уолласа, а Уоллас — на Миллера. Они сверлят друг друга глазами, пытаясь понять, что означает это молчание, подобно тому, как некоторые пытаются по расположению мебели в помещении ощутить его энергию. Что может понять Миллер по тому, как сжались у Уолласа челюсти, как увлажнились глаза, как напряглась шея, на которой уже проступают синяки, по тому, как он переминается с ноги на ногу, мечтая выбраться из собственной кожи? Каким Миллер его представляет, — гадает Уоллас. Чувствует ли он его боль так же остро,

как сам он чувствует боль Миллера? Эгоистам, чтобы понять чужую боль, нужно соотнести ее с чем-то внутри себя. Есть ли Миллеру с чем соотнести эту его боль, уже созревшую и рвущуюся во внешний мир?

«Жестокость, — думает Уоллас, — на самом деле всего лишь проводник боли. Когда концентрация боли в одном месте начинает зашкаливать, жестокость переносит ее в другое. Боль расползается, как тепло, распространяется, как вирус, вызывающий неизлечимое заболевание. Все они инфицированы болью и бродят по миру, заражая друг друга».

Уоллас слизывает теплую кровь с уголка рта. Миллер делает шаг в его сторону. И Уоллас запрещает себе двигаться. Миллер такого не ожидал, внезапно они оказываются слишком близко друг к другу. Уоллас чувствует исходящий от Миллера запах секса, запах собственных внутренностей.

— Я тебя спровоцировал, — говорит он.

— Нет, — возражает Миллер. — Неправда. Это я облажался. Я, а не ты.

— Я тебя спровоцировал, а ты повелся. Все нормально.

— Неправда, Уоллас. Пожалуйста, перестань.

— Я тебя спровоцировал — и точка, — не уни-

мается Уоллас. Собственный голос доносится словно бы не из его тела, а откуда-то чуть позади и слева. Уоллас вдруг понимает, что по-прежнему видит мир серым и расплывчатым, по краям он колышется, словно флаг на ветру. Равновесие пошатнулось. — Я тебя спровоцировал, а ты повелся.

— Ты не провоцировал меня, Уоллас, — Миллер хватает его за плечо, и Уоллас, вздрогнув, вжимает голову в плечи. — Пожалуйста, Уоллас. Прости меня.

Уоллас держит рот на замке, потому что иначе будет бесконечно повторять одно и то же. Будто одна из тех игрушек, что при нажатии на живот выдают одну единственную фразу: *«Я тебя спровоцировал, а ты повелся. Все в порядке»*. За эти выходные он столько раз повторял: «Я в порядке», что уже не понимает, что это значит. Как именно он в данный момент должен себя чувствовать, чтобы быть в порядке? После того, как навлек на себя все это? А он ведь и правда сам все это на себя навлек, верно?

Вид у Миллера очень виноватый. Глаза печальные — больше не полуприкрытые, не загадочные, просто печальные. И теперь, наконец, Уоллас понимает, что выражает его взгляд — в нем све-

тится раскаяние. Миллер явился к нему злой, раздраженный, доведенный до ручки, теперь же он робкий и виноватый, как маленький мальчик. Он выплеснул свою ярость. Миллер обнимает его, и Уоллас не противится. Сдерживает ту часть себя, что пытается отшатнуться, пригибает ее к земле, давит, пока она не становится безвольной и податливой. Миллер целует его в губы и снова просит прощения, ему так стыдно за свое поведение, за то, что он причинил Уолласу боль. Он целует его снова и снова, и Уоллас позволяет, отвечает на поцелуи, закрывает глаза. Запускает пальцы Миллеру в волосы, приглаживает их, целует его в переносицу, в щеки. Миллер все продолжает шепотом извиняться, целует Уолласа в шею, в плечи, в ключицы и, целуя, принимается стаскивать с него одежду. И вот они уже на полу, раздеваются, не в силах оторваться друг от друга.

На этот раз, когда Миллер входит в него, Уоллас глубоко вдыхает, чтобы побороть боль и дискомфорт. Натягивает на лицо маску удовольствия. Вздыхает, когда Миллер прикасается к нему, стонет, когда тот погружается все глубже, а затем выскальзывает наружу, извивается, когда Миллер снова его целует. Но под этим удовольствием кипит колоссальная ярость.

Неужели вот что такое его жизнь — всего лишь вместилище чужой боли? Сосуд для сливания человеческих трагедий? Уоллас вонзает ногти Миллеру в спину, впивается изо всех сил, ведет пальцами вниз, к бедрам, оставляя длинные глубокие царапины. Миллер резко вскрикивает от боли и заглядывает Уолласу в глаза. Интересно, что он в них видит? Что смотрит на него из черного бушующего моря его ярости? Что за неведомые темные скалы открываются ему? Миллер наклоняется поцеловать его, и Уоллас кусает его за губу и изо всех сил вжимает колени ему в бока.

Это подстегивает Миллера, он принимается грубо в него вколачиваться, а Уоллас лишь отчаяннее впивается в него зубами, вонзается ногтями, словно из последних сил карабкается вверх по отвесной скале, словно от этого зависит вся его жизнь.

— Пошел ты, — срывается с распухших губ Миллера. — Пошел ты, Уоллас.

— Пошел ты, Миллер, — выплевывает Уоллас в ответ и, резко подавшись вперед, вонзает зубы Миллеру в плечо, загорелое и все еще теплое от дневного солнца. Вгрызается в него, как дикарь. Миллер отшвыривает его, Уоллас бьется головой об пол, и вот они уже дерутся, пинаются, перека-

тываются по полу и колотят друг друга о любую подвернувшуюся поверхность.

Он заваливает Миллера спиной на стойку, но тот своей длинной белой ногой отпихивает его к дивану. Кровь грохочет в висках, жарко пульсирует в носу, Уоллас изо всех сил пинает Миллера в бедро, на котором тут же начинает наливаться синяк. Миллер бросается на него, перехватывает его руки и прижимает Уолласа к грязному полу. Над головой крутит лопастями вентилятор. Миллер, весь мокрый, тяжело дышит, навалившись на него. Очень жарко. Капелька пота срывается с кончика его носа и падает Уолласу на грудь. За ней еще одна. Вскоре там образуется маленькая соленая лужица, крошечное море разливается по темной пустыне его кожи. Миллер пытается отдышаться. Уоллас плюет ему в лицо, тот отшатывается, и Уолласу удается высвободить руку. Он бьет Миллера кулаком в грудь. И еще раз. Снова и снова. Бьет кулаком в одно и то же место, а Миллер не сопротивляется. Просто впитывает его удары. Уоллас лупит его, пока не начинают неметь пальцы, пока рука не становится вялой, тяжелой и горячей, не способной больше причинить боль, движущейся лишь по инерции. Миллер обнимает его и притягивает к себе. И

больше они не дерутся. Все, хватит.

* * *

Вот теперь они лежат в кровати Уолласа. Уоллас — на животе. Миллер — на боку, разглядывая уродливые синяки на груди и спине. Вентилятор гонит в комнату сырой воздух с улицы. Они не спят, но лежат молча, словно окаменелые.

Уоллас все еще не чувствует руку. Пальцы отекли и распухли. Слишком сильная отдача. Слишком активное взаимодействие с чужим телом. Рука онемела и раздулась, а еще периодически ее пронзает какая-то странная боль. Только бы кость не была сломана. Когда Уоллас шевелит пальцами, кажется, будто под кожей ездит лезвие. Но шевелить он ими может, уже хорошо. Значит, есть надежда.

Миллер теперь совсем рядом. Уоллас чувствует, что он наблюдает за ним. Сам он смотрит на то место, где под подушкой лежит его согнутая в локте рука.

— Уоллас, — окликает Миллер.

— Что?

— Поговорим о том, что случилось?

— Мне бы не хотелось, — отвечает Уоллас. — Я бы лучше просто повалялся.

— Хочешь, чтобы я ушел?

— Нет… — начинает Уоллас, но осекается. — Я не хочу, чтобы ты уходил.

На самом деле он не хочет, чтобы Миллер ушел, и не хочет, чтобы тот остался, внутри поселилось какое-то холодное тупое равнодушие, однако привычка всем всегда угождать побеждает. В глубине души ему хочется нравиться людям. Миллер расслабляется, тело его обмякает. Оба они до сих пор голые и липкие от пота и грязи.

— Извини за то, что сделал больно, — говорит Миллер. — Прости, я вел себя мерзко и грубо.

Слова стучат об Уолласа, как мелкие капельки дождя, бьющие в оконное стекло. Каждое ударяется о него с глухим тихим звуком. Что они значат, эти слова? Каково их значение? За что Миллер извиняется? Разве они уже не отколошматили друг друга? Разве не рассчитались при помощи своих тел? Уоллас откашливается, смеется, снова откашливается.

— Не беспокойся, — говорит он. — Все в порядке.

— Мне так не кажется, — возражает Миллер. — По-моему, я в конец облажался. Чувствую себя просто отвратно.

— Правда? — спрашивает Уоллас.

— Уоллас.

— По-моему, тебя гложет чувство вины за то, что ты набросился на меня. Но я тоже тебя поколотил. Так что не за что тут извиняться.

— Уоллас, не в том дело. Тоже мне утешение. Ну да, ты мне отплатил, и что? Я-то все равно не должен был делать тебе больно. Я не должен был так поступать.

— Ну да, не должен был. Но именно так ты и поступил.

Миллер тяжко вздыхает, и воздух, сорвавшись с его губ, касается щеки Уолласа.

— Именно так ты и поступил, — продолжает он. — Но я пытаюсь сказать, что мне все равно. Мне неважно, что ты сделал. Это не имеет значения. Вообще.

— Конечно же, имеет, — горячо возражает Миллер. — Что это ты такое говоришь?

Уоллас осторожно переворачивается на спину и кладет на грудь подушку. Миллер подкатывается ближе, кровать под ними смущенно скрипит. На потолке лежат тени — свет проникает через окно и льется из ванной, яркой полосой надвое разрезая коридор, ведущий в спальню Уолласа. Уоллас смотрит в то место, где сходятся стены, и свет постепенно бледнеет, выцветает, пока не

становится того же цвета, что и краска, которой покрыт потолок. Он проводит языком по задней поверхности зубов. Язык саднит и ноет. Ворочается во рту мясистой массой. Мир по-прежнему кажется расплывчатым по краям.

— Когда я перешел в среднюю школу, отец съехал от нас, — начинает рассказывать Уоллас. — Поселился чуть дальше по улице, в доме, который построил отец моего брата. До этого в здании располагалась картинная галерея или что-то вроде. Сначала жилой дом, потом галерея, и снова жилой дом. В общем, отец переехал туда. И запретил мне его навещать. Сказал, что не хочет нас больше видеть. Я спросил почему. А он сказал — это неважно. Просто вот так. Он не хочет нас больше видеть. Не хочет видеть меня. Никогда.

Уоллас кружит возле этого давнего горького воспоминания, слышит доносящийся из прошлого голос отца, его хриплый смех. В тот день он стоял, положив руку Уолласу на плечо, качал головой и улыбался. Уоллас к тому моменту уже почти сравнялся с отцом в росте, пальцы у него были узловатые и костлявые. «Не хочу тебя здесь видеть», — так он сказал. Тем все и кончилось. Уолласа не удостоили объяснениями, не рас-

сказали, отчего их семья распалась и почему он должен теперь жить только с матерью и братом. И тогда он понял, что некоторые события происходят без всякого повода, что как бы он себя ни чувствовал, мир все равно не ответит, почему все произошло именно так.

Глаза снова щиплет. Он нажимает большим пальцем на переносицу. На ресницах вскипают теплые соленые слезы, но вниз по щекам пока не катятся. Уолласу грустно, голову словно набили стекловатой, и она колет где-то под скулами.

— Теперь он умер, а я так и не знаю, почему он не хотел, чтобы я был рядом. С того дня мы почти не виделись. До его дома было пять минут пешком, но он просто исчез из моей жизни, испарился. Пропал. Почему, я не знаю. И никогда не узнаю. Но, видишь ли, он был прав, это не имеет значения. Я ничего не мог сделать, чтобы заставить его передумать. Никто ничего не мог сделать. Неважно, почему он так поступил, важен лишь сам поступок. И все же мир не рухнул, продолжил двигаться дальше. Как и всегда. Миру нет никакого дела ни до тебя, ни до меня, ни до всего этого. Он идет себе вперед, да и все.

— Уоллас…

— Нет, Миллер, я ведь уже объяснял тебе там,

в твоей комнате. Все это не имеет значения. Я постоянно злюсь, но это неважно. Все ждут, что я отреагирую. Сделаю что-нибудь. Но я не могу. Потому что помню — как бы я ни поступил, это ничего не изменит. Я не могу отмотать жизнь назад. Не могу стереть те ее части, которые мне не нравятся. Не могу уничтожить то, что уже случилось. Значит, это не имеет значения. Ты это сделал. Теперь это часть нас. Часть нашей истории. Ты не можешь просто взять и выбросить свой поступок, как рыбку на рыбалке. Не можешь заменить его другим, как разбитое стекло. Он просто есть. Он теперь навсегда.

— Я не понимаю, — возражает Миллер. — Не въезжаю в то, что ты говоришь. Почему, если что-то случилось, мы не можем об этом поговорить? По-моему, как раз наоборот, разве нет? Мы должны об этом поговорить.

Уоллас качает головой, и перед глазами снова плывет. Он накрывает лицо подушкой и выдыхает в плотную ткань. Хочется кричать. Он не знает, как объяснить Миллеру, что слова бессмысленны, что это лишь сотрясение воздуха. В пересохшем горле жжет. Вот бы сунуть голову под воду и пить, пить до скончания времен.

— Думаю, в этом и разница между нами, — го-

ворит Уоллас. — Ты хочешь поговорить об этом. А я не вижу смысла.

— Я не могу притворяться, что ничего не было.

Уоллас улыбается в подушку.

— Но факт остается фактом, Миллер. Мне, чтобы знать, что это произошло, говорить об этом не нужно.

— Тогда почему ты на меня не злишься? Почему не орешь? Пожалуйста, сделай хоть что-нибудь.

— Мы это уже проходили, — говорит Уоллас. — Надоело. Хватит с меня.

— Неправда. Лучше скажи честно.

— Я честно говорю.

— Что-то не похоже, Уоллас. Не похоже на по-настоящему честный ответ.

Уоллас снимает с лица подушку и садится. Все тело саднит. Превозмогая боль, он выпрямляется и оборачивается к Миллеру.

— Ты считаешь, если я причиню тебе достаточно сильную боль, тебя перестанет мучить чувство вины. А сейчас ты кажешься себе чудовищем. Но штука в том, что я ничего тебе не должен, — говорит Уоллас. — Я уже подрался с тобой и не обязан делать тебе еще больнее. Не будь эгоистом.

— Я не… — начинает Миллер, но осекается. Растягивается на спине и накрывает лицо рукой.

Уоллас ложится рядом, прижимаясь плечом к его плечу. И, сосредоточившись на этом ощущении, начинает проваливаться в сон; мир смягчается, отступает, и вот уже Уолласу начинает казаться, что он плавает в море опавших листьев. Миллер размеренно дышит, и звуки эти кажутся Уолласу странно знакомыми — ну конечно, это ветер шелестит в зарослях кудзу.

* * *

Когда они просыпаются, тела у обоих ноют, покрытые синяками и запекшейся кровью. Они выбираются из постели в тот серый час, когда ночь начинает неумолимо превращаться в утро, и вместе отправляются в душ. Уоллас прислоняется к дальней стенке, а Миллер борется с краном, пытаясь настроить нужные ему напор и температуру воды. Сначала струя бьет Уолласу в грудь, но вскоре из душа начинает поливать их обоих. Ванная постепенно заполняется паром. Уоллас закрывает глаза, чувствуя, как по лицу и телу бегут горячие струйки. Миллер, как более высокий, упираясь руками в стену, пробирается в дальний конец ванны. Рассчитана она на одного, вдвоем тут сложно развернуться.

Вода приятно греет лицо и плечи. Уоллас наби-

рает ее в ладони и плещет себе на глаза и губы. В этом городе вода жесткая, и потому ее щедро сдабривают химикатами. Привкус у нее щелочной, и пахнет она то ли хлоркой, то ли чем-то еще, точно определить Уоллас не берется. Миллер снова обнимает его за плечи и прижимается к его спине. Липкие от влаги, они тут же прилипают друг к другу. Сквозь пластиковую занавеску льется бледно-желтый свет. Пар стоит стеной, по спине стекает вода, но Уоллас все же чувствует, как Миллер скользит губами по его шее, по тем местам, где уже наливаются синяки, словно надеется стереть их нежностью.

Он по-прежнему немного пьян, но здесь, в душе, алкоголь выходит наружу вместе с потом. Уоллас разворачивается к нему. Его волосы уже пропитались водой, а шея Миллера раскраснелась от бьющих в нее струек. Миллер смотрит на него, посмеиваясь. А потом наклоняется, чуть сгибая ноги в коленях. Слишком высокий…

— Все оказалось сложнее, чем я думал, — говорит он.

— Так всегда бывает.

— Наверное, ты прав, — соглашается Миллер. Уоллас прижимает пальцы к его животу. Миллер мотает головой, и брызги летят во все стороны,

колотятся о пластиковую занавеску. Чище им уже не стать, поэтому Уоллас выключает воду, и они вылезают из душа. Полотенце только одно. Уоллас вытирается первым и передает его Миллеру. Садится на раковину и смотрит, как тот возит им по своим белым рукам и ногам. Ванная для Миллера слишком тесная, фигура его производит здесь куда более внушительное впечатление. Теперь, когда Миллер смыл грязь и пот, на груди, в том месте, куда бил кулак Уолласа, заметнее проступают темно-фиолетовые синяки. Ярче становится и ссадина на щеке — это, должно быть, тот парень в баре его ударил. Губы у него тоже разбитые и припухшие. И на спине красуется продолговатый синяк. Уолласу кажется, что он похож на негатив той недосказанности, что еще осталась между ними. Миллер, оборачивая бедра полотенцем, смотрит на него, и губы его складываются в некое подобие улыбки. Однако она почти сразу вянет, или, вернее сказать, мрачнеет, ускользает.

Воздух в ванной влажный. Миллер наклоняется к раковине, упираясь руками в столешницу по обеим от нее сторонам. В запотевшем зеркале видно его расплывчатое отражение. Уоллас откидывается назад, прилипнув спиной к стеклу.

Несмотря на то что в комнате тепло, оно мокрое и холодное.

9

В следующий раз они просыпаются в темный предутренний час.

— Есть хочу, — говорит Миллер.

— Ладно. Давай накормим волка, — отвечает Уоллас. Миллер рычит, но угрозы в его голосе больше нет.

В кухне они занимают привычные места. Миллер садится на высокий стул и упирается локтями в стойку. Уоллас проходит за нее и принимается изучать содержимое холодильника. Те продукты, которые он отверг в субботу, внезапно обрели новый потенциал. Потому что теперь ему не нужно мысленно составлять карту пищевых предпочтений целой группы людей. Час поздний, а, значит, есть смысл учитывать лишь топологию голода Миллера, думать лишь о том, как заполнить пустоту в его желудке. Скорее всего в детстве его кормили тем же, чем и самого Уолласа, — мясом и овощами, пищей, содержащей много крахмала, масла и жира, той, на которую их друзья смотрят свысока, считая ее недостаточно изысканной. Но здесь, в темной кухне, Уоллас может приготовить

себе и Миллеру все, что захочет, не беспокоясь о том, сильно ли их вкусы отличаются от предпочтений других. Упершись кулаком в бедро и постукивая ногой по полу, он задумчиво вглядывается в холодное светлое нутро холодильника.

— Знаешь, в тот вечер… — начинает он, — я про пятницу… В тот вечер мне хотелось приготовить тебе ужин.

— Правда? Но почему? — спрашивает Миллер. Уоллас, даже не оборачиваясь, понимает, что он улыбается.

— Потому что ты сказал, что хочешь есть. А Ингве начал тебя дразнить. У тебя был такой жалобный вид. И я подумал, что мог бы что-нибудь для тебя приготовить. Но не решился предложить, — Уоллас достает из морозилки рыбу, из холодильника яйца, а из шкафчика — пакет с мукой. Потом опускается на корточки и берет с самой нижней полки скользкую, покрытую пленкой жира бутылку подсолнечного масла.

— Почему же не решился? — спрашивает Миллер, а Уоллас пожимает плечами. Потом распрямляется и ставит масло на стойку, к другим продуктам.

— Не знаю. Наверное, боялся, что ты догадаешься, как сильно мне нравишься. Показалось, что

это будет… — замолчав, он достает из духовки большую сковородку. Проводит по дну пальцем и убеждается, что поверхность сухая и чистая, без приставших потеков жира. Это хорошо. Значит, в прошлый раз он как следует ее отмыл. Уоллас кивает своим мыслям. Он хотел сказать, что подобное открытое проявление чувств показалось ему слишком грубым, подумалось, что это будет чересчур навязчиво. Он всегда считал, что, испытывая к кому-то привязанность, ты возлагаешь на него тяжкое бремя, весь груз своих надежд и ожиданий. Привязанность — это тоже в своем роде жестокость.

— Но теперь же ты для меня готовишь.

— Да, готовлю, — отвечает Уоллас, придвигая к Миллеру голубую миску и коробку яиц. — Пожалуйста, разбей туда три или четыре. И перемешай вилкой, но не взбивай.

Миллер, кивнув, берется за дело. Уоллас быстро споласкивает руки под струйкой воды и открывает пакет с мукой. Наклоняет его, и небольшая горстка, отделившись от общей массы, шлепается в деревянную плошку. Взмыв в воздух, мука медленно кружит, словно неспешно подает какие-то знаки. Уоллас опускает рыбное филе под горячую воду, хотя и знает, что так не делается.

Размораживать мясо нужно в холодильнике, чтобы оно оттаивало постепенно и в нем не успели размножиться бактерии.

Уоллас рассматривает кусочки тиляпии, каждый из которых покрыт твердой коркой льда. Можно разморозить их в микроволновке, а потом бросить в кипящую смесь масла и жира. Какова вероятность, что в рыбе успеют развиться бактерии, которые затем, попав в их организмы, вызовут понос и рвоту?

Он наливает в кастрюлю воды и опускает туда кусочки филе. Все будет хорошо. Рыба всплывает на поверхность. Она быстро оттает. Эти рыбки тоненькие, совсем не похожие на тех, крупных и толстеньких, что ловят, чистят и потрошат у них в Алабаме. Эти же за всю жизнь не видели ни реки, ни пруда. Их выращивали в специальных резервуарах, откармливали, чтобы после пустить в пищу. Они прямо как люди в этом городе, что всю жизнь снуют по узким каналам и, не задумываясь, поглощают растворенные в окружающей среде питательные вещества. В конце концов, культура — это всего лишь питательные вещества, пропитывающие воздух, которым мы дышим. Мы просто пассивно поглощаем ее вместе с ним, вот и все.

Может, именно к этой культуре он и должен примкнуть? Влиться в темную воду настоящей жизни? Он вспоминает, как Эдит с дружелюбной улыбкой наклонялась к нему в своем кабинете, за окошком которого лежал огромный голубой мир, и убеждала, что он должен очень серьезно подумать над тем, чего хочет от жизни. Вспоминает ее голос, такой ласковый, пугающе ласковый. Он может остаться в ее лаборатории, может остаться в аспирантуре. Может жить за толстым стеклом, наблюдая, как настоящая жизнь бурлит по другую сторону. Остаться будет очень легко — никаких усилий с его стороны, только склонить голову, покорно, словно в молитве, и позволить худшему пронестись над ней.

Зачем вырываться на свободу и становиться, как эти рыбки, как те одутловатые люди на пристани, движимые единственным желанием — дожить до завтрашнего дня? Жизнь их представляет собой не что иное, как чистейший биологический процесс, естественный инстинкт сопротивляться смерти, тянуть лямку из одного дня в другой, и время их утекает бессмысленно, как вода.

Но остаться в аспирантуре, остаться на том же месте — это все равно что признать: все его уси-

лия вписаться в здешнее окружение оказались тщетны. Это означает, что всю последующую жизнь ему предстоит плыть против течения по реке человеческой жестокости. Больно сознавать, что в таком случае ему придется навсегда спрятать ту часть себя, что сейчас пульсирует и корчится, живая, ту, что торчит как-то боком, как кривой зуб, ту, что напоминает новый орган, остро осознающий конечность своего существования.

«Остаться здесь и страдать или уйти и сгинуть», — думает Уоллас.

Он обмакивает рыбное филе в кляр и опускает его в кипящее масло. Оно трещит, брызжет и лопается пузырьками. Уоллас обжигает кончик пальца, но боли почти не чувствует. В сковородке плавают уже четыре кусочка рыбы — формой они напоминают вылепленные из глины человеческие фигурки.

Миллер по-прежнему сидит, облокотившись на стойку. Он натянул на голое тело шорты и один из тех свитеров, что Уолласу велики. На нем он кажется какой-то детской кофточкой. Подбородком он опирается на руки, на спине под свитером четко выступают позвонки. Лицо у него сейчас совсем мальчишеское.

Уоллас быстро обжаривает кусочки филе, переворачивает, как только зазолотятся, чтобы они получились хрустящими, но не сухими и не подгоревшими. А после они едят горячую рыбу, склонившись над бумажными полотенцами, вгрызаются в мягкую, белую, исходящую паром плоть. Уоллас предлагал подождать, пока остынет, но Миллер, забыв о хороших манерах, жадно набрасывается на еду, торопливо жует и причмокивает. По пальцам его стекает жир. Уоллас слизывает его, и Миллер в упор смотрит на него блестящими от желания глазами. Они едят, сидя рядом на стойке, соприкасаясь бедрами, едят, потому что, когда рот занят, можно не разговаривать. К тому же, о чем им говорить?

И такой могла бы быть его жизнь, — думает Уоллас. Есть с Миллером рыбу посреди ночи, смотреть, как сереет край неба над крышей соседнего дома. Такой могла бы быть их совместная жизнь — делить на двоих каждое мгновение, передавать их из рук в руки, чтобы хоть немного облегчить адскую тяжесть от необходимости переживать все в одиночку. Наверно, именно по этой причине люди и сходятся. Чтобы разделить время. Разделить ответственность за связь с миром. Жизнь кажется чуть менее ужасной, когда

можно на минуту остановиться, забыть обо всем и переждать, не беспокоясь, что тебя смоет потоком. Люди хватают друг друга за руки и держатся из последних сил, держатся, зная, что, когда силы иссякнут, можно будет без страха разжать пальцы, потому что другой их не разожмет.

Рыба получилась очень вкусная — горячая, сочная, солоноватая, маслянистая. Он посыпал ее перцем и слегка сдобрил уксусом — этой фишке в свое время научил его отец. В те годы, когда они еще жили вместе, работала в семье мать, а отец на всех готовил. В те годы он угощал Уолласа самыми разными деликатесами. В те годы он и научил его успокаиваться едой, предлагая то розовые маринованные яйца, то нарезанные кусочками клубнику, манго и папайю. Ведь именно с отцом он впервые попробовал все эти кислые, покрытые пушистой кожицей фрукты; отец выкладывал их на бумажную тарелку, а потом они вместе ели, сидя на заднем крыльце под солнцем, от которого кожа их приобретала оттенок глины. Как Уоллас мог об этом забыть? О том, как липли к пальцам кусочки сладкого манго, какими терпкими на вкус оказывались кругляшки киви, как отец учил его правильно выбирать фрукты в магазине — чтобы не слишком твердые, но и не

переспелые, чтобы кололись в ладонях.

Миллер предлагает Уолласу последний кусок рыбы. И тот, откашлявшись, качает головой.

— Нет, все нормально, — говорит он. — Сам доедай.

Слезает со стойки, моет руки над раковиной. Миллер наблюдает за ним. Уоллас чувствует, как взгляд скользит по его телу в поисках чего-то. И улыбается.

— О чем ты думаешь? Ты сейчас словно за миллион миль отсюда.

— Нет, я здесь, — отвечает Уоллас. — Где-то в этом мире.

Миллер смеется, сам же Уоллас может думать лишь о том, что сказал чистую правду, он где-то в этом мире. Одновременно и тут, в своем теле, в одной комнате с Миллером, и где-то еще; как будто все мгновения его жизни слились в одно — вот это, текущее; как будто все они к нему и вели. Он где-то в этом мире, во всех его точках, где уже побывал и где ему еще только предстоит побывать. Да, думает он, именно так.

Миллер слезает со стула, подходит ближе и становится у него за спиной, обнимает. Прижимается животом к спине Уолласа. Уоллас чувствует его — всего, целиком.

— Я тоже где-то в этом мире, — говорит Миллер.

— Вопреки всем твоим стараниям, — замечает Уоллас.

— Это еще что значит?

— Ничего. Так просто, надо же было что-то ответить.

— Считаешь, я хочу умереть?

— Нет, не считаю. А может, и считаю. Я об этом как-то не задумывался.

— Тогда зачем ты это сказал?

Уоллас обдумывает его вопрос. Сует пальцы под кран, вода становится все горячее, обжигает ладони. Миллер давит на него сзади, так что край столешницы впивается в бедра.

— Зачем ты это сказал? — снова спрашивает он низким грудным голосом. И крепче вцепляется ему в плечи, снова берет в захват. Тело Уолласа, словно водой, дюйм за дюймом заполняется жидким страхом. Кожа на ошпаренных руках уже зудит.

— Не знаю, — отвечает Уоллас, и Миллер сильнее давит ему на горло. — Не знаю.

— Мне это не слишком нравится, — говорит он, царапая Уолласу затылок колючим подбородком.

— Прости, — отзывается Уоллас.

— Я стараюсь быть в этом мире, — продолжает Миллер. — Стараюсь. Очень стараюсь. Это несправедливо с твоей стороны.

— Верно, — соглашается Уоллас. И выключает воду. Мокрые ладони пульсируют. Кожа на них раскраснелась. Миллер наваливается на него всем весом и упирается подбородком в нежное податливое местечко между лопатками. Уоллас испуганно вскрикивает от боли.

— Завтра понедельник, — говорит Миллер.

— Уже сегодня, — возражает Уоллас, он словно плавает внутри собственной кожи. — Он уже наступил.

— Точно, — кивает Миллер и отпускает Уолласа. Теперь он снова может дышать. — Хочешь кое-куда со мной сходить?

— Куда? — спрашивает Уоллас. И вытирает пальцы, дыша медленно и глубоко.

— На озеро.

— Сейчас ночь. Даже утро почти.

— Не хочешь идти, так и скажи.

— Ладно, я пойду.

— Ты не обязан.

— Все нормально, — говорит Уоллас.

* * *

Они обуваются и выходят в прохладную сырую ночь. На горизонте вздымается полоска серого света, словно новый мир восстает из старого. Воздух, кажется, можно потрогать руками. Уоллас натянул шорты, свитер и разношенные мягкие кеды. На Миллере тоже шорты и грубые ботинки, при каждом его шаге в темноте бледной вспышкой мелькают километровые ноги. Они бредут вдоль по улице, потом — мимо сгрудившихся у берега домов и, наконец, выходят на спускающуюся в воду лестницу.

— Давай, — подгоняет Миллер замешкавшегося на верхней площадке Уолласа. Он уже на первой ступеньке и смотрит на него снизу вверх. — Идем же.

— Что мы будем делать в воде? — спрашивает Уоллас. — Я не умею плавать.

— Не умеешь плавать? — удивляется Миллер. — Ты же с Мексиканского залива. Из штата с настоящими пляжами.

— Я не умею плавать, — повторяет Уоллас. Мать не разрешала ему учиться. Рядом со школой был бассейн, в котором детям до семи лет давали бесплатные уроки. Он умолял мать отпустить его

туда, позволить попробовать. Но она лишь велела перестать канючить, сказала, что его нытье отвратительно.

От какого-то темного внутреннего континента отделяется воспоминание и всплывает на поверхность. И Уоллас видит Миллера. Тот сидит на краю пирса в голубых купальных шортах. Он слегка обгорел. Длинный мускулистый торс. Темные волосы, широкий красный рот. Лукавая улыбка. «*Можешь меня намазать? Полить бальзам на раны?*» Яркий влажный запах алоэ. Бальзам от солнечных ожогов холодит ладони. Плеск озерной воды, чей-то звенящий в воздухе смех. Толстые белые облака на горизонте, густо поросший зеленью полуостров вдалеке. Миллер разворачивается к нему, во впадинке под горлом блестит капелька воды. И улыбается еще шире. *Прольешь бальзам на мои раны?*

— Я тебя научу, — говорит Миллер, подается вперед и хватает Уолласа за руку. — Иди ко мне, я научу тебя плавать.

Уоллас глядит на серую колышущуюся массу воды, на зияющую под ее поверхностью черноту. Там, вдалеке, за полуостровом, вода уже начинает поблескивать под первыми рассветными лучами. Обрамляющие берега темные изгороди

трепещут на ветру, словно крылья слетевшей к воде стаи птиц.

— Хорошо, — соглашается Уоллас, не вырывая руки. Миллер тянет его вниз, они спускаются по скользким бетонным ступеням. Погружаются в воду все глубже и глубже, и, наконец, Уоллас оказывается в открытом озере. Миллер, двигаясь легко и плавно, утягивает их подальше от берега. Его длинные руки и ноги уверенно разрезают толщу воды.

Тело становится невесомым, Уолласу кажется, что он утратил связь с землей, и все же он заставляет себя удерживаться на плаву. Миллер крепкими мокрыми ладонями берет его за запястья. И притягивает ближе. Обвив его руками, он велит Уолласу дышать, дышать и чувствовать, как тело становится все легче и легче, пока не обращается в ничто.

Уоллас лежит на спине. Порой набежавшая волна захлестывает его рот и нос, он пугается, что тонет, но Миллер, безмятежно улыбаясь, помогает ему восстановить равновесие.

Вода склизкая на ощупь, словно они оказались во рту у гигантского существа, а белая пена — это его бесчисленные зубы, вгрызающиеся в берег.

— Я раньше любил воображать, будто угодил в

чрево того кита, что проглотил Иону, — признается Миллер, лежа на спине рядом с Уолласом. — Плавал и представлял себе, что я у него в брюхе.

— Звучит довольно странно, — говорит Уоллас, в ушах гудит вода.

— Так и есть, — отвечает Миллер. — Когда ты в брюхе кита, ничто уже не имеет значения. Вселенная может хоть провалиться, ты все равно не узнаешь. Потому что живешь уже в другой вселенной.

— А я в детстве боялся притчи о том, как расступились воды Красного моря, — вспоминает Уоллас. — Сам не знаю почему. Но когда нам рассказывали об этом в церкви на Пасху, мне всегда становилось грустно и страшно. Это ведь жуть какая-то, когда у тебя над головой висит такая масса воды.

— Представляю, — отвечает Миллер.

— Еще как возьмет и хлынет вниз. Ведь египтян, преследовавших евреев, она поглотила.

— Точно.

— Когда меня хотели крестить, я ужасно испугался, что утону — прямо как в «Исходе». И в итоге так орал, рыдал и отбивался, что от меня отстали.

— То есть ты некрещеный?

— Нет, — отвечает Уоллас. — Единственный из всей семьи.

— А в Бога веришь?

— Я? Нет. Ну… Наверное, нет. Больше нет.

— Наука это тоже в своем роде Бог, — замечает Миллер.

На это Уоллас не отвечает. Только спрашивает:

— Почему ты захотел привести меня сюда?

— Наверное, потому что мне захотелось оказаться где-то еще.

— В смысле, не в моей квартире.

— Да. Там становилось душно. И мне захотелось оказаться в каком-то более просторном месте.

— Я хожу на крышу.

— В смысле?

Уоллас оборачивается к нему, но тут же теряет равновесие и уходит под воду. Мир внизу черно-зеленый. Опоры пирса густо увиты водорослями, а под самой поверхностью воды висит пленка цвета ржавчины. Тут Миллер вытаскивает его, и Уоллас судорожно вдыхает, наслаждаясь ощущением заполняющего легкие воздуха.

— Оу, — говорит он.

— Осторожнее, — строго отчитывает его Миллер. — Не умри мне тут.

— Постараюсь, — вытирая глаза, говорит Уол-

лас.

— Что это ты такое сказал про крышу?

Уоллас откашливается и трясет головой, чтобы выбить воду из ушей.

— Бывает, мне начинает казаться, что стены на меня давят. Тогда я поднимаюсь на крышу дома.

Миллер задумчиво кивает, затем тихо спрашивает:

— Отведешь меня туда?

— Ладно, — отвечает Уоллас. — Хорошо.

* * *

В отсыревших ботинках, в промокшей насквозь одежде, они переходят улицу и направляются обратно к дому. Заходят в лифт. От обоих сильно пахнет озерной водой, водорослями, пóтом и жареной рыбой. А в лифте пахнет пивом. Глаза у Миллера красные — то ли от усталости, то ли от купания. Они держатся за руки, и вода капает с их переплетенных пальцев на темный ковер. Вот так, победив гравитацию, они взмывают вверх. И выходят в мир, за это время сменивший черный цвет на серый. Наступает утро. Крыша покрыта металлическими пластинами, усыпана щебенкой и утыкана антеннами. Уолласу сразу же начинает казаться, будто он смотрит на мир

в перевернутый бинокль — все большое стало маленьким, все шершавое — гладким. Они забрались так высоко, что теперь почти парят в небе, как птицы. В такие моменты Уоллас очень остро ощущает свою удаленность от земли. У него начинает слегка кружиться голова, но он прячет дискомфорт за слабой улыбкой. Миллер потрясенно присвистывает.

— Охренеть! — произносит он.

— Ага, — отзывается Уоллас, глядя, как гравий темнеет от капающей с них воды. Неровно расколотые камешки обращаются в прах под их ногами. Кто-то вытащил на крышу шезлонги и маленький столик. Есть тут и мангал — это единственное место в здании, где можно разводить огонь, что кажется немного нелогичным. Зачем жечь костер в самой высокой, самой труднодоступной точке? И все же он здесь, мангал, — черный, металлический, стоит в углу, ближе к той стороне крыши, что смотрит на город, а не на озеро.

Озеро же ярко сияет у них за спиной. Миллер подходит к краю крыши, облокачивается на доходящие ему до пояса перила и смотрит на мир.

Уоллас сидит рядом на земле, подтянув колени к груди. Обычно он приходит сюда один,

чтобы подумать немного и побыть собой. Чтобы ощутить весь окружающий его огромный мир, почувствовать, как вечно сменяющиеся воздушные потоки гладят его, словно ласковая прохладная рука. Он приходит сюда, чтобы сбежать ото всех. Но сегодня он здесь с Миллером.

Миллер опускается на корточки, затем садится рядом с Уолласом. Так сидят они долго, щебенка впивается в ноги, и поначалу это больно, но со временем уже и не чувствуется, как всегда бывает в жизни. Они смотрят, как восходит солнце, как его желтый свет пропитывает все вокруг, выжигая утреннюю дымку. Они не шевелятся, и вот уже внизу, на улицах, начинают рычать моторы первых машин, и мир, завершив очередной виток вокруг своей оси, начинает движение заново.

10

Уоллас приехал на Средний Запад в небывало жаркий июльский день. Добираясь сюда из Алабамы, он целые сутки трясся в «Грейхаунде». Теннесси они покидали под покровом темноты, и Уоллас спал, когда они оказались в том странном царстве, где местность постепенно выравнивается и сглаживается, лишь изредка давая место ледникам и зубчатым горным кряжам. Раньше он никогда не выезжал с Юга, хотя и мечтал об этом очень давно. И теперь, вырвавшись наконец на свободу, был в полнейшем восторге. Однако сойдя с автобуса, обнаружил вдруг, что здесь царит такая же духота, как и в родных краях. Он не знал, чего ожидать, и этот липкий воздух вызвал у него прилив беспокойства. Но все это было вчера. Сегодня же он стоял на пристани и озирался по сторонам, разглядывая снующих туда-сюда людей.

На вид они были довольно приветливы, как и во всех других городах. Улыбались ему, и он улыбался в ответ. Он торчал посреди дороги, и, обходя его, они вежливо извинялись. Дома, оказавшись

на берегу океана, можно было лишь бесконечно восхищаться огромными серыми волнами. Здесь же прекрасно был виден противоположный берег озера. В Алабаме озер мало, к тому же все они куда меньше этого, окаймленного соснами и кедрами. Это озеро просто поражало своей величиной и ничем не напоминало те неказистые прудики, которые он раньше называл озерами. Уоллас стоял на скользких каменных ступенях, и оттого ему было как-то не по себе, словно он в любую минуту мог свалиться вниз и кануть в темную воду.

Сегодня он должен был познакомиться с университетом. Или, вернее сказать, с другими аспирантами. Экскурсию запланировали на понедельник. Но они решили еще до нее вместе съездить на полуостров, посидеть на илистом бережке у костра. Уоллас раньше никогда не бывал на полуострове. И в лодке не плавал. В тот день он стоял возле покачивающихся на воде желтобрюхих лодок, проводил по ним рукой — пришвартованные, они походили на спящих животных. Корпуса их были гладкими, но пальцы к ним липли. В воздухе пахло ржавчиной, озерной водой и чем-то еще — может, гниющими водорослями.

Вокруг сновали высокие красивые люди с сияющей кожей, болтали друг с другом, и Уолласу казалось, что все они принадлежат к какому-то иному миру — к миру, в который у него нет доступа. Он вспомнил свою любимую байку о женщине, уехавшей в Мадрид, чтобы ярче выделяться среди непохожих на нее людей. Но на месте обнаружившей, что из-за ее способности вливаться в любое окружение вся затея пошла насмарку. В глубине души Уоллас всегда считал, что по складу скорее похож на выходца со Среднего Запада. Ведь южанин быть геем просто не мог, эти два понятия были несовместимы. Но сейчас, стоя возле лодок и в смущении ожидая людей, к компании которых рассчитывал примкнуть, он начинал понимать, как это было глупо.

Наконец, они появились, эти обещанные ему судьбой друзья, четверо или пятеро. И направились прямо к нему. Поначалу Уоллас не понял, что они вместе, но вскоре по тому, как слаженно они двигались, догадался, что это одна компания. Двое из них были на редкость высокими, один небольшого роста, а еще с ними была женщина, которую обнимал за талию тощий парень. Физиономия у тощего была очень серьезная, несмотря на дурацкие усы.

— Ты Уоллас? — спросил блондин, протягивая ему руку. — Ингве. Приятно познакомиться.

— И мне, — сказал Уоллас и, не сдержавшись, улыбнулся. Ведь все они станут его друзьями, людьми, которым он будет небезразличен. До сих пор он был знаком с ними только по интернету, по крошечным фотографиям на аватарках и скудным подробностям биографии, и все эти сведения зависели от вечно пропадавшего вайфая в доме дяди.

— Я Лукас, через У, — представился рыжий. А затем Уолласу кивнул тот высокий, что топтался позади других.

— Миллер, — угрюмо буркнул он. Он был очень хорош собой, невероятно красив, но в его облике чувствовалось что-то скрытное, проглядывало и тут же пряталось, едва успев показаться. Уоллас кивнул в ответ.

— Я Эмма. А это мой жених Том, — сказала кудрявая девушка. — Очень рада наконец познакомиться.

— И я рад, — подхватил Уоллас, словно только на то и был способен, чтобы повторять чужие реплики. Он вдруг с ужасом осознал, что к глазам подступают слезы. — Боже. Я сейчас расплачусь, — рассмеявшись, он утер глаза ру-

кой. — Просто сильно устал за последние дни.

— Как я тебя понимаю, — Эмма шагнула ближе и обняла его. — Но теперь ты среди друзей.

— Привет, — выкрикнули откуда-то сбоку. Все обернулись. К ним вприпрыжку бежал еще один высокий светловолосый парень. — Привет, я Коул.

— Привет, Коул, — ответили все.

В итоге им удалось арендовать лишь маленькую лодочку, и пришлось делать несколько ходок, чтобы переправить на тот берег всю компанию. Уоллас вызвался ехать последним, оттого что нервничал и хотел всем угодить. В лодке с Миллером и Ингве он оказался только к закату. Лодка покачивалась на воде, Миллер, сидевший на веслах, вел ее к той оконечности полуострова, где берег был серый, песчаный и усыпанный сосновыми иголками.

Пришвартовав лодку, они двинулись вдоль берега, потом забрались на поросшую деревьями насыпь. Из темноты доносились голоса, тут и там виднелись костры, вокруг которых собрались другие компании. Ингве, который нес сумку с едой и остальными вещами, быстро шел впереди. А Уоллас и Миллер тихонько шагали следом, за всю дорогу не обменявшись ни словом.

Уоллас искоса поглядывал на него — лицо неприступное, волосы очень темные. Перед глазами все плыло, его даже подташнивать начало от радостного волнения — наконец-то он здесь, с этими людьми. Он так долго этого добивался, и вот сегодня мечта его сбылась. Над головой стонали, раскачиваясь на ветру, деревья. Тут, в лесу, Уоллас чувствовал себя как дома: с деревьями он всегда хорошо ладил.

Наконец, они вышли к кострищу. Ребята уже развели огонь и начали что-то жарить. Ингве стал доставать тарелки и приборы. А Уоллас уселся на бревно рядом с Коулом и вскоре выяснил, что тот тоже любит теннис. Они принялись взахлеб обсуждать его, лица их то и дело озарялись золотыми и рыжими всполохами от костра.

Кто-то вызвался сказать тост. Открыли бутылку недорогого шампанского. Все переглянулись. И улыбнулись друг другу. Лукас откашлялся:

— Ребята, знаете что? А ведь это она. Наша жизнь. Она начинается сегодня.

— Черт возьми, а ведь точно, — хлопнул его по спине Ингве. — Совершенно верно.

— За жизнь, — провозгласила Эмма, поднимая пластиковый стаканчик. В вине, извиваясь и дрожа, плясали языки пламени. На поверхности

вскипали золотистые пузырьки. Уоллас тоже поднял стаканчик.

— За жизнь, — негромко подхватили все на разные лады. А затем принялись повторять те же слова снова и снова, все громче и громче, вкладывая в них все свои мечты, все надежды на будущее — «За жизнь!». И смех их звенел в темном лесу, а на том берегу, что остался позади, люди тоже смеялись, плакали, ели и болтали обо всем на свете, как было и будет всегда.